

...Лучший детективный роман десятилетия.
...Книга из тех, что суешь людям в руки со словами:
«Ты просто обязан это прочесть!»

Стивен КИНГ



Кейт АТКИНСОН

Преступления прошлого

Издательская Группа «Азбука-классика»

Annotation

Кейт Аткинсон — один из самых уважаемых и популярных авторов современной Британии. Ее дебютный роман получил престижную Уитбредовскую премию, обойдя многих именитых кандидатов — например, Салмана Рушди с его «Прощальным вздохом мавра». Однако настоящая слава пришла к ней с публикацией «Преступлений прошлого» — первой книги из цикла о кембриджском частном детективе Джексоне Броуди. Роман вызвал бурю восторга и у критиков, и у коллег по цеху, и у широкого читателя, одним из наиболее ярых пропагандистов творчества Аткинсон сделался сам Стивен Кинг. Итак, в «Преступлениях прошлого» Джексону Броуди предстоит заняться делами, которые полиция давно списала в архив: о таинственном ночном исчезновении маленькой девочки из родительского сада; о немотивированном убийстве дочери известного адвоката, помогавшей ему в офисе; и о кровавом эпизоде домашнего насилия в молодой семье, живущей на ферме. Казалось бы, между всеми ними нет ничего общего, да и следы простыли давно, однако ниточки, переплетаясь, тянутся в настоящее и самым неожиданным образом сводят героев — каждый со своими скелетами в шкафах...

- [Кейт Аткинсон](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)

- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)

- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)

- [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
 - [108](#)
 - [109](#)
 - [110](#)
 - [111](#)
 - [112](#)
 - [113](#)
 - [114](#)
 - [115](#)
 - [116](#)
 - [117](#)
 - [118](#)
 - [119](#)
 - [120](#)
 - [121](#)
 - [122](#)
 - [123](#)
 - [124](#)
 - [125](#)
 - [126](#)
 - [127](#)
 - [128](#)
 - [129](#)
 - [130](#)
 - [131](#)
 - [132](#)
 - [133](#)
 - [134](#)
 - [135](#)
 - [136](#)
 - [137](#)
 - [138](#)
 - [139](#)
 - [140](#)
 - [141](#)
 - [142](#)
-

Кейт Аткинсон

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОШЛОГО

Посвящается Энн Макинтайр

СПАСИБО

*моему агенту Питеру Страусу;
моему редактору Марианне Велманс;
Морин Алан, Хелен Клайн, Умару Саламу, Али
Смиту и Саре Вуд за Кембридж в июле, Али Смиту —
отдельная благодарность;
Рейгану Артуру, Ив Аткинсон-Уорден, Хелен Клайн
и Марианне Велманс за то, что с энтузиазмом читали
рукопись;
моему двоюродному брату, майору Майклу Кичу;
Стивену Коттону — он знает за что;
Дэвиду Линдгрону за историю про овец;
и, наконец, но не в последнюю очередь, Расселу Экви
— богу всех средств передвижения.*

*И познаете истину, и истина сделает вас
свободными.*

Ин. 8:32

1

Дело № 1, 1970 г Семейный участок

Вот свезло так свезло. Невозможная жара в самый разгар школьных каникул, как нельзя вовремя. Каждое утро солнце поднималось раньше их, насмехаясь над поникшими летними занавесками в спальне, и наливалось липким зноем обещания, прежде чем Оливия открывала глаза. Оливия, надежная, как петушок, всегда просыпалась первой, и уже три года, с самого ее рождения, никто в доме не заводил будильника.

Оливия была младшей и потому спала в маленькой спальне, оклеенной обоями с героями детских стишков, через которую по очереди прошли они все и из которой каждую в свой срок выдворили. Она была хорошенькая, как ангелок, они все так считали, даже Джулия, которой понадобилось немало времени, чтобы смириться с потерей положения самой младшей в семье, — она занимала его пять отрадных лет, пока не появилась Оливия.

Розмари, их мать, говорила, вот бы Оливия никогда не выросла, такая она *прелесть*. Никого другого из них «прелестью» она не называла. Они даже не подозревали, что в ее лексиконе есть это слово, потому как обычно она ограничивалась сухими «подите сюда», «ступайте», «не шумите», а чаще всего — «хватит». Она заходила в комнату или появлялась в саду, бросала на них свирепый взгляд и говорила: «Что вы там делаете? А ну прекратите», а потом разворачивалась и уходила. И даже если мать заставляла их за очередной проказой (зачинщицей обычно бывала Сильвия), им всегда казалось, что их обидели несправедливо.

В том, что касалось шалостей, особенно под предводительством сорвиголовы Сильвии, они обладали поистине безграничным потенциалом. Три старшие дочери, почти погодки, были (по общему мнению) «сущим наказанием»; из-за малой разницы в возрасте мать их и не различала, в ее глазах они были лишены индивидуальных черт и фактически слились в одну девочку, поэтому она обращалась к ним наугад — «Джулия-Амелия-Сильвия-или-кто-там» — раздраженным тоном, как будто они сами виноваты в том, что их так много. Оливия, как правило, исключалась из этой нетерпеливой литании, Розмари никогда не смешивала ее с остальными.

Они думали, что Оливия будет последней, кому пришлось спать в

маленькой спальне, и что однажды обои с героями стишков наконец отдерут (вернее, их замученная мать отдерет, потому что отец заявил, что нанимать декоратора — только зря деньги тратить) и поклеят какие-нибудь взрослые — с цветами или с пони. Да что угодно будет лучше, чем этот грязно-розовый цвет в комнате Джулии и Амелии, — в палитре он показался им таким многообещающим, но на стенах угнетал. Мать, впрочем, сказала, что у нее нет ни времени, ни денег (ни сил) на новый ремонт.

Однако выяснилось, что Оливии предстоит тот же путь, что и старшим сестрам: она простится с кривовато наклеенными Шалтаями-Болтаями и малютками мисс Бумби, чтобы освободить место для *пополнения*, о чьем прибытии Розмари сообщила — как отрезала — накануне днем, раздавая на лужайке состряпанный на скорую руку обед: бутерброды с солониной и апельсиновый лимонад.

«Разве это не Оливия была пополнением?» — изрекла Сильвия, не обращая ни к кому в отдельности. Розмари бросила на старшую дочь хмурый взгляд, словно впервые ее заметила. Тринадцатилетняя Сильвия, до недавнего времени энергичная девочка (некоторые сказали бы, чересчур энергичная), обещала стать язвительным и циничным подростком. У нескладной очкастой Сильвии, которой недавно поставили на зубы уродливые скобки, были сальные волосы, гикающий смех и длинные худые пальцы (в том числе и на ногах) инопланетного существа. Некоторые по доброте душевной называли ее «гадким утенком» (прямо в лицо, как будто это комплимент, но Сильвии, разумеется, так не казалось), воображая, как, повзрослев, она избавится от скобок, обзаведется контактными линзами и грудью и расцветет в лебедя. Розмари не видела в Сильвии лебедя, особенно когда у той в скобках застревал кусок солонины. Сильвия с некоторых пор ударилась в религию — заявила, что с ней Бог говорил. Розмари думала, может, это нормальный этап для девочки-подростка, может, у одних на уме поп-звезды, у других пони, а у третьих — Бог? В итоге она решила не придавать значения этим беседам с Всевышним. По крайней мере, это бесплатная прихоть, а вот пони обошелся бы в целое состояние.

И еще эти странные обмороки. Врач сказал, что Сильвия «слишком быстро растет». Розмари сочла объяснение ненаучным, но решила игнорировать и обмороки тоже. Наверняка Сильвия просто хочет привлечь к себе внимание.

Розмари вышла замуж за их отца, Виктора, когда ей было восемнадцать — всего на пять лет больше, чем сейчас Сильвии. Сама

мысль о том, что через пять лет Сильвия теоретически сможет выйти замуж, казалась Розмари смехотворной и укрепляла во мнении, что в свое время ее родители должны были помешать ее браку с Виктором, ведь она была еще ребенком, а он — взрослым тридцатилетним мужчиной. Она часто ловила себя на том, что ей хочется выговорить матери с отцом за недостаток родительской заботы, но мать умерла от рака желудка вскоре после рождения Амелии, а отец снова женился, перебрался в Ипсвич и коротал дни на ипподроме, а вечера — в пабе.

Если через пять лет Сильвия приведет в дом тридцатилетнего любителя свежатинки (особенно если тот объявит себя великим математиком), думала Розмари, она лично вырежет ему сердце кухонным ножом. Эта воображаемая картина так ее потешила, что объявление о *пополнении* было временно позабыто, и, когда послышался мелодичный перезвон фургона с мороженым, она благосклонно кивнула девочкам.

Трио Сильвия-Амелия-Джулия знало, что ни о каком пополнении речи не идет и что «зародыш», как его упорно называла Сильвия (она увлекалась естественными науками), из-за которого мать стала такой раздражительной и вялой, наверняка очередная отчаянная попытка их отца обзавестись сыном. Он не был из тех отцов, что души не чают в дочерях, и не проявлял к ним особой нежности, только Сильвия иногда достаивалась его расположения за «способности к математике». Виктор был математиком и жил богатой интеллектуальной жизнью, в которую семья не допускалась. Времени дочерям он почти не уделял — вечно был либо на факультете, либо в своей квартире в колледже, а дома закрывался в кабинете, иногда со студентами, но чаще в одиночестве. Отец никогда не водил их в открытый бассейн в Иисусовом парке, не играл с ними в дурака, не подбрасывал в воздух, никогда не качал на качелях, не брал на реку кататься на лодке, не водил в походы или на экскурсию в Музей Фицуильяма. Его скорее отсутствие, чем присутствие в их жизни — все, чем он был и чем не был, — олицетворялось священным пространством его кабинета.

Они бы очень удивились, узнав о том, что когда-то кабинет был светлой гостиной с окнами в сад, где прежние обитатели неспешно и с удовольствием завтракали, где женщины коротали дни за шитьем и любовными романами и где по вечерам вся семья собиралась сыграть в криббидж или в скребл под радиопостановку. Именно такую жизнь и предвкушала новобрачная Розмари, когда они в 1956 году купили этот дом, заплатив куда больше, чем могли себе позволить. Но Виктор сразу же заявил на комнату свои права, загромоздил ее тяжелыми книжными полками и уродливыми дубовыми шкафами для документов и ухитрился

превратить в берлогу, куда не проникал дневной свет и где всегда воняло дешевым табаком. Утрата комнаты была ничем по сравнению с утратой мечты о жизни, которой Розмари намеревалась ее наполнить.

Что именно он там делал, было для них всех тайной. Должно быть, нечто настолько важное, что домашняя жизнь в сравнении была суццим пустяком. Мать говорила им, что он *великий математик* и занят научным трудом, который однажды его прославит, хотя, когда дверь кабинета изредка бывала открыта и им удавалось мельком увидеть отца за работой, он, казалось, просто сидел за столом, вперив взгляд в пространство.

Во время работы его ничто не должно было беспокоить, и меньше всего — вопящие, визжащие, буйные девочки. Полная неспособность этих самых буйных девочек воздержаться от воплей и визгов (не говоря уже о криках, реве и непостижимом для Виктора вое, напоминавшем волчий) не шла его отношениям с дочерьми на пользу.

Сколько Розмари их ни бранила — всё как с гуся вода, но один вид Виктора, который тяжелой поступью выходил из кабинета, как медведь, разбуженный от спячки, внушал им странный ужас, и, хотя они нарушали все до единого материнские запреты, исследовать кабинет им не приходило в голову. Они допускались в мрачные глубины логова Виктора, только когда им требовалась помощь с математикой. Для Сильвии это еще было терпимо — приложив усилия, она могла разобрать жирные карандашные закорючки, которыми Виктор нетерпеливо покрывал бесконечные листы линованной бумаги, но что до Амелии с Джулией, для них пометки Виктора были как египетские иероглифы. Они старались не думать о кабинете, а если и вспоминали о нем, то как о камере пыток. Виктор винил Розмари в отсутствии у девочек склонности к математике, — очевидно, они унаследовали ее неполноценный женский мозг.

Мать Виктора, Эллен, успела оставить в жизни сына сладкий и благоуханный след своего присутствия. В 1924-м ее отправили в психиатрическую лечебницу; Виктору тогда было только четыре года, и семья решила, что мальчику не стоит бывать в подобном заведении. Он вырос, представляя ее буйной сумасшедшей викторианской эпохи: в длинной белой ночной рубашке, со всклокоченными волосами, она бродила ночами по коридорам лечебницы, несвязно бормоча, — и только много позже он узнал, что его мать не «сошла с ума» (семейное выражение), а родила мертвого ребенка и страдала от тяжелой послеродовой депрессии. Она не буянила и не лепетала бессмыслицу, но проводила все дни в грусти и одиночестве в комнате, украшенной фотографиями Виктора, пока не умерла от туберкулеза, когда Виктору было десять.

К тому времени Освальд, отец Виктора, отправил сына в школу-интернат, и, когда сам Освальд погиб, упав в ледяные воды Южного океана, Виктор весьма спокойно воспринял эту новость и уже через минуту снова корпел над заковыристой математической задачкой.

До войны отец Виктора занимался делом самым темным и бесполезным для англичанина — он был полярным исследователем, и Виктор даже обрадовался, что ему больше не придется равняться на героический образ Освальда Ленда и он сможет стать великим на своем собственном, менее героическом поприще.

Виктор познакомился с Розмари в отделении скорой помощи больницы Адденбрука, где она была сестрой-практиканткой. Он повредил запястье, оступившись на лестнице, но Розмари сказал, что на Ньюмаркет-роуд его «подрезала» машина и он упал с велосипеда. Ему понравилось, как прозвучало это «подрезала», — это было слово из мужского мира (мира его отца), полноценным обитателем которого ему так и не удалось стать, а упоминание Ньюмаркет-роуд позволяло скрыть, что он живет затворником в ограниченном пространстве между колледжем Святого Иоанна и математическим факультетом.

Если бы не это знакомство в больнице, случайное во всех смыслах, у Виктора, возможно, никогда бы и не было девушки. Средний возраст приближался вовсю, а его общение было все так же ограничено шахматным клубом. Виктору никогда по-настоящему никто не был нужен, более того, он находил идею совместной жизни странной. Математика занимала почти все его время, и он был не совсем уверен, для чего ему жена. Женщины казались ему обладательницами всевозможных нежелательных качеств, главным образом сумасшествия, а также связаны были в его голове с неприятными и чуждыми физиологическими моментами: кровью, сексом, детьми. И все же какая-то часть его жаждала заботы и тепла, которых так не хватало в детстве, поэтому, прежде чем он успел осознать, что происходит, — словно ошибившись дверью — Виктор обнаружил, что пьет чай в коттедже в сельском Норфолке, а Розмари, робко улыбаясь, демонстрирует родителям знаменующее помолвку кольцо (довольно дешевое) с бриллиантовой крошкой.

Если не считать колючих отцовских благословений перед сном, Виктор был первым мужчиной, который поцеловал Розмари (хотя и неуклюже — впившись в нее, как морской слон). Отец Розмари, стрелочник на железной дороге, и ее мать-домохозяйка были ошарашены, когда она привела домой Виктора. Они исполнились благоговения к его несомненному высокому

интеллектуальному статусу (очки в черной оправе, потертый спортивный пиджак, рассеянный вид), а возможно, и гениальности (Виктор не стал особенно спорить) и изумлялись, что он выбрал в спутницы жизни их дочь — девушку тихую и легко поддающуюся влиянию, на которую прежде никто не обращал внимания.

Их вовсе не беспокоило, что жених вдвое ее старше, правда, когда счастливая пара отбыла восвояси, отец Розмари, мужчина в полном смысле слова, заметил, что Виктор «в физическом плане так себе». Его супругу же озаботило лишь то, что Виктор, хоть и представился доктором, от болей в животе так ничего и не посоветовал. Зажатый в угол за чайным столиком, покрытым скатертью из мальтийских кружев и уставленным миндальным печеньем, девонширскими булочками и маковыми пирожками, Виктор в конце концов изрек: «Полагаю, это несварение, миссис Вэйн» — ошибочный диагноз, который она приняла с облегчением.

Оливия открыла глаза и принялась довольно рассматривать картинки на обоях. Джек и Джилл безустанно поднимались в горку, Джилл несла деревянную кадущку, которую ей не суждено было наполнить водой; неподалеку на том же склоне крошка Бо-Пип искала своих овец. Оливия не слишком беспокоилась о судьбе стада, потому что видела симпатичного барашка с голубой ленточкой на шее, спрятавшегося за изгородью. Оливия не совсем понимала, что такое *пополнение*, но она была бы рада ребенку. Больше всего на свете она любила малышей и животных. У себя в ногах она чувствовала тяжесть Плуто, домашнего терьера.

Плуту строго-настрога запрещалось спать у девочек, но каждую ночь кто-нибудь из них тайком заводил его к себе в комнату, хотя к утру он обычно перебирался к Оливии.

Оливия осторожно потрясла Голубого Мышонка: пора просыпаться. Голубой Мышонок, мягкая, длиннолапая зверюшка из махровой ткани, была оракулом для Оливии, и она советовалась с ним по любому поводу.

Яркая полоска солнечного света медленно ползла по стене, и, когда она достигла прячущегося за изгородью барашка, Оливия вылезла из постели и послушно сунула ножки в маленькие розовые тапочки с кроличьими мордочками и ушками — предмет отчаянной зависти Джулии. Остальные не давали себе труда носить тапочки, а теперь стало так жарко, что Розмари не могла заставить их надеть даже туфли. Но Оливия была послушным ребенком.

В этот самый момент Розмари, лежа в постели, проснувшись, но не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, словно костный мозг в них

превратился в свинец, размышляла, как бы оградить Оливию от дурного влияния троицы. Ей нездоровилось в связи с ее положением, и она думала, вот было бы чудесно, если бы Виктор вдруг перестал храпеть, проснулся и спросил: «Тебе что-нибудь принести, дорогая?» А она бы сказала: «Да, пожалуйста, чаю без молока и тост с маслом, спасибо, Виктор». И рак бы на горе засвистел.

Ох уж эта плодовитость. От противозачаточных таблеток у нее поднималось давление, спираль не держалась, а презервативы Виктор считал оскорблением мужского достоинства. Она была для него просто племенной кобылой. Если в беременности и было что-то хорошее, так это перерыв в сексе. Она говорила ему, что это плохо для ребенка, и он верил ей, потому что ничего не знал ни о беременности, ни о женщинах, ни о детях, ни вообще о жизни. Она вышла замуж девственницей и вернулась из недельного свадебного путешествия в состоянии шока. Конечно, ей нужно было сразу же уйти от него, не оглядываясь, но Виктор уже начал высасывать из нее силы. Иногда ей казалось, что он питается ее энергией.

Если бы у нее были силы, она встала бы, уползла в свободную гостевую спальню и легла на жесткую односпальную кровать с накрахмаленной белоснежной простыней, туго подвернутой под матрас. Комната для гостей была в доме как воздушный карман с нетронутой атмосферой и неистоптанным ковром. Сколько бы детей у нее ни было, даже если бы она рожала каждый год, как корова (при таком раскладе она покончила бы с собой), никому из них никогда не занять первозданное пространство этой комнаты — чистой, нетронутой, принадлежащей ей одной.

А еще лучше — на чердак. Можно было бы настелить там пол, выкрасить стены белым и сделать дверь-люк, и она забралась бы туда, подняла дверь, будто разводной мост, и никто бы ее не нашел. Розмари представила, как семейство бродит из комнаты в комнату и зовет ее, и рассмеялась. Виктор заворчал во сне. Но потом она подумала об Оливии, как та блуждает по дому и не может ее отыскать, и страх ударил под дых. Придется взять Оливию с собой на чердак.

Сам Виктор пребывал в блаженном состоянии между бодрствованием и сном, не оскверненным горечью повседневной жизни — жизни в доме, полном женщин, которые были для него чужими.

Оливия, уютно пристроив большой палец во рту и прижав к себе Голубого Мышонка, прошлепала по коридору в спальню Джулии и Амелии

и вскарабкалась на постель к Джулии. Той снился какой-то бешеный сон. Всклопоченные, мокрые от пота волосы прилипли к голове, а губы непрерывно бормотали, — видно, она сражалась с неведомым чудищем. Джулия всегда спала очень крепко: она разговаривала и ходила во сне, боролась с простынями, а просыпалась резко, уставившись вытаращенными глазами на уже исчезнувших призраков. Иногда драмы во сне достигали такого накала, что она просыпалась в смертельном ужасе с приступом астмы. Амелия и Сильвия считали Джулию жуткой занозой. Настроение у нее менялось молниеносно: она могла молотить кулаками и пинаться, а уже через минуту мурлыкать и лезть с поцелуями. Когда Джулия была помладше, с ней случались самые безобразные припадки, и даже теперь она чуть ли не каждый день закатывала истерику по тому или иному поводу и пулей вылетала из комнаты. Обычно Оливия выходила вслед за ней и пыталась успокоить сестру — остальным не было дела. Оливия, похоже, понимала, что Джулии всего-навсего нужно внимание (а точнее, ужасно много внимания).

Оливия потянула Джулию за рукав ночной рубашки, но Джулия просыпалась далеко не сразу. Амелия на соседней кровати уже не спала, но и глаза не открывала, ловя последние капельки сна. Кроме того, она знала, что, если притворится спящей, Оливия заберется к ней в постель, обхватит ее за руку или за ногу, как обезьянка, прижмется своим сухим и горячим загорелым тельцем, а Голубой Мышонок сплющится между ними, как губка.

До рождения Оливии Амелия делила комнату с Сильвией, что, несмотря на все недостатки, было определено лучше, чем иметь в соседках Джулию. Между разнополярными Сильвией и Джулией Амелия чувствовала себя потерянной, бесцветной и лишенной индивидуальности. Ей казалось, что она, вне зависимости от числа пополнений, всегда будет затеряна где-то посередине. Амелия была более вдумчивой и педантичной, чем Сильвия. В Сильвии же восторженность брала верх над рассудительностью (вот почему, по словам Виктора, из нее не получился бы великий математик). У Сильвии, конечно, были не все дома. Она как-то сказала Амелии, что беседовала с Богом (ну и заодно с Жанной д'Арк). Если бы Богу и вздумалось с кем-нибудь поговорить, едва ли Он выбрал бы Сильвию.

Сильвия обожала секреты, и, даже если секретов у нее не было, она делала все, чтобы убедить других в обратном. У Амелии не было секретов, Амелия ничего не знала. Поэтому она решила, что когда вырастет, то будет знать все и держать это все в секрете.

Означало ли *пополнение*, что мать, повинувшись очередному капризу, снова устроит перестановку? С кем тогда будет жить Оливия? Когда-то они дрались из-за того, с кем будет спать собака, теперь боролись за ласки Оливии. Всего в доме было пять спален, но одна всегда оставалась гостевой, хотя никто из девочек не мог припомнить, чтобы у них когда-нибудь ночевали гости. Теперь мать начала поговаривать о том, чтобы *обустроить* чердак. Амелии нравилась эта идея — комната наверху, подальше от всех. Она представляла винтовую лестницу и стены, выкрашенные в белый цвет, а еще белый диван, белый ковер и прозрачные белые шторы. Она решила, что, когда вырастет и выйдет замуж, у нее будет один-единственный ребенок, само совершенство (точь-в-точь как Оливия), а жить они будут в белом доме. Когда она пыталась представить живущего вместе с ней в этом белом доме мужа, возникал лишь смутный образ, тень мужчины, который, встречаясь с ней на лестнице и в коридорах, бормотал вежливые приветствия.

К тому времени как Оливия разбудила их всех, было уже почти половина восьмого. Завтрак они готовили себе сами, за исключением Оливии, которую усаживали на подушку и кормили: Амелия — хлопьями с молоком, а Джулия — нарезанным тостом. Оливия принадлежала им, она стала их любимой игрушкой, потому что мать была измотана *пополнением*, а отец был великим математиком.

Джулия, уплетая за обе щеки (Розмари утверждала, что в животе у дочери сидит Лабрадор), ухитрилась порезаться ножом для хлеба, но Сильвия зажала ей рот рукой, как хирургической маской, и предотвратила вопли, которые наверняка разбудили бы родителей. Без пореза или ссадины у них дня не проходило. По словам матери, они были не дети, а тридцать три несчастья. Она постоянно возила их в больницу в Адденбрук: Амелия докувыркалась до сломанной руки; Сильвия ошпарила ногу, наполняя грелку; Джулия рассекла губу, прыгнув с крыши гаража; снова Джулия — прошла через стеклянную дверь на глазах у изумленно вылупившихся Амелии с Сильвией (как она могла *не увидеть дверь?*); и, конечно же, эти странные обмороки Сильвии, которая переходила из вертикального положения в горизонтальное без всякого предупреждения, — кровь отливала от лица, губы пересыхали, а о том, что она жива, свидетельствовало лишь подрагивание век.

Только Оливия не была подвержена этой всеобщей неуклюжести: за свои три года она не нажила ничего серьезнее пары синяков. Что же касалось остальных, то мать говорила, что, проводя столько времени в больнице, она с таким же успехом могла бы доучиться на медсестру.

Главная кутерьма, конечно, была, когда Джулия отрезала себе палец (ее прямо-таки тянуло к острым предметам). Джулия, которой тогда было пять лет, незаметно для матери забрела на кухню; когда Розмари прекратила яростно шинковать морковь и обернулась, пальца уже не было, а застывшая Джулия в немом удивлении держала руку на весу, показывая рану, будто святой ребенок-мученик. Розмари обмотала окровавленную руку кухонным полотенцем, сгребла дочь в охапку и побежала к соседке, а та под визг пережатых тормозов отвезла их в больницу. Сильвия с Амелией остались разбираться с крошечным бледным пальчиком, позабытым на кухонном линолеуме.

(Находчивая Сильвия бросила палец в пакет замороженного горошка, и они с Амелией поехали в больницу на автобусе; Сильвия всю дорогу сидела, вцепившись в тающий горошек, словно от него зависела жизнь сестры.)

Сперва они хотели прогуляться вдоль реки до Грантчестера. С самого начала каникул они отправлялись в эту экспедицию по меньшей мере дважды в неделю; Оливию, когда та уставала, несли на закорках. Приключение занимало почти целый день, ведь по пути было столько всего интересного — и на берегу, и в поле, и даже в чужих садах. Единственным наказом Розмари было «не лезьте в реку», но они неизменно прятали купальники под платьями или шортами и всякий раз сбрасывали одежду и плюхались в воду. Спасибо *пополнению*, ослабившему бдительность такой строгой обычно матери. Никто из знакомых детей в то лето не вкусил столько опасностей.

Пару раз Розмари давала им денег, чтобы они перекусили в чайной «Фруктовый сад» (где они были не самыми желанными посетителями), но чаще они брали наскоро собранный обед из дому и управлялись с ним, еще не успев дойти до Ньюхема. Но не сегодня — сегодня солнце подобралось к Кембриджу еще ближе и заперло их в саду, как в ловушке. Они старались как-то развлечь себя, нехотя играли в прятки, но хорошо спрятаться никому не удавалось. Даже Сильвия не придумала ничего лучше, чем забиться в гнездо из высохшей травы за кустами смородины в дальнем конце сада, — это Сильвия-то, которая однажды пряталась рекордные три часа (растянувшись, как ленивец, на высокой гладкой ветке бука в саду миссис Рейн, соседки напротив). Ее нашли, только когда она уснула и свалилась с дерева, сломав при этом руку. У матери была капитальная перебранка с миссис Рейн — та требовала, чтобы Сильвию арестовали за нарушение границ частных владений (*идиотка*). Они вечно залезали в соседский сад,

таскали зеленые яблоки и дразнили миссис Рейн, потому что она была ведьмой и заслуживала дурного обращения.

Без энтузиазма пообедав салатом из тунца, они принялись играть в английскую лапту, но Амелия споткнулась, и у нее пошла кровь из носа, а потом Сильвия с Джулией затеяли ссору, и Сильвия дала Джулии пощечину. Тогда они решили делать венки из ромашек, чтобы потом вплести их в волосы Оливии и надеть Плуту в качестве ошейника. Но вскоре даже это занятие показалось им чересчур утомительным, и Джулия отползла в тень под кусты гортензии и уснула в обнимку с собакой, а Сильвия решила почтить Оливии и Голубому Мышонку в палатке. Палатку, древнюю как мир, оставленную в сарае прежними хозяевами дома, разбили на лужайке, как только установилась хорошая погода, и они вечно соперничали за место под заплесневевшим брезентом, хотя внутри было еще жарче, чем в саду. Через несколько минут Сильвия с Оливией уснули, позабыв про книгу.

Разомлевшая от жары Амелия лежала на выгоревшей траве и опаленной земле, вперившись в бесконечную безоблачную синеву, пронизанную гигантскими стеблями дикорастущего алтея. Она смотрела, как беззаботно ныряют в небе ласточки, и слушала умиротворяющее жужжание насекомых. По ее веснушчатой руке проползла божья коровка. Над головой лениво плыл аэростат, и она жалела, что не в силах разбудить Сильвию и сообщить ей об этом.

Кровь едва текла по венам Розмари. Она выпила на кухне стакан воды из-под крана и посмотрела в окно.

По небу, точно птица, попавшая в восходящий поток, плыл аэростат. Все ее дети, похоже, спали. Это непривычное спокойствие вызвало у Розмари неожиданный приступ любви к ребенку у нее в чреве. Если бы они все постоянно спали, она бы не возражала быть им матерью. За исключением Оливии: ей бы не хотелось, чтобы Оливия все время спала.

Когда четырнадцать лет назад Виктор сделал ей предложение, она не имела никакого представления о том, что значит быть женой университетского преподавателя, но воображала, что придется носить то, что ее мать называла «дневными платьями», ходить на садовые вечеринки в Бэкс^[1] и элегантно прогуливаться по роскошной зелени газонов под шепот окружающих: «Это жена знаменитого Виктора Ленда, говорят, без нее он ничего не достиг бы».

Но разумеется, жизнь супруги кембриджского преподавателя с этими благостными картинами не имела ничего общего. Никаких тебе фуршетов в

Бэксе, и уж точно никаких элегантных прогулок по лужайкам колледжей, где к траве относятся с религиозным благоговением. Вскоре после свадьбы Виктор взял ее с собой на вечеринку в саду главы колледжа, где быстро выяснилось, что, по мнению коллег, он совершил ужасный мезальянс («Медсестра», — прошептал кто-то таким тоном, будто медсестра — практически все равно что проститутка). Без нее бы Виктор ничего не достиг, это правда. Но он не достиг ничего и с ней. В этот самый момент он корпел в прохладной темноте своего кабинета, отгородившись от лета тяжелыми шторами из шенили, погруженный в свой труд — труд, который так и не принес плодов, не изменил мир и не сделал его знаменитым. На своем поприще он был не великим первооткрывателем, а всего лишь сносным ремесленником. Это приносило ей некоторое удовлетворение.

Она теперь знала — от одного из коллег Виктора, — что великие математические открытия совершают до тридцати лет. Самой Розмари было только тридцать два, и она не могла поверить, как мало это на слух и как много по ощущению.

Она предполагала, что Виктор женился на ней, потому что считал хорошей хозяйкой, — возможно, его ввели в заблуждение чайные застолья ее матери, сама-то Розмари, пока жила с родителями, к плите и не подходила, — а поскольку она медсестра, то он наверняка решил, что она заботлива и внимательна, — в то время и сама она, вероятно, так думала, но теперь чувствовала, что ее заботы не хватит даже на котенка, не говоря уже о четырех, а скоро и пяти детях и особенно о великом математике.

К тому же она подозревала, что его великий труд — фальшивка. Она видела бумаги, когда вытирала пыль в его норе, — выкладки Виктора не многим отличались от отцовских кропотливых расчетов выигрыша на тотализаторе. Виктор не был похож на игрока. Ее отец был игроком, и мать отчаялась с ним бороться. Когда Розмари была маленькой, он однажды взял ее с собой на ипподром в Ньюмаркете. Они стояли у финишного столба, и отец посадил ее на плечи. Как же она перепугалась, когда лошади с диким топотом пронеслись мимо и толпа на трибунах взревела, будто это наступил конец света, а не аутсайдер, на которого ставили тридцать к одному, на голову обошел лидера на финишной прямой. Розмари не могла представить Виктора в таком оживленном месте, как ипподром, и уж тем более в прокуренной букмекерской конторе среди простого люда.

Из-под куста гортензии выползла Джулия, от жары явно не в духе. Как Розмари снова превратить их в английских школьниц, когда начнется учебный год?

За лето они стали настоящими цыганятами — дочерна загорелые, все в

синяках и царапинах, со спутанными, выжженными солнцем гривами и, сколько бы раз они ни принимали ванну, вечно казались грязными. У входа в палатку показалась сонная Оливия — личико чумазое, выгоревшие волосы заплетены в неровные косички, из которых торчат увядшие цветы. Она шептала на ухо Голубому Мышонку какой-то секрет. У Розмари ёкнуло сердце. Из всех ее дочерей лишь Оливия отличалась красотой. Джулия, с темными кудрями и вздернутым носиком, конечно, миловидна, но характер все портит, Сильвия... бедняжка Сильвия, ну что тут скажешь? Амелия какая-то... бесцветная. Но Оливия — Оливия соткана из света. Невероятно, что она дочь Виктора, но, увы, сомневаться в этом не приходилось. Оливия была единственной, кого она любила, хотя, Бог свидетель, с остальными она тоже старалась изо всех сил. Все ради долга, ничего по любви. В конце концов долг сводит тебя в могилу.

До чего несправедливо — как будто вся любовь, предназначавшаяся остальным, досталась Оливии. Розмари любила свою младшую дочь с какой-то неистовой яростью. Иногда ей хотелось съесть Оливию, выпиться зубами в нежную ручку или ножку и даже проглотить целиком, как питон, спрятать у себя внутри, в безопасности. Без сомнения, она ужасная мать, но у нее не хватало сил даже на чувство вины. Оливия увидела ее и помахала ручкой.

Вечером ни у кого из них не было аппетита, и они ковырялись в совсем не летнем рагу из баранины, на которое у Розмари ушло уйма времени. Появился Виктор, моргая от света, как пещерный житель, съел все, что перед ним поставили, и попросил добавки. И Розмари подумала: интересно, как он будет выглядеть на смертном одре? Она смотрела, как он ест, как вилка двигается ко рту и обратно в механическом ритме, смотрела на его огромные, точно лопасти, руки, поглотившие столовые приборы. У него были руки фермера — это бросилось ей в глаза при первой встрече. У математика руки должны быть тонкие и изящные. Как же она сразу не догадалась, увидев эти руки. Ее подташнивало, и сводило живот. Может, она потеряет ребенка. Какое было бы облегчение.

Розмари резко встала из-за стола и объявила, что пора спать. Обычно это вызвало бы множественные протесты, но сегодня Джулия что-то тяжело дышала и глаза у нее покраснели от солнца и травы — летом у нее бывала аллергия на все на свете, а Сильвия, похоже, перегрелась: ее тошнило, она куксилась и жаловалась, что болит голова, впрочем это не помешало ей закатить истерику, когда Розмари отправила ее спать пораньше.

Тем летом три старшие девочки почти каждый вечер просились спать в палатке, и каждый вечер Розмари им отказывала на том основании, что они и без того похожи на цыган, и не важно, что цыгане, как заметила Сильвия, на самом деле живут в фургонах. Розмари изо всех сил пыталась сохранить в семье заведенный порядок, несмотря ни на что и без всякой помощи мужа, для которого готовка, работа по дому и забота о детях ничего не значили и который женился на ней только затем, чтобы кто-то его обихаживал, и, когда Амелия спросила: «Мамочка, тебе плохо?» — ей стало еще хуже, потому что Амелии внимания доставалось меньше всех. Вот почему Розмари вздохнула, приняла две таблетки парацетамола и одну снотворного — коктейль, скорее всего смертельный для ребенка у нее в животе, — и сказала своей самой заброшенной дочери: «Если хочешь, можете сегодня спать с Оливией в палатке».

Проснуться и вдохнуть запах росистой травы и брезента было здорово — куда лучше, чем нюхать дыхание Джулии, утром отдававшее кислотой. Ни на что не похожий, собственный запах Оливии был едва уловим. Амелия не открывала глаз, хотя чувствовала, что солнце уже высоко, и ждала, пока Оливия проснется и заберется под старое пуховое одеяло, служившее им спальным мешком, но подняла ее не Оливия, а Плут, принявшийся лизать ей лицо.

Оливии нигде не было видно, остался только пустой домик из одеял — будто ее вытащили оттуда, как улитку. Амелия расстроилась, что Оливия встала, не разбудив ее. Она прошла босиком по сырой траве вместе с Плутом, который трусил следом, и толкнула заднюю дверь, которая оказалась заперта, — мать, естественно, и не подумала дать Амелии ключ. Что за родители оставляют детей на улице и запирают дверь?

Было тихо и еще очень рано, но Амелия не имела понятия, который час. Она подумала, что Оливия как-то пробралась в дом, раз ее нет в саду. Она позвала ее и испугалась дрожи в собственном голосе — она и не предполагала, что волнуется. Амелия долго стучала в заднюю дверь, но тщетно, и тогда она побежала по тропинке вдоль дома. Маленькая калитка была открыта, и Амелия встревожилась не на шутку. Она вышла на улицу и крикнула погромче: «Оливия!» Почувствовав, что происходит что-то интересное, залаял Плут.

На улице не было ни души, если не считать мужчины, который садился в машину. Он с любопытством посмотрел на Амелию. Очевидно, босиком и в старой пижаме Сильвии, она выглядела нелепо, но ей было наплевать. Она подбежала к парадной двери и держала палец на кнопке звонка, пока

отец — ну надо же — не открыл ей. Он явно только что проснулся: мятая физиономия, мятая пижама, волосы в разные стороны, как у сумасшедшего профессора. Он в ярости уставился на нее, точно впервые видел. Когда же он ее наконец признал, то пришел в еще большее замешательство.

— Оливия, — сказала она, на этот раз шепотом.

После обеда плоское небо над Кембриджем разрезала молния, возвестившая конец жары. К этому времени палатка в саду за домом успела стать центром круга, который с каждым часом расширялся, втягивая в себя все больше людей — начиная с самих Лендов, бродивших по улицам, залезавших во все кусты и живые изгороди, до хрипоты выкрикивая имя Оливии. К поискам уже подключилась полиция, и соседи проверяли свои сады, сараи и чердаки. Круг продолжал расширяться, включив полицейских ныряльщиков, ведущих поиски в реке, и посторонних людей, вызвавшихся прочесать луг и местное болото. Полицейские вертолеты кружили над отдаленными дерегушками и полями по всему графству, водителям грузовиков велели следить за шоссе, военные прочесывали болота, но никто — от Амелии, до тошноты изошедшей криком в саду за домом, до рядовых территориальной армии, под проливным дождем ползавших на коленях по парку Мидсаммер-Коммон, — не смог найти ни следа Оливии, ни волоска, ни чешуйки кожи, ни розовой тапочки с кроликом, ни голубого мышонка.

2

Дело № 2, 1994 г Самый обычный день

Тео старался больше ходить пешком. Теперь он официально страдал «крайней степенью ожирения», как заявила его новая бесчувственная докторша. Тео знал, что новая бесчувственная докторша — молодая женщина с очень короткой стрижкой и сумкой для спортзала, небрежно брошенной в углу кабинета, — использовала это выражение, чтобы его напугать. Раньше Тео вовсе не считал, что у него «крайняя степень ожирения». Он думал о себе как о бодром толстяке, круглом Санта-Клаусе, и оставил бы советы врача без внимания — но, когда он пришел домой и рассказал обо всем своей дочери Лоре, та пришла в ужас и немедленно разработала для него план упражнений и диеты. Вот почему теперь он ел на завтрак солону с обезжиренным молоком и каждое утро проходил пешком две мили до своей конторы в Парксайде.

Жена Тео, Валери, умерла в абсурдные тридцать четыре года, так давно, что порой ему трудно было представить, что когда-то он был женат. Валери положили в больницу с простым аппендицитом, но после операции у нее образовался тромб в мозгу. Теперь, оглядываясь назад, он понимал, что, наверное, следовало подать на больницу или органы здравоохранения в суд за халатность, но тогда он был настолько поглощен заботой о двух дочерях — семилетней Дженнифер и двухлетней малышке Лоре, что ему некогда было даже оплакивать свою бедную жену, какое уж тут возмездие. Если бы обе девочки не становились с каждым годом все больше похожими на нее, у Тео сохранилось бы о жене лишь смутное воспоминание.

Беззаботная студентка, за которой Тео когда-то так внимательно ухаживал, серьезно отнеслась к обязанностям жены и матери. Тео часто размышлял, правда ли, что те, кому суждено умереть молодыми, предчувствуют краткость отпущенного им времени, отчего их жизнь обретает особое напряжение, истовость, словно печать важности. Они с женой питали друг к другу скорее нежность, чем страсть, и неизвестно, сколько бы продержался их брак, если бы Валери была жива.

Дженнифер с Лорой никогда не доставляли особых хлопот, с ними Тео легко было быть хорошим отцом. Теперь Дженнифер училась на врача в Лондоне. Трезвомыслящая, целеустремленная девушка, она не тратила

времени на ерунду и развлечения, но это не значит, что она была лишена сострадания, и Тео не мог представить, как однажды она будет сидеть у себя в кабинете и говорить какому-нибудь толстяку, которого видит впервые в жизни, что у него «крайняя степень ожирения» и ему нужно почаще отрывать задницу от дивана. Новая докторша, конечно, не совсем так выразилась, но вполне могла бы.

Как и сестра, Лора была организованной и способной, из тех, кто достигает намеченной цели без лишней суеты, но, в отличие от сестры, в ней была какая-то беззаботность. Это не значит, что она не добивалась успехов, — у нее был полный набор сертификатов по нырянию с аквалангом, и к двадцати годам она собиралась получить высшую квалификацию. На следующий месяц у нее был запланирован тест по вождению, и она намеревалась на отлично сдать все экзамены. Ее ждало место на факультете морской биологии в Абердинском университете.

Лора нашла работу на лето в пабе на Кинг-стрит, и Тео волновался, что, когда она будет возвращаться ночью домой, какой-нибудь маньяк в парке «Христовы земли» собьет ее с велосипеда и сотворит с ней что-нибудь ужасное. Он испытал огромное облегчение, когда она решила ехать в университет сразу в октябре, а не бродить с рюкзаком на плечах по Таиланду или Южной Америке, как все ее друзья. Мир полон опасностей. «За Дженни ты так не волнуешься», — говорила Лора, и это была правда, он не волновался за Дженнифер и притворялся (и перед собой, и перед Лорой), что это потому, что она живет отдельно, в Лондоне, но на самом деле он просто не любил ее так, как любил Лору.

Он волновался всякий раз, когда Лора выходила из дому, всякий раз, когда она запрыгивала на велосипед, или надевала гидрокостюм, или садилась в поезд. Когда она куда-то шла в сильный ветер, он боялся, что ей на голову упадет обломок крыши, он боялся, что в университете она снимет квартиру с неисправным водонагревателем и отравится угарным газом. Он переживал, что она давно не обновляла прививку от столбняка, что она зайдет куда-нибудь, где через кондиционеры прокачивают болезнь легионеров, что она ляжет в больницу на простую операцию и никогда оттуда не выйдет, что ее укусит пчела и она умрет от анафилактического шока (ее никогда не кусали пчелы, так откуда же ему знать, что у нее нет на них аллергии?). Конечно же, Лоре он никогда о своих страхах не говорил: она подняла бы его на смех. Стоило ему выказать хоть намек на тревогу («Осторожнее на левом повороте, обзор плохой» или «Выключи свет, прежде чем менять лампочку»), Лора принималась над ним смеяться и говорила, что он стал как старуха, которая не может поменять лампочку, не

представив цепочки ужасных последствий. Но Тео знал, что путь, начавшийся с недокрученной гайки, заканчивается сорванной дверью грузового отсека высоко в воздухе. «Почему ты всегда волнуешься, пап?» — неизменно спрашивала Лора.

«А почему нет?» — был невысказанный ответ Тео. И после очередного из ставших постоянными ночных бдений в ожидании, когда дочь вернется домой с работы из паба (хотя он всегда притворялся, что спит), Тео как бы между прочим заметил, что им в конторе нужна временная секретарша, так почему бы ей не выручить отца, и, к его изумлению, она подумала всего минуту и сказала: «Ладно» — и улыбнулась своей очаровательной улыбкой (результат часов кропотливой и дорогой работы ортодонта), и Тео подумал: «Спасибо тебе, Господи», потому что, хоть Тео и не верил в Бога, он часто с Ним разговаривал.

Но в ее первый день работы в «Холройд, Уайр и Стэнтон» (Уайром был Тео) ему нужно было отлучиться из конторы, что, понятное дело, огорчало его намного больше, чем Лору. Он отпраивался в суд в Питерборо по нудному разбирательству о границах земельного надела, которым должен был бы заниматься местный адвокат, но дело затеял старый клиент Тео, только недавно перебравшийся из Кембриджа. На Лоре была черная юбка и белая блузка, и она забрала свои каштановые волосы в хвост на затылке. Такой у нее деловой вид, подумал он, но до чего же хорошенькая.

«Пап, обещай, что пойдешь до станции пешком?» — строго сказала Лора, когда Тео встал из-за стола, и он ответил: «Ну раз так надо...» — но он знал, что если пойдет пешком, то не успеет на поезд, и подумал, что может притвориться, а потом взять такси. Он покончил со своими низкокалорийными хлопьями с высоким содержанием клетчатки, напоминавшими коровий корм, и осушил чашку черного кофе, мечтая о сливках и сахаре и слоеной булочке, такой, с абрикосом и заварным кремом, похожей на яйцо-пашот, и подумал, что, может быть, слойка найдется в буфете на станции. «Папа, не забудь ингалятор», — напомнила Лора, и Тео похлопал себя по карману пиджака в доказательство того, что ингалятор при нем. Сама мысль о том, чтобы оказаться без вентолина под рукой, приводила Тео в состояние паники, хотя с чего бы? Случись у него приступ астмы на любой английской улице, у половины прохожих наверняка окажется ингалятор.

«Шерил тебе все объяснит, — сказал он дочери; Шерил была его секретаршей. — Я вернусь в контору к обеду, может, перекусим вместе?» И она ответила: «Договорились, пап». А потом проводила его до двери, поцеловала в щеку и сказала: «Я люблю тебя, папа». И он ответил: «Я тоже

тебя люблю, милая». Дойдя до угла, он обернулся: она махала ему рукой.

Лора, у которой были карие глаза и светлая кожа, которая любила диетическую пепси и чипсы с солью и уксусом, которая была умна как черт, которая утром по воскресеньям готовила ему омлет, Лора, которая все еще была девственницей (он знал, потому что она сама ему сказала; он, конечно, смутился, но зато испытал огромное облегчение, хотя и понимал, что она не останется девственницей навечно), Лора, у которой в спальне стоял аквариум с тропическими рыбками, Лора, чей любимый цвет был голубой, а цветок — подснежник и которая любила «Радиоход» и «Нирвану», терпеть не могла мистера Пузыря и десять раз смотрела «Грязные танцы».^[2] Лора, которую Тео любил с сокрушительной силой урагана.

Тео с Дэвидом Холройдом создали партнерство вскоре после женитьбы Тео на Валери. Через пару лет к ним присоединилась Джин Стэнтон. Они втроем дружили со студенческой скамьи и мечтали о «прогрессивной, социально ответственной» адвокатской практике, не пренебрегающей бытовыми и семейными делами и юридической помощью неимущим. С годами их благие намерения поутихли. Джин Стэнтон осознала, что ей больше нравится заниматься гражданскими исками, чем делами о домашнем насилии, а ее политические симпатии от левых центристов переместились к Консерваторам с большой «К», а Дэвид Холройд вспомнил, что он, как-никак, восточноанглийский юрист в пятом поколении и имущественное право у него в крови, поэтому «заниматься этическими разборками», по словам того же Дэвида Холройда, обычно выпадало Тео. Практика разрослась: теперь она включала трех младших партнеров и двух помощников, и контора в Парксайде трещала по швам, но о переезде никто не хотел и думать.

Их здание изначально было жилым домом: всего пять этажей, от сырого кухонного погреба до холодного чердака с комнатами для прислуги, — помещения наклеплены довольно беспорядочно, но в общем достойное обиталище для обеспеченной семьи. После войны его разбили на конторы и отдельные квартиры, и теперь от бывшей внутренней отделки остались лишь призрачные следы: лепнина в виде цветочно-фруктовых гирлянд с вазами над столом, за которым работала Шерил, и ионический фриз под карнизом в холле.

Овальная гостиная, оформленная в строгом неоклассическом стиле, с окнами на Паркерс-Пис,^[3] служила Холройду, Уайру и Стэнтон

переговорной, и зимой за решеткой мраморного камина всегда горел настоящий огонь, на угле, потому что Дэвид Холройд был человек старой закалки. Тео не раз сидел в этой комнате за бокалом вина с партнерами и помощниками, которые, все как один, были исполнены провинциального радушия состоявшихся профессионалов. И конечно же, Лора с Дженнифер постоянно навевались к нему в офис, с тех пор как были совсем малютками, но он не мог свыкнуться с мыслью, что сегодня она будет там раскладывать бумаги по папкам, исполнять поручения, — и он знал, какой она будет вежливой и старательной, и заранее гордился тем, что все в офисе скажут: «Лора — такая милая девочка, правда?» — так все о ней говорили.

На путях были овцы. Кондуктор не уточнил, целое стадо или просто пара-тройка заблудших. В любом случае достаточно, чтобы все пассажиры поезда на Кембридж ощутили удар и сильный толчок. Когда кондуктор прошел по всем четырем вагонам и сообщил про овец, развеяв предположения о коровах, лошадях и двуногих самоубийцах, поезд стоял уже десять минут. Прошло еще полчаса, но они не двигались с места, поэтому Тео решил, что, пожалуй, все-таки стадо, а не одна овца. Ему хотелось поскорее вернуться в Кембридж и сводить Лору на обед. Он спросил у кондуктора, сколько они еще будут стоять, и тот ответил: «Бог его знает». Тео подумал, что если уж кто и знает, то, скорее, черт.

В вагоне было душно, и кто-то, вероятно кондуктор, открыл двери, и пассажиры начали выбираться наружу. Наверняка это противоречит железнодорожным правилам, подумал Тео, но вдоль состава шла узкая обочина с насыпью, так что никакой опасности не было, да и другой поезд никак не мог врезаться в них, как они — в овец. Тео осторожно и не без труда слез с подножки, радуясь своей смелости. Ему было любопытно посмотреть, во что превратились овцы после столь близкого знакомства с поездом. Шагая вдоль путей, он скоро нашел ответ на свой вопрос: повсюду были разбросаны останки овец, куски мяса с шерстью, словно бедных тварей растерзала стая волков. Тео поразился, что его желудок устоял перед этим кровавым месивом, но, в конце концов, он всегда считал адвокатом, с их способностью быть выше хаоса и трагедий повседневной жизни и сохранять беспристрастность, сродни полицейским и медсестрам. Тео испытал странное чувство триумфа: он был в поезде, который едва не сошел с рельсов, но остался цел и невредим. По непреложному закону вероятности, его шансы (а значит, и его близких) стать жертвой другого железнодорожного происшествия ощутимо уменьшились.

Машинист с потерянным видом стоял у локомотива, и, когда Тео спросил, в порядке ли он, тот произнес, как будто отвечая на вопрос: «Я увидел только первую и подумал, что, может, не стоит из-за нее тормозить, а потом... — Он попытался жестом изобразить разлетающееся на куски стадо. — А потом все вокруг стало белое».

Тео был настолько потрясен этим воображаемым зрелищем, что не мог выкинуть его из головы до конца поездки, возобновившейся, когда их пересадили на другой поезд. Он представлял, как будет описывать случившееся Лоре, представлял, как она отреагирует — сперва ужаснется, а потом отпустит мрачную шуточку. На вокзале он взял такси, но с полдороги отпустил его и пошел пешком. Так он опоздает еще больше, зато Лора будет довольна.

Перед покорением крутой лестницы на второй этаж, где располагалась контора «Холройд, Уайр и Стэнтон», Тео с минуту постоял на тротуаре. Врач была права, и Лора тоже: нужно сбросить вес. Парадная дверь была приоткрыта, кто-то выставил чугунную подпорку. Всякий раз, заходя в здание, Тео восхищался дверью в свою контору. Она была выкрашена в блестящий темно-зеленый цвет, и вся изящная латунная фурнитура — почтовый ящик, замочная скважина, молоток с головой льва — сохранилась с незапамятных времен. Латунная табличка, которую офисная уборщица натирала каждое утро, гласила: «Холройд, Уайр и Стэнтон. Юристы и адвокаты». Тео сделал глубокий вдох и начал взбираться по лестнице.

Внутренняя дверь, что вела в приемную, тоже — странно — была открыта, и, шагнув через порог, Тео понял, что случилось что-то ужасное. Секретарша Джин Стэнтон скорчилась на полу, на ее одежде была рвота. Администратор Мойра с истерическим терпением диктовала в телефон адрес конторы, волосы и лицо у нее были в крови. Тео подумал, что она ранена, но, когда он подошел помочь, она замахала на него свободной рукой, и он решил было, что она его прогоняет, но тут понял: Мойра указывает на переговорную.

Потом Тео будет снова и снова складывать по кусочкам события, предшествовавшие этому моменту.

Лора как раз закончила ксерокопировать кадастровый паспорт, когда в приемную вошел мужчина, настолько неприметный, что впоследствии никто из сотрудников «Холройд, Уайр и Стэнтон» не смог даже примерно описать его внешность. Единственное, что им удалось вспомнить: на нем был желтый свитер для гольфа.

Вид у мужчины был растерянный, и, когда Мойра, администратор,

спросила: «Могу я вам помочь, сэр?» — он произнес высоким, взвинченным голосом: «Мистер Уайр, где он?» — и Мойра, встревоженная его поведением, ответила: «К сожалению, он задержался в суде. У вас назначена с ним встреча? Может быть, я смогу вам помочь?»

Но мужчина припустил, как ребенок, по коридору и ворвался в переговорную, где партнеры проводили обеденное совещание — все, за исключением Тео, который еще добирался от вокзала (про совещание он забыл).

Чуть раньше Лору послали купить сэндвичей — с коктейлем из креветок, сыром и капустным салатом, с ростбифом, тунцом и сладкой кукурузой и с курицей и салатом (без майонеза) для ее отца, потому что ему следовало заботиться о своем весе, и она с нежностью подумала, какой же он растяпа, ведь утром предлагал ей пообедать вместе, а у самого — совещание. Сэндвичи, кофе и блокноты уже были разложены на столе из красного дерева (овальном, повторявшем форму комнаты) в переговорной, но никто еще не сел. Дэвид Холройд стоял у камина и рассказывал одному из младших партнеров об «отпадно» проведенном отпуске, когда незнакомец вбежал в комнату и откуда-то, возможно из-под желтого свитера для гольфа, но точно никто не помнил, вытащил длинный охотничий нож и распорол Дэвиду Холройду темный ворс костюма от Остена Рида, белый поплин рубашки от Чарльза Тиритта, покрытую тропическим загаром кожу на левой руке и, наконец, артерию. И Лора, которая любила абрикосовый йогурт и пила чай, но не кофе, у которой был шестой размер обуви, которая обожала лошадей, предпочитала черный шоколад молочному и целых пять лет брала уроки классической гитары, но больше не играла и которая все еще грустила, что их собаку Маковку прошлым летом сбила машина, Лора, которая была Тео дочерью и лучшим другом, бросила кадастровый паспорт и вбежала в переговорную вслед за мужчиной, может быть, потому, что она закончила курсы первой помощи, или потому, что ходила на занятия по самообороне в старших классах, или, может быть, просто из любопытства, или повинуюсь инстинкту, — уже не узнать, о чем она думала, вбегая в комнату, где незнакомец с проворством и грацией танцора повернулся на мысках и, продолжая движение, вспоровшее руку Дэвида Холройда, полоснул по горлу Лоры, рассек сонную артерию, и ее драгоценная, прекрасная кровь веером брызнула по комнате.

Двигаясь медленно, точно во сне или под водой, Тео поспешил по коридору в переговорную. Он заметил кофейные чашки и сэндвичи на

столе из красного дерева и понял, что забыл про совещание. Кремовые стены были забрызганы кровью, у мраморного камина обмяк окровавленный Дэвид Холройд, а у самой двери на полу лежало его дитя, и в глубокой ране на ее горле пузырилась кровавая пена. Тео слышал чьи-то безудержные рыдания и как кто-то говорит: «Да где же „скорая“?»

Тео упал на колени рядом с Лорой. Над ней склонялась его секретарша Шерил, полуодетая, в юбке и лифчике. Блузку она сняла, чтобы зажать рану у Лоры на шее. Она все еще сжимала в руках мокрую кровавую тряпку, и кровь струйками стекала по ее голой коже в ложбинку между грудей. «Кровавая баня», — подумалось Тео. Кровь была повсюду: Тео стоял на коленях в кровавой луже, ковер был насквозь пропитан кровью. Кровью Лоры. А значит, и его кровью тоже. Ее белая блузка стала темно-красной. Запах крови лез ему в ноздри — медь, соль и вонь мясной лавки. Тео гадал, есть ли способ вскрыть все свои вены с артериями, выкачать из них кровь и отдать дочери. Все это время он твердил про себя, словно мантру: «Господи, пожалуйста, пусть с ней все будет хорошо», и ему казалось, что если он будет повторять эти слова снова и снова, то все наладится.

Глаза Лоры были приоткрыты, и Тео не мог определить, умерла она или нет. Он вспомнил, как в прошлом году сидел у обочины перед домом и укачивал сбитую Маковку. Маленькая собачонка, терьер; он держал ее на руках, пока она умирала, и видел тот же потухший взгляд: она уплывала в те края, откуда не возвращаются. Он прижал руку к ране на шее дочери, но кровь уже не текла, нечего было останавливать, поэтому он взял ее ладошку, мягкую и теплую, склонился к ее лицу и пробормотал ей в ухо: «Лора, все хорошо», а потом устроил ее голову у себя на коленях и принялся гладить ее окровавленные волосы, а его секретарша Шерил проговорила сквозь рыдания: «Да хранит тебя Бог, Лора».

В тот момент, когда он перестал молиться, в тот момент, когда он понял, что она умерла, Тео осознал, что это не кончится никогда. Лора всегда будет стоять у ксерокса, разбираясь в кадастровом паспорте, гадая, когда же вернется отец и можно ли пойти пообедать, потому что есть хочется ужасно. Может быть, жалея о том, что согласилась на эту работу, скучноватую, чего уж говорить, но она поступила так, чтобы угодить отцу, потому что ей нравилось делать его счастливым, потому что она любила его. Лора, которая спала, свернувшись калачиком, которая любила горячие тосты с маслом и все фильмы про Индиану Джонса, а «Звездные войны» — нет, Лора, чьим первым словом была «собака», Лора, которая любила дождь, но терпеть не могла ветер, которая планировала завести троих детей и которая навсегда останется у ксерокса в офисе в Парк-сайте, в ожидании

незнакомца с ножом, в ожидании, когда все вокруг станет белым.

3

Дело № 3, 1979 г

Все ради долга, ничего по любви

Каждый день Мишель ставила будильник на пять минут раньше. Сегодня утром он прозвенел в пять двадцать. Завтра прозвенит в пять пятнадцать. Она понимала, что когда-нибудь придется остановиться, иначе она будет вставать, до того как ляжет в постель. Но не сейчас. Она была лишь на шаг впереди ребенка, который просыпался с птичками на рассвете, а в это время года птички с рассветом с каждым днем объявлялись все раньше.

Ей просто-напросто нужно было больше времени, которого никак не хватало. И только так ей удавалось выкроить его немного. Конечно, не в буквальном смысле — хотя, если бы можно было создать новенькое, с иголки, время, это было бы просто чудесно. Когда Мишель задумывалась о способах сотворения чего-то столь абстрактного, ей на ум шли только примеры из собственного домашнего хозяйства — вязания, шитья и выпечки. Эх, представить только, что время можно связать, ее спицы стучали бы день и ночь. И какое преимущество у нее было бы перед подругами, ни одна из которых не умела вязать (шить и печь), но опять же никто из них не обременил себя в восемнадцать лет мужем и ребенком и не торчал в треклятом доме у черта на куличках, со всех сторон окруженном только линией горизонта, отчего небо казалось каменной плитой, придавливающей тебя к земле. Хотя нет, никакое это было не бремя, она же их любила. Правда любила.

И все равно, откуда ей взять время на то, чтобы делать время? Времени *нет*. В этом все дело. А что, если совсем перестать спать? Она могла бы укрыться в высокой башне, как девицы из сказок, и прясть золотую пряжу времени. Она бы не ложилась спать, пока в золотых мотках на полу не набралось бы столько времени, чтобы хватило на всю жизнь, чтобы оно никогда не кончалось. Жизнь в башне, отрезанной от всех и вся, казалась Мишель просто раем.

Младенец был посылкой, доставленной по неверному адресу, которую нельзя было ни отправить обратно, ни переслать другому («Называй ее по имени, — все время повторял Кит, — называй ее Таня, а не *ребенок*»), Мишель только что оставила позади собственное (безрадостное) детство, а

теперь, выходит, надо быть в ответе за чужое? Она знала, что это называется «связь», так было написано в книге про детей («Как вырастить ребенка счастливым», ха!). У нее не было связи с ребенком, — скорее, он заковал ее в кандалы.

Все те, кто говорил, что благоразумнее сделать аборт и закончить школу, оказались правы. Если бы она могла перевести часы назад — тоже, кстати, способ заполучить время, — она послушалась бы советов. Без ребенка на руках, она сейчас была бы студенткой: пьянки, наркотики и посредственные эссе о реформе избирательной системы 1832 года или о «Незнакомке из Уайлдфелл-Холла».^[4] Но вместо этого она сыпала семена кориандра в ящик с компостом под плач ребенка, доносившийся оттуда, где она его оставила, когда больше не смогла выносить эти звуки. Скорее всего, из спальни, поэтому прямо сейчас ребенок извивался, как жирная гусеница, двигаясь к краю кровати, или жевал электрический провод, или задыхался в подушке.

Мишель поставила ящик с семенами на кухонный подоконник, чтобы наблюдать, как ростки пробиваются к свету. Из окна видно было край огорода — аккуратные лунки во вскопанной земле и ровные грядки гороха, размеченные натянутой между палками бечевкой. Кит не понимал, зачем ей понадобилось разбивать огород. «Мы же, блин, живем на *ферме*. — Он так широко раскинул руки в стороны, что стал похож на воронье пугало (они тогда шли по полю). — Здесь полно овощей. Мы можем брать все, что хотим». На самом деле там было полно *картошки*, а это совсем не то. И брюквы с капустой — пищи для скота и крестьян. Мишель же хотелось цукини, шпината и свеклы. И кориандра. И цветов, красивых душистых цветов: роз, и жимолости, и лилий, белоснежных лилий, какие подносят невестам или покойникам.

Поле, на котором они затеяли этот спор, покрывала кочковатая трава, которую Мишель яростно мерила шагами, толкая перед собой коляску, так что ребенок в ней подсакивал, словно краш-тестовый манекен. От злости она так разогналась, что Киту, хоть ноги у него были длинные, приходилось бежать трусцой, чтобы не отстать.

«А что плохого в картошке?» — спросил он. И Мишель сорвалась на крик: «Сейчас март, и никакой картошки нет, здесь нет ничего, ничего, кроме грязи, одна только грязь и дождь, пропади они пропадом! Тут как поле битвы на Сомме!»^[5] — «Ой, вот только не надо, блин, мне тут драм устраивать!» И она подумала, до чего же у него нелепый говор, как у деревенщины из тупой комедии, как у трехнутаго пожирателя картошки.

Сама Мишель избавлялась от акцента, слушая, как говорит по телевизору средний класс и учителя в школе, пока не добилась произношения, по которому невозможно было определить, откуда она родом. Она пошла еще быстрее и уже почти бежала.

«И вообще, — проорал он ей в спину, — может, я не хочу жрать этот треклятый кориандр!» Она резко остановилась, чуть не вытряхнув младенца из коляски. Потом повернулась и сказала: «А вот я, может быть, хочу». И вперила в него долгий взгляд, жалея, что нет под рукой колуна, чтобы разрубить его башку, как дыню или тыкву, на две половинки. Нет, не дыню, дыни такие сладкие и экзотические, недостаточно заурядные для его головы, а тыквы — это овощи из сказок. Как репу. Репа — грубый, деревенский овощ. И он упал бы, как обезглавленное пугало, прямо здесь, на поле, и утонул бы в земле, с глаз долой, и тогда она смогла бы отдать ребенка своей матери и сломать еще одну жизнь.

Или, может быть, — сюжет для ночного кошмара — он бы начал расти и множиться в земле, и с приходом лета появилась бы сотня, тысяча Китов, кивающих и гнущихся на ветру, словно подсолнухи в поле.

Колун — нет, вы вдумайтесь! У всех нормальных людей есть центральное отопление или, по крайней мере, отопление, о котором не приходится думать, им не нужно тащиться на улицу в любую погоду, чтобы напилить и наколоть дров для камина, и часами ждать, пока прогреется бойлер, чтобы из крана просто потекла горячая вода.

У них не было даже угля: дрова-то бесплатные, руби сколько влезет. Топор — это что-то из сказок. Может быть, именно это с ней и случилось, может, она застряла в страшной сказке, и ей не освободиться, пока она не соберет всю картошку в поле и не изрубит на дрова все деревья в лесу. Если только она не научится прясть время. Или у нее не лопнет голова. Столько было тяжелой и нудной работы, что она чувствовала себя крепостной крестьянкой, несущей феодальную повинность.

«Дай мне коляску, — сказал Кит, — пока у Тани сотрясение мозга не случилось».

Мишель внезапно почувствовала, что ярость иссякла; она слишком устала, ей не хватало сил даже на то, чтобы злиться. Теперь они шли бок о бок, медленно, и ребенок наконец уснул — что изначально, в другой жизни, и было целью прогулки.

Кит обнял Мишель за плечи и потерся подбородком о ее макушку: «Я люблю тебя, детка, ты же знаешь, да?» И все было бы очень мило, если бы не пошел дождь и ребенок-букашка снова не заголосил.

Мишель выросла в не отличавшемся порядком доме в Фен-Диттоне, одном из мрачных поселков-спутников, пристанище кембриджской бедноты. Ее отец был пьяницей и, как любила повторять мать Мишель, «зря небо коптил», однако та продолжала с ним жить, потому что не хотела оставаться одна, что, по мнению Мишель и ее сестры, было достойно презрения. Мать тоже пила, но, по крайней мере, рук не распускала. Сестре Мишель, Ширли, было пятнадцать, и она пока жила с родителями; Мишель хотелось, чтобы она переехала к ним, но у них не было для нее комнаты. Она скучала по Ширли, очень. Ширли хотела выучиться на врача, она такая умная, все говорили, что она «далеко пойдет». О Мишель тоже так говорили — до Кита, до рождения букашки. Теперь, похоже, она не пойдет никуда.

Домишко у них был тесный. Спальня притулилась под скатом крыши, а детская больше напоминала шкаф, хотя ребенок почти там и не бывал, не желал, как полагается, мирно спать в своей кроватке, а вместо того постоянно требовал, чтобы его таскали на руках. После родов Мишель не прочитала ни одной книги. Она пыталась пристроить книгу на подушке, пока кормила, но ребенок переставал сосать, если замечал, что мать отвлеклась. Потом пришлось завязать с кормлением грудью (слава богу), потому что молоко ушло («Вам надо расслабиться и радоваться малышу», — говорила акушерка, но чему тут радоваться?), ну а чтобы управляться с бутылочкой, книгой и младенцем, потребовалось бы три пары рук. Вот, кстати, еще один способ сэкономить время.

Во время беременности Мишель старательно украшала детскую. Она выкрасила стены в яично-желтый цвет, нарисовала по трафарету бордюры из утят и овец и сшила веселенькие ситцевые занавески в желто-белую клетку, отчего комнатка будто наполнилась солнечным светом. Мишель всегда все делала так, как положено. С самого детства она была чистенькой и аккуратной, и ее мать смеялась и говорила: «Не знаю, от кого это в ней, уж точно не от меня» (ох, как же это было верно). И в школе так же: на учебниках ни пятнышка, рисунки и контурные карты всегда идеальны, все подчеркнуто, занесено в таблицы и пронумеровано; она работала так старательно и методично, что учителя ставили ей хорошие отметки, даже если она допускала ошибки. Она должна была поступить в университет, вырваться на свободу, но вместо этого ее *сбил с пути* парень с дипломом сельскохозяйственного колледжа, работавший на частной ферме и не имевший ни гроша за душой.

Она начала встречаться с Китом Флетчером, когда ей было шестнадцать, а ему двадцать один, и все подружки ей завидовали, потому что

он был старше, ездил на мотоцикле и вообще был невероятно сексуальным красавчиком-брюнетом с серьгой в ухе и этакой лисьей ухмылкой, отчего она привыкла считать его цыганом, — очень романтично, но, конечно, серьга в ухе и лисья ухмылка не делают человека цыганом. В принципе, никем не делают. А теперь у него не было даже мотоцикла, потому что он его продал и купил взамен старенький фургон.

В те давние времена, когда Мишель заботилась только о том, чтобы сдать вовремя сочинение и есть ли у нее новая пара колготок, в те другие времена, в молодости, она считала, что домик в деревне — это очень романтично, а когда она впервые его увидела, то подумала, что это самый миленький старенький домик на свете, а дом действительно был очень маленький и очень старый — лет двести, не меньше, — кирпичный, с рельефом из песчаника над дверьми и окнами, некогда это был — да-да — домик лесника, и землевладельцы разрешили Киту и Мишель жить там после свадьбы. Дом был «привязан» к земле, и Мишель находила это забавным (только вот смеяться не хотелось), потому что и сама она была на привязи.

У нее перед глазами мелькала картина славного будущего: милый домик, цветущий сад, урожайный огород, хлеб в духовке, миска клубники на столе, счастливый малыш, висящий у нее на бедре, пока она бросает корм курам. Прямо как в романе Гарди^[6] — до того как все идет прахом.

Когда она вышла замуж, на шестом месяце беременности, то бросила школу и подработку в кафе, и Кит сказал: «Ничего, вот ребенок родится, и ты сможешь поступить в колледж и все такое». Хотя они оба знали, что на хороший университет теперь рассчитывать нечего, в лучшем случае на какой-нибудь зачуханный политех в зачуханном городишке (может, даже в Кембридже, помогай Боженька), где ей в итоге придется изучать экономику или управление гостиничным хозяйством. И Мишель думала, да, я поступлю в колледж, конечно поступлю, а пока, раз уж так все вышло, надо стать хорошей женой и матерью, вот почему она дни напролет мыла, скребла, пекла и готовила и усердно читала книги по домоводству, поражаясь, сколько навыков и умений требуется для создания «уютного гнездышка» — шить стеганые лоскутные покрывала, пришивать оборочки к занавескам, мариновать огурцы, варить варенье из ревеня, делать украшения из сахарной глазури для рождественского пирога (и чтоб никак, упаси господи, не позднее сентября), и при всем при этом не забыть посадить луковицы в горшки, чтобы цветы распустились к «наступающим праздникам», и так далее, и так далее, на каждый месяц — свой список подвигов, с которыми не справился бы и Геракл, и это все, не считая

каждодневной готовки, что теперь, после отлучения ребенка от груди, стало вдвойне сложнее.

Мать, увидев, как она делает пюре из вареной моркови и запекает в духовке яичный крем, всплеснула руками: «Бога ради, Мишель, да просто дай ей баночку „Хайнца“». Но если покупать готовое питание, она же их по миру пустит, она ведь только и делает, что ест и жиреет, как личинка. Постоянно голодная, всегда ей мало. И вообще, еда из банок — это не по правилам, все надо делать как *положено*, хотя даже Ширли, которая обычно была на ее стороне, заявила: «Мишель, незачем так надрываться». Но она надрывалась, потому что ею двигало что-то, она только не понимала, что именно, но твердо знала, что если однажды доведет все до конца, то освободится от этого чувства. «Нельзя все делать идеально, Мишель, — говорила Ширли. — Никому это не удастся». Еще как удастся, если только хватает времени.

Она раздумывала, не завести ли им кур или дойную козу, может быть, чего-то не хватает, может, всего только одна жирная белая несущка виандот — и сложится идиллия. Или сицилийский баттеркан. Ей-богу, у куриных пород такие красивые названия: брама, и вельзумер, и фавероль. У Мишель была книга про кур. Она украла ее из библиотеки, ведь теперь едва ли скоро получится выбраться в город. Воровство — это нехорошо, но деревенское невежество — куда хуже. Или, может быть, коза — ламанча или бьондо-дель-амаделло? Книгу про коз она тоже украла. Деревенская жизнь превратила ее в воровку. У козых пород названия смешные: западноафриканская карликовая и теннессийская обморочная. Или, может быть, нужна идеальная клубничная грядка, вигвам из фасоли, ровный рядок кабачков — и тогда волшебный ключ откроет дверь к счастью. Она не стала говорить Киту о западноафриканской карликовой и теннессийской обморочной: хоть он и родился, и вырос в деревне, но зачем ему разводить скот, если есть супермаркет? И, кроме того, муж с ней почти не разговаривал, потому что всякий раз, когда он тянулся к ней в постели, она отталкивала его, поворачивалась к нему холодной спиной и думала: вот каково это — разлюбить.

Иногда Мишель пыталась вспомнить, как было до рождения ребенка, когда они были только вдвоем и могли весь день валяться в постели, до изнеможения заниматься сексом, а потом есть тосты с джемом и смотреть крошечный черно-белый телевизор, который стоял в изножье кровати, пока Мишель не опрокинула его, потому что Кит смотрел снукер (на черно-белом телевизоре — какой смысл?), а ребенок надрывался криком, и она

просто не могла так больше.

Она любила их, правда любила. Она просто не могла этого почувствовать.

Между ними не было связи, они были как молекулы, которые не могут образовать стабильные соединения и носятся туда-сюда, словно шары в бинго. Нужно было учить естественные науки, а не забивать себе голову романами. Романы дают совершенно ложное представление о жизни, они лгут, внушают, что всему есть конец, но у реальности нет финала, жизнь просто тянется, и тянется, и тянется.

И тогда она начала вставать еще раньше, потому что, если она хочет выбраться из этого болота, надо готовиться к выпускным экзаменам. Если вставать в четыре утра — когда, о чудо, ни птицы, ни ребенок не нарушают тишину, — можно приготовить ужин, прибраться на кухне, помыться и потом, если повезет, достать свои старые школьные учебники и продолжить образование с того места, на котором она его бросила. Потому что время нельзя создать, ее обманули. Время — вор, который крадет у нее жизнь, и единственный способ вернуть пропажу — перехитрить время.

Это был обычный день (во всяком случае, для Мишель). Суббота. Мишель поднялась в половине четвертого утра и была, как никогда, довольна своей стратегией. В холодильнике ждало блюдо с лазаньей, аккуратно закрытое пищевой пленкой, и она испекла шоколадный торт — любимое лакомство Ширли, потому что по субботам сестра часто приезжала их навестить. Она прочитала три главы из «Великобритании между мировыми войнами» Моуэта и составила план для сочинения по «Королю Лиру». Девочка была накормлена, умыта и наряжена в симпатичный комбинезончик из «ОшКоша», в бело-голубую полоску, подарок Ширли. Она курлыкала сама с собой в манеже и не мешала Мишель мыть окна. Небо было синее, дул свежий ветерок, а в огороде показались ростки, даже кориандр проклюнулся.

Спустя какое-то время она взглянула на девочку и увидела, что та спит в манеже, свернувшись гусеницей, и Мишель подумала, что надо воспользоваться передышкой и сесть за географию, но в этот самый момент в дом ввалился Кит с охапкой дров и с грохотом вывалил их у камина — и девочка проснулась и тут же, будто кто-то нажал на кнопку, зашлась ревом, и Мишель тоже принялась кричать и кричала, стоя посреди комнаты, опустив руки, пока Кит не вlepил ей пощечину, которая обожгла ее, как клеймо.

У нее уже саднило в горле от крика, и накатила слабость, она едва не падала и теперь должна была бы — потому что, чего скрывать, они уже проходили все это раньше (не считая пощечины) — разрыдаться, и Кит обнял бы ее и сказал: «Все хорошо, детка, все хорошо», и она порыдала бы, а потом успокоилась, и они вдвоем баюкали бы девочку, пока и та бы в свою очередь не затихла.

Потом они растопили бы камин — по вечерам бывало прохладно, — и разогрели лазанью, и устроились поудобнее, чтобы посмотреть какую-нибудь ерунду на новом цветном телевизоре, купленном взамен старого черно-белого. Набив животы, они отправились бы в постель и занялись бы сексом, чтобы окончательно помириться, и хорошо выспались бы, чтобы подготовиться к очередному дню той же самой жизни, но, когда Кит подошел, чтобы обнять ее, она плюнула ему в лицо, чего тоже раньше никогда не бывало, а потом выбежала на улицу, схватила топор, воткнувший в чурбак рядом с козлами, и вбежала обратно в дом.

Было очень холодно, огонь в камине так и не развели. Мишель сидела на полу. Девочка спала, негромко, но горестно пойкивая, вид у нее был измученный, ее снова оставили засыпать в слезах. В груди у Мишель рос тяжелый ком, как будто камень; ее подташнивало. Она даже не представляла, что можно так плохо себя чувствовать. Она смотрела на Кита, и ей было жаль его. Когда рубишь дрова и поленья раскалываются от удара топора, пахнет чудесно — Рождеством. Но когда от удара раскололась голова, запахло скотобойней, и эта вонь перебила аромат сирени, которую она срезала и поставила в воду этим утром, но уже в другой жизни.

Если бы она могла загадать одно-единственное желание, если бы в холодной гостиной маленького коттеджа появилась фея-крестная (которой в жизни Мишель ощутимо не хватало) и предложила ей все, что она пожелает, — Мишель бы точно знала, о чем просить. Она бы вернулась в тот день, когда родилась, и начала все заново.

Мишель раздумывала, не пора ли встать с пола и немного прибраться, но она так устала, что решила просто сидеть и ждать, когда приедет полиция. Теперь у нее было все время на свете.

Джексон включил радио и слушал ободряющий глас Дженни Мюррей^[7] в «Женском часе». Он прикурил новую сигарету от окурка, потому что спички кончились, и, оказавшись перед выбором: одну за одной или воздержание, выбрал первое, — сдавалось ему, в его жизни воздержания и так более чем достаточно. Если бы он починил прикуриватель, не пришлось бы таким манером приканчивать всю пачку, но в машине много чего нуждалось в починке, и прикуриватель не был первым в списке. Джексон ездил на черном «Альфа-Ромео-156», он купил его подержанным четыре года назад за тринадцать тысяч фунтов. Теперь эта машина едва ли стоила больше, чем горный велосипед «эммель-фридом», который он недавно подарил дочери на ее восьмой день рождения (с условием, что она не будет кататься по проезжей части, пока ей не стукнет по крайней мере сорок).

Когда он вернулся домой с «альфа-ромео», жена бросила на его приобретение пренебрежительный взгляд и заявила: «Типичная полицейская тачка». Четыре года назад Джози ездила на собственном «поло» и была замужем за Джексоном, а теперь она жила с бородатым профессором английской филологии и водила его «Вольво-V70» с наклейкой «Ребенок в машине» на заднем стекле, которая свидетельствовала как о прочности их отношений, так и о желании этого самодовольного козла показать окружающим, что он заботится о чужом ребенке. Джексон эти наклейки терпеть не мог.

Он снова закурил всего полгода назад. Джексон не прикасался к сигаретам пятнадцать лет, но у него было такое чувство, будто он никогда не переставал курить. И совершенно без причины. «Да просто так», — сказал он, не слишком удачно изобразив в зеркале фирменную мину Томми Купера.^[8] Конечно, это было не «просто так», просто так ничего не бывает.

Ей лучше поторопиться. Парадная дверь оставалась решительно закрыта. Дверь из дешевого дерева, покрытая лаком, с окошком-веером над притолокой, под георгианский стиль, точная копия любой другой двери в Черри-Хинтоне. Джексон мог бы вышибить ее одним пинком. Она опаздывала. В час у нее вылет, и сейчас ей уже следовало быть на пути в аэропорт. Джексон приоткрыл окно, чтобы впустить воздух и выпустить

дым. Она вечно опаздывала.

Разбавлять скуку с помощью кофе не годится, разве что тогда ссать в бутылку, а это не вариант. Теперь, после развода, он был волен употреблять слова вроде «ссать» и «дерьмо» — элементы лексикона, почти уничтоженные Джози. Она была учительницей начальных классов и большую часть рабочего дня перевоспитывала пятилетних мальчиков. А потом приходила домой и делала то же самое с Джексонем («Ради бога, Джексон, есть же пристойное слово — *пенис*»), они вместе готовили пасту и зевали под разную срань по телевизору. Ей хотелось, чтобы их дочь Марли «использовала правильные анатомические названия половых органов». Джексон предпочел бы, чтобы Марли вообще не знала о существовании половых органов, а не сообщала отцу, что она «получилась», когда он «вставил свой пенис в мамочкино влагалище», — странное медицинское описание стремительного потного акта, случившегося где-то в поле, на обочине шоссе A1066 между Тетфордом и Диссом, акробатического совокупления в его стареньком двухдверном «БМВ» (типичная полицейская тачка, он очень по ней скучал, да упокоится она с миром). В те времена им могло приспичить заняться сексом где угодно; единственное, что выделяло тот случай из остальных, — так несвойственное Джози наплевательское отношение к противозачаточным средствам.

Потом она винила в последствиях (Марли) Джексона, мол, он не подготовился, но Джексон считал Марли выигрышем в лотерею, да и, в конце концов, чего Джози ожидала, принявшись ласкать его — будем анатомически точны — пенис, когда он всего-навсего хотел добраться до Дисса (цели той поездки история не сохранила). Сам Джексон был зачат в отпуске в эрширском пансионе, что его отец всегда находил необъяснимо забавным.

Заныл мочевой пузырь — зря он подумал про кофе. Когда «Женский час» закончился, он поставил компакт с «Алабамской песней» Эллисон Мурер^[9] — эта меланхоличная музыка его успокаивала. *Bonjour Tristesse*.^[10] Джексон брал уроки французского, предвкушая тот день, когда распродаст все, что нажил, и уедет за границу, и будет делать то, что обычно делают люди, досрочно вышедшие на пенсию. Гольф? Французы играют в гольф? Джексон не мог припомнить ни одного французского игрока в гольф — хороший знак, потому что сам он не выносил гольф. Ну, или будет просто играть в *boules*^[11] и смолить одну за другой. В курении французам нет равных.

В Кембридже Джексон никогда не чувствовал себя дома, и, если уж на то пошло, он никогда не чувствовал себя дома на юге Англии. Он приехал туда, можно сказать, случайно, последовав за подружкой и оставшись ради жены. Много лет он подумывал о том, чтобы перебраться обратно на север, но знал, что никогда этого не сделает. Там его никто не ждал, кроме дурных воспоминаний и прошлого, которое он не сможет изменить, да и вообще, к чему все это, если по другую сторону Ла-Манша простирается Франция — причудливым лоскутным одеялом из подсолнухов, и виноградных лоз, и маленьких кафе, где он мог бы сидеть дни напролет, смакуя местное вино и горький эспрессо и куря «Житан», и где каждый бы говорил ему: «*Bonjour, Джексон*», только они произносили бы «Жаксун», и он был бы счастлив. Сейчас же он ощущал себя ровно наоборот.

Конечно, такими темпами досрочно ему на пенсию не выйти. Джексон помнил те времена, когда сам он был подростком, а пенсионеры — стариками, ковылявшими между своим огородом и уголком в пивной. Они казались ему *очень* старыми, хотя, наверное, им было лишь немногим больше, чем ему сейчас. Джексону было сорок пять, но он чувствовал себя чуть не в полтора раза старше. Он вступил в тот опасный возраст, когда мужчины вдруг сознают, что в конце концов неизбежно умрут и ни черта не могут с этим поделать, но это не мешает им пытаться сделать хоть что-нибудь — трахать все, что движется, или слушать раннего Брюса Спрингстина^[12] и покупать мотоциклы премиум-класса (обычно «БМВ-К-1200-ЛТ», что значительно повышало их шансы встретить смерть раньше). Были и такие, кто застревал в колее привычного алкогольного отупения, — шоссе в никуда для среднего бета-самца (по которому отправился его отец). Но был и путь, выбранный Джексоном, который вел к ежедневному дзену во французском домике с белыми оштукатуренными стенами, горшками с геранью на подоконниках и синей облупившейся дверью, потому что кому, черт побери, во французской глубинке есть дело до свежего ремонта?

Он припарковался в тени, но солнце успело подняться выше, и в машине становилось жарковато. Ее звали Никола Спенсер, ей было двадцать девять лет, и она жила в чистеньком кирпичном гетто. Для Джексона все дома и улицы в этом районе выглядели одинаково, и если бы он на минуту отвлекся, то оказался бы в Бермудском треугольнике как две капли воды похожих друг на друга открытых газонов. Джексон питал нездоровую антипатию к жилым комплексам. Отчасти это было связано с его бывшей женой и семейной жизнью. Это Джози хотела дом в новом квартале, она одной из первых подала заявку на жилье в Кембурне,

построенном в лучших диснеевских традициях «жилом массиве» в пригороде Кембриджа, с площадкой для крикета на «традиционной» зеленой лужайке и с игровой зоной «в римской тематике». Это Джози заставила их переехать в новый дом, когда улица еще была сплошь стройплощадкой, и настояла, чтобы они обставили его практичной современной мебелью, Джози, которая отвергала избыточный викторианский стиль, которая считала обилие ковров и штор «удушающим» и которая теперь проживала с Дэвидом Ластингемом в настоящей лавке древностей — доме рядовой застройки викторианской эпохи, набитом антикварной мебелью, унаследованной им от родителей, где каждая поверхность была устлана, задрапирована и снабжена занавесочками. («Ты вообще уверена, что он не гомик? — спросил Джексон у Джози, просто чтобы позлить. — Ради всего святого, этот парень ходил в салон красоты на маникюр». А она рассмеялась: «Уж у него-то с мужским достоинством все в порядке, Джексон».)

Снова зуб разболелся. Сейчас Джексон виделся с дантистом чаще, чем с женой в последний год брака. Его врача звали Шерон, и она была, по отцовскому выражению, «шикарно укомплектована». Ей было тридцать шесть, она ездила на «ВМВ-Z3», который, по мнению Джексона, скорее подошел бы парикмахерше, и тем не менее он находил докторшу весьма и весьма. К сожалению, не представлялось возможным завести отношения с кем-то, кому нужны маска, защитные очки и перчатки, чтобы к тебе прикоснуться. (Или кто заглядывает тебе в рот и протягивает: «Курим, Джексон?»)

Он открыл допотопный номер «Le Nouvel Observateur»^[13] и попытался читать — его учитель французского утверждал, что надо погружаться во французскую культуру, даже если ничего в ней не понимаешь. Джексон узнавал где-то по слову на строку и еще формы сослагательного наклонения, шрапнелью разбросанные по тексту, — если и есть бесполезная глагольная форма, так это французский субжонктив. Он сонно вел взглядом по странице. Большая часть его теперешней жизни состояла из простого ожидания — занятия, которое он двадцать лет назад считал бесполезным, а сейчас находил почти приятным. Ничегониделанье куда продуктивнее, чем принято считать. Нередко самые глубокие прозрения посещали его тогда, когда он казался абсолютно праздным. Ему не было скучно, он просто уходил в никуда, в пространство. Иногда он подумывал, что не прочь уйти в монастырь, из него получился бы хороший аскет, анахорет или буддистский монах.

Однажды Джексон арестовал старика-ювелира, занимавшегося

скупкой краденого. Когда он явился за ним в его мастерскую, тот сидел в старинном кресле, курил трубку и рассматривал кусок камня на верстаке. Не сказав ни слова, он взял камень и вложил в Джексонovu ладонь, словно подарок. Это напомнило Джексону его учителя биологии, который давал ученику какой-нибудь предмет, птичье яйцо или лист дерева, и заставлял рассказывать об этом предмете, — такое вот обучение наоборот. Камень оказался куском темного железняка и походил на окаменелую древесную кору, а в центре его виднелась стиснутая жилка молочного опала, точно туманная дымка предрассветного летнего неба. Известен капризностью в обработке, сообщил старик Джексону. Он сказал, что смотрит на камень уже две недели, еще две — и он, возможно, будет готов начать огранку, а Джексон ответил, что следующие две недели он проведет в камере предварительного заключения, но у ювелира был хороший адвокат, он вышел под залог и отделался условным приговором.

Год спустя Джексону в полицейский участок пришла посылка. Внутри не было записки, только коробочка, в которой на темно-синем бархате лежал опаловый кулон, маленький кусочек неба. Джексон знал, что старик преподал ему урок, но ему понадобилось много лет, чтобы понять его смысл. Он собирался подарить кулон Марли на восемнадцатилетие.

Муж Николы Спенсер, Стив Спенсер, был убежден, что его жена «обзавелась кавалером», — так он выразился, деликатно и несколько даже куртуазно. Джексон привык, что охваченные подозрениями супруги, обращающиеся к нему, озвучивают свое недоверие не в пример жестче. Стив был человеком нервного склада, параноиком и никак не мог понять, как ему удалось заарканить такую «роскошную женщину», как Никола. Джексон повидал на своем веку роскошных женщин, и они мало напоминали Николу Спенсер, однако он подумал, что если бы сам был замужем за Стивом Спенсером, то не преминул бы «обзавестись кавалером». Стив работал провизором в аптечной сети, и похоже, у него не было ни хобби, ни других интересов, кроме Николы. Для него она была «единственной женщиной на свете». Джексон не верил, что каждому судьбой предназначен только один человек. А если и так, то, зная его, Джексона, везучесть, единственная и неповторимая трудится на рисовых полях посреди Китая или же это осужденная киллерша в бегах.

В свободное от работы время Никола Спенсер ходила в фитнес-клуб, в «Сейнсбериз» (и однажды, без какой-либо явной причины, в «Теско»), навещала мать, подругу Луизу и подругу Ванессу. Ванесса входила в женатую пару «Ванесса и Майк», которые считались друзьями «Стива и

Николы». Насколько Джексон мог судить, Луиза с Ванессой знакомы не были. Еще Никола регулярно посещала автозаправку, очевидно, чтобы заправиться, и в магазине при заправке иногда покупала молоко и почти всегда шоколад и свежий номер «Хелло!» или «Хита».^[14] Как-то раз ездила в садоводческий центр, где купила лоток с рассадой, которую сразу же высадила, а потом забывала поливать — к такому выводу Джексон пришел, когда забрался на садовый забор подглядеть, что происходит *chez* Спенсеров^[15] или, правильнее сказать, *au jardin*^[16] Спенсеров.

Кроме того, за последние четыре недели Никола заходила в гипермаркет «Умелые руки», где купила отвертку и нож для гипсокартона, в «Хабитат», где купила настольную лампу, в «Топ-Шоп» за белой футболкой, в «Некст» за белой блузкой, в «Бутс» (дважды за косметикой и туалетными принадлежностями и один раз за понстаном^[17] по рецепту), в «Роберт Сейлз» за парой голубых полотенец для рук и в рыбную палатку на рынке, где купила (дорогущего) морского черта для ужина с вышеупомянутыми Ванессой и Майком; морской черт, как сообщил потом Стив Спенсер, оказался «сущим кошмаром». Очевидно, Никола не отличалась кулинарным талантом. Она тоже вела чертовски скучную жизнь, если только с ней не происходило что-то фантастически интересное, пока она толкала тележку взад-вперед по проходу экономкласса в самолете. Может, то же самое произошло с Джози, и потому она «обзавелась» Дэвидом Ластингемом, может, ей стало невыносимо скучно с Джексоном? Она познакомилась с ним на вечеринке — Джексон не смог пойти из-за работы, — и новоявленная парочка «старалась сдерживать свои чувства», но, судя по всему, старалась недостаточно, потому что не прошло и полугода, как они стали «обзаводиться» друг другом при каждом удобном случае, и теперь Дэвид Ластингем вставляет пенис в мамочкино влагалище, когда пожелает.

Джози сразу подала на развод. Непреодолимые противоречия — как будто это он был во всем виноват и она не трахалась с каким-то козлобородым педрилой. («Дэвид, — говорила Марли с куда большей симпатией, чем хотелось бы Джексону, — он хороший, покупает мне шоколад и делает классные макароны». У девчонки от желудка к сердцу вела шестиполосная магистраль. «Это я делаю классные макароны», — заявил Джексон и сам услышал, как по-детски это прозвучало, но ему было плевать. Он попросил приятеля поискать Дэвида Ластингема в списке педофилов. Просто на всякий случай.)

Джексон докуривал последнюю сигарету. За все то время, что он за ней наблюдал, Никола Спенсер не сделала ничего хоть в малейшей степени подозрительного, так что если она и ходила на сторону, то на очень далекую, сторону, — все эти ночевки в отелях средней руки, теплые вечера и дешевый алкоголь создавали отличную атмосферу для шалостей. Джексон пытался объяснить Стиву, что, если тот действительно хочет выяснить, что происходит, ему придется оплатить детективу билет на рейс Николы, но Стив не горел желанием спонсировать, как он, похоже, считал, заграничный отпуск Джексона. Джексон думал, что, наверное, все равно с ней полетит, а потом проявит творческий подход к счетам — билет туда-обратно в любой город Европы легко растворится среди «прочих» расходов. Может, он дождется, пока она полетит во Францию, и последует по пятам. Джексон не хотел в отпуск, он хотел новую жизнь. И он хотел отделаться от Николы Спенсер с ее унылым существованием.

Когда два года тому назад Джексон подался в частные детективы, он вовсе не считал эту профессию захватывающей. К тому времени он двенадцать лет отслужил в полиции Кембриджшира, а до этого состоял в рядах военной полиции, так что у него не было иллюзий насчет того, как устроен мир. Расследовать чужие трагедии, ляпы и злоключения — это все, что он умел. Он привык быть посторонним, подглядывающим в щелку, и ничто — действительно ничто — его больше не удивляло. Но, несмотря на богатый опыт, в глубине души у него оставалась надежда (маленькая, потрепанная и избитая), что смысл его работы — помогать людям быть хорошими, а не наказывать за то, что они плохие.

После того как его брак растаял у него на глазах, он ушел из полиции и открыл детективное агентство. «А как же твоя пенсия?» — спросила Джози. «А что моя пенсия?» — переспросил Джексон с беспечностью, о которой уже начиная жалеть.

По большей части его нынешняя работа была либо утомительной, либо скучной: вручение судебных повесток, проверка биографических данных, просроченные долги да иногда выслеживание торговца-мошенника, до которого у полиции не доходили руки («Я заплатил ему триста фунтов аванса за материалы и больше его не видел». Ну надо же). Не говоря уже о пропавших кошках.

Как по заказу, мобильник зазвонил грубоватой версией «Кармины Бураны»^[18] — персональный рингтон Бинки Рейн (Бинки — что это за имя такое?). Бинки Рейн была первой клиенткой Джексона, когда он стал частным детективом, и ему казалось, что он не избавится от нее до пенсии, и даже тогда она, скорее всего, потащится за ним во Францию с волшебной

дудочкой, ведя за собой беспризорных котов. Она была кошатницей, сумасшедшей старой каргой, которая привечала каждого бродячего представителя кошачьего племени в Кембридже.

Бинки перевалило за девяносто, она была вдовой члена совета Питерхауса,^[19] дона^[20] по философии (несмотря на прожитые в Кембридже четырнадцать лет, слово «дон» у Джексона по-прежнему ассоциировалось с мафией). Доктор Рейн — «Джулиан» — уже давно удалился на покой в огромную профессорскую на небесах. Сама Бинки выросла в колониальной Африке и обращалась с Джексонном как со своим слугой она всех считала слугами. Она жила в Ньюнхеме, что по пути в Грантчестер-Медоуз, в одноэтажном коттедже, построенном где-то между мировыми войнами, который, вероятно, некогда был совершенно обычным домом из красного кирпича, но за годы небрежения превратился в развалину из готического романа. Дом кишел кошками, десятками и сотнями проклятых тварей. От одной мысли о стоявшем там запахе у Джексона подкатывало к горлу: кошачья моча, метки самцов, повсюду блюдца с дешевыми консервами из субпродуктов, которыми пренебрегали даже производители бургеров. У Бинки Рейн не было ни денег, ни друзей, ни семьи, соседи сторонились ее, но тем не менее она без особых усилий создавала вокруг себя ауру аристократического высокомерия, словно заброшенная на чужбину королевская особа, вынужденная ходить в лохмотьях. Бинки Рейн была из тех, кто, умерев, неделями лежит в собственном доме, разве что ее быстрее съели бы кошки.

Первый раз она обратилась к Джексону с жалобой на то, что кто-то крадет ее кошек. Джексон так и не сумел выяснить, действительно ли кошки пропадали или же она думала, что они пропадали. Особенно она волновалась за черных. «Кто-то их забирает», — говорила Бинки тонким надтреснутым голосом, с акцентом столь же анахроничным, как и она сама. Пережиток, обломок времени и мест, давно канувших в историю. Первым был объявлен в розыск черный кот по кличке Нэгр (Негр). У Джексона челюсть отвисла, но Бинки Рейн явно не видела в этом ничего предосудительного. С нэграми (неграми) это не связано, снисходительно пояснила она, ее питомец был наречен в честь кота капитана Скотта с «Дискавери».^[21] (И поди ж, разгуливала по мирному Ньюнхему с воплями «Нэгр!».) Ее деверь был доблестным членом Института полярных исследований Скотта, что на Ленсфилд-роуд, и однажды участвовал в зимовке на шельфовом леднике Росса, очевидно сим сделав Бинки экспертом (экспертом) в антарктических исследованиях. Скотт был

«дураком», Шеклтон^[22] — «бабником», а Пири^[23] — «американцем», чего, похоже, для отрицательной характеристики было достаточно. Высказывания Бинки насчет полярных экспедиций («Лошади! Только идиот взял бы лошадей!») явно свидетельствовали о том, что самым опасным путешествием в ее жизни был вояж из Кейптауна в Саутгемптон в каюте первого класса на борту «Данноттар-кастл» в 1938-м.

Лучший друг Джексона, Хауэлл, — чернокожий. Когда Джексон рассказал ему про кота Нэгра, тот хохотал во все горло. Они с Хауэллом дружили с армии, оба пришли служить рядовыми. «Нэгры», — хохотал Хауэлл, передразнивая белую старуху. Специфическое было зрелище, потому что росту в Хауэлле шесть футов шесть дюймов и он самый черный из всех чернокожих, которых Джексон когда-либо встречал. Демобилизовавшись, Хауэлл вернулся в родной Бирмингем и теперь работал в большом отеле швейцаром. На службе ему полагалось наряжаться в нелепый опереточный костюм — ярко-синий сюртук, обшитый золотым галуном, и, что еще хуже, цилиндр. Однако Хауэлл производил настолько внушительное впечатление, что не только не выглядел глупо в ливрейном наряде, но даже сообщал тому некоторое благородство.

У Хауэлла, наверное, тоже опасный возраст. Интересно, как он справляется? В последний раз они общались больше полугода назад. Вот так и теряешь людей: стоит только отвлечься, и они ускользают из рук. Джексон скучал по Хауэллу. Как-то между прочим он ухитрился потерять не только жену и ребенка, но и всех друзей. (Хотя были ли у него друзья, кроме Хауэлла?) Может, — поэтому люди забивают свои дома вонючими кошками — чтобы не замечать одиночества, чтобы не умереть без живой души рядом. Джексон надеялся, что с ним так не будет. Лично он собирался умереть во Франции, в кресле, в саду, после хорошего обеда. Может быть, Марли как раз приедет погостить и возьмет с собой своих детей, и Джексон увидит, что часть его продолжит жить в будущем и смерть не конец всему.

Джексон спихнул Бинки на автоответчик и теперь слушал, как она царственным тоном повелевает ему прибыть незамедлительно по «крайне неотложному поводу», имевшему отношение к Шпультке.

За все два года знакомства Бинки Рейн не заплатила детективу ни пенса, но Джексон считал, что все по-честному, ведь он так и не нашел ни одной пропавшей кошки. Он рассматривал поездки к старухе скорее как социальную помощь: кроме него, бедную перечницу никто не навещал. Он диву давался, как у него хватает терпения на все Бинкины закидоны. Да, карга она, конечно, фашистская, но какая сила духа. Зачем, по ее мнению,

кому-то красть у нее кошек? Джексон думал, что она скажет «для опытов» — ночной кошмар всех кошатников-параноиков, — но Бинки считала, что их воровали на перчатки (разумеется, черные).

Джексон раздумывал, не плюнуть ли на эту копушу Николу, дабы явиться по вызову Бинки, но тут дверь дома распахнулась. Джексон сполз пониже на сиденье и притворился, что погружен в «Le Nouvel Observateur». С пятидесяти ярдов он углядел, что Никола не в духе, но это, в принципе, было для нее дефолтным режимом. В наглухо застегнутой уродской форме стюардессы она явно умирала от жары. Костюм ей не шел, а в этих лодочках, как у королевы Елизаветы, у нее были толстые лодыжки. Без макияжа, *au naturel*^[24] Джексон видел ее только во время пробежек. Она столько бегала, как будто готовилась к марафону. Джексон сам любил бегать — каждое утро по три мили, подъем в шесть, сразу на улицу, прежде чем большинство вылезет из постели, кофе по возвращении. Вот что значит армейская закалка. Армия, полиция и изрядная доза шотландских пресвитерианских генов. («Ты все бегом, Джексон, — говорила Джози. — Если бежать вечно, то вернешься туда, откуда начал: ты когда-нибудь слышал о кривизне пространства?»)

В спортивной одежде Никола выглядела намного лучше. В униформе она была серой мышью, но во время пробежек по лабиринтам соседних улиц казалась подтянутой и сильной. Для бега она надевала спортивные штаны и старую футболку с эмблемой «Голубых соек»^[25] — наверное, купила в Торонто, хотя за то время, пока Джексон вел за ней слежку, она ни разу не летала за океан. Три рейса в Милан, два в Рим и по одному в Мадрид, Дюссельдорф, Пергшьян, Неаполь и Фару.

Никола села в маленький девчачий «Форд-К» и рванула в Станстед. Нельзя сказать, чтобы сам Джексон ездил медленно, но Никола носилась просто на дикой скорости. Он намеревался предупредить дорожную полицию, когда закроет это дело. До отдела расследований Джексон поработал на дорогах, и теперь ему то и дело хотелось прижать Николу к обочине и арестовать.

Движение замедлилось, они подъезжали к аэропорту. У Джексона снова зазвонил телефон. На этот раз — его секретарша Дебора.

— Ты где? — строго спросила она, как будто ему надлежало быть совсем в другом месте.

— У меня все в порядке, спасибо, а у тебя как дела?

— Тут звонили, можешь заодно заехать поговорить, раз ты все равно не в конторе.

«Не в конторе»! Можно подумать, он в баре клеит цыпочек.

— А подробнее нельзя?

— Нет. У кого-то там что-то пропало.

В аэропорту Никола строго следовала заведенному ритуалу. Она припарковала машину и вошла в терминал. Джексон следил, пока она не скрылась из виду. Потом сходил в туалет, выпил двойной эспрессо, который не слишком спас от жары, купил сигарет, прочитал заголовки в газете, покупать которую не стал, и уехал.

К тому времени как самолет Николы, следовавший в Прагу, взмыл над равнинами, Джексон уже шагал к большому дому на Оулстон-роуд, пугающе близко от жилища Бинки Рейн. Дверь открыла женщина, заплутавшая где-то на пятом десятке. Она сощурилась на Джексона поверх очков-полумесяцев. Преподша, подумал он.

— Миссис Ленд?

— Мисс Ленд. Амелия Ленд. Спасибо, что пришли.

Амелия Ленд угостила его отвратительным кофе. Джексон уже чувствовал, как эта дрянь разъедает ему желудок. Теперь хозяйка бродила по заброшенной кухне в поисках печенья, хотя Джексон дважды повторил: «Спасибо, не нужно». Наконец она обнаружила пачку отсыревших крекеров в глубинах шкафа, и Джексон прожевал одну печенюшку, чтобы ее порадовать. По вкусу крекер напоминал мягкий слежавшийся песок, но Амелия Ленд, похоже, была довольна, что выполнила обязанности гостеприимной хозяйки.

Вид у нее был растерянный, даже слегка не в себе, но Джексон давно привык к кембриджской университетской публике, хотя она сказала, что живет «в Оксфорде, а не в Кембридже» и «там все *совершенно* по-другому», и Джексон подумал: «Ну да, ну да», но ничего не сказал. Амелия Ленд все лепетала о голубых мышах, и, когда он мягко сказал ей: «Мисс Ленд, начните с самого начала», она опять завела про голубых мышей, сообщив, что с них все и началось, и добавила: «Пожалуйста, зовите меня Амелия». Джексон вздохнул про себя, предчувствуя, что из этой особы все придется тянуть клещами.

Появилась ее сестра, затем исчезла и появилась снова с какой-то старой куклой в руках. Никто бы не принял их за сестер: одна — высокая, крупная, седеющие волосы выбиваются из пучка на затылке, а другая — маленькая и фигуристая, из тех, что кокетничают со всеми, кто носит брюки (о да, знакомый тип). Губы у маленькой были накрашены ярко-

красной помадой, а ее многослойный наряд состоял из поношенного на вид и не сочетавшегося друг с другом экстравагантного тряпья; свою необузданную гриву она скрутила в узел, из которого торчал карандаш. Обе были одеты тепло, несмотря на знойный день. Немудрено — Джексон и сам пожегся, ступив с залитой солнцем улицы в этот зимний сумрак.

— Наш отец умер два дня назад, — сказала Джулия (так звали вторую из сестер) таким тоном, словно это была заурядная неприятность.

Джексон взглянул на лежащую на столе куклу. Потрепанное махровое тельце, длинные тонкие ручки и ножки и мышьяная голова. Кукла была голубая. Ну вот, что-то начало проясняться.

— Голубая мышь, — сказал он Амелии, кивнув на игрушку.

— Нет, *Голубой Мышонок*, — возразила та, как будто это меняло дело.

Амелии Ленд так и просилась на лоб татуировка «Меня никто не любит». Судя по наряду, она перестала покупать одежду лет двадцать назад, а тогда затаривалась исключительно в «Лоре Эшли». Джексону вспомнились старые фотографии торговки рыбой: грубые башмаки с шерстяными чулками, широкая вельветовая юбка в сборку, а на плечах шаль, в которую она зябко куталась, и неудивительно — в комнате было как в Балтике. У дома был свой собственный климат.

— Наш отец умер, — резко произнесла Амелия, — два дня назад.

— Да, — осторожно отозвался Джексон, — ваша сестра только что сказала. Примите мои соболезнования, — добавил он вскользь, поскольку ни та, ни другая явно особенно не скорбели.

Амелия нахмурилась:

— Я хочу сказать, что... — Она взглянула на сестру, ища помощи.

«Вечная проблема ученого люда, — подумал Джексон, — никогда не могут сказать то, что думают, и в половине случаев имеют в виду не то, что говорят».

— Давайте я попробую, — пришел он на выручку. — Ваш отец умер... — (Сестры энергично кивнули, будто от облегчения, что Джексон ухватил суть.) — Ваш отец умер, — продолжил он, — и вы начали разбирать вещи в старом семейном доме... — Он запнулся, потому что на их лицах отразилось сомнение. — Это старый *семейный* дом, так?

— Гм, да, — ответила Джулия. — Просто... — Она пожеглась. — Это звучит так *тепло*, понимаете? «Старый семейный дом».

— Ну, тогда давайте мы лишим эти три слова всякого эмоционального содержания и будем рассматривать их просто как два прилагательных с существительным. Старый. Семейный. Дом. Так или нет?

— Так, — нехотя отозвалась Джулия.

— Строго говоря, — произнесла Амелия, безотрывно глядя в кухонное окно, словно разговаривала с кем-то в саду, — не «семейный», лучше будет «родовой».

Джексон решил пропустить эту реплику мимо ушей.

— Значит, вы не были близки со своим стариком? — обратился он к Джулии.

— Нет, не были, — заявила Амелия, повернувшись и посмотрев на него в упор. — И мы нашли это в запечатом ящике у него в кабинете.

Снова эта голубая мышь. Голубой Мышонок.

— И что означает этот Голубой Мышонок? — подтолкнул ее Джексон.

Он надеялся, разгадка не в том, что их папаша был фетишистом, помешанным на мягких игрушках.

— Вы когда-нибудь слышали про Оливию Ленд? — спросила Джулия.

— Вроде что-то припоминаю, — ответил Джексон. Припоминал он очень смутно. — Родственница?

— Она была нашей сестрой, — сказала Амелия. — Исчезла тридцать четыре года назад. Ее похитили.

Похитили? О нет, только не инопланетяне, тогда день точно пройдет не зря. Джулия достала сигареты и предложила ему закурить. Она предлагала сигарету, но намекала на секс. Джексон почувствовал неодобрение ее сестры, но не был уверен, относилось оно к никотину или к сексу. Скорее всего, и к тому, и к другому. От сигареты Джексон отказался — он никогда не курил в присутствии клиентов, — но, когда закурила Джулия, сделал глубокий вдох.

— Ее похитили, — сказала Джулия, — из палатки в саду.

— Из палатки?

— Это было летом, — резко бросила Амелия. — Летом дети спят в палатках на свежем воздухе.

— Конечно, — мягко согласился Джексон.

Ему почему-то показалось, что вторым ребенком в той палатке была Амелия Ленд.

— Ей было всего три года, — продолжила Джулия. — Ее так и не нашли.

— Вы действительно ничего об этом не знаете? — удивилась Амелия. — Дело было громкое.

— Я родом не из этих мест, — ответил Джексон и подумал обо всех девочках, что пропали за эти тридцать четыре года.

Но, конечно же, для сестер Ленд пропала только одна. Он внезапно почувствовал себя очень несчастным и очень старым.

— Тогда стояла ужасная жара, — сказала Амелия, — засуха.

— Как сейчас?

— Да. Вы не собираетесь ничего записывать?

— А вам было бы спокойнее, если бы я записывал?

— Нет, — отрезала Амелия.

Беседа, казалось, зашла в тупик. Джексон посмотрел на Голубого Мышонка. На нем прямо читалось «улика». Детектив попробовал соединить все воедино.

— Значит, так, — начал он. — Это игрушка Оливии, и она была у вашей сестры, когда ее похитили? И вы снова увидели ее после смерти отца? И вы не позвонили в полицию?

Они обе нахмурились. Забавно, лица у сестер были совсем разные, а выражения на них — абсолютно одинаковые. Так вот что имеют в виду, когда говорят «неуловимое сходство».

— У вас замечательные дедуктивные способности, мистер Броуди, — сказала Джулия.

Было непонятно, подшучивает она над ним или просто льстит. У нее был хриловатый голос, как будто она вечно простужена. Джексона удивляло, что многие мужчины находят хрипотцу у женщин сексуальной, ведь такой голос похож на мужской. Может, это что-то гейское.

— Тогда полиция ее не нашла, — сказала Амелия, не обращая внимания на Джулию. — И теперь это будет им вовсе не интересно. Кроме того, может быть, лучше не вмешивать в это полицию.

— Тогда я вам зачем?

— Мистер Броуди, — очень нежно, *слишком* нежно проворковала Джулия. Они были как хороший и плохой полицейский. — Мистер Броуди, мы просто хотим узнать, почему Голубой Мышонок оказался у Виктора.

— У Виктора?

— У папы. Это как-то...

— Странно? — подсказан Джексон.

Джексон снял себе жилье подальше от кембурнского гетто. Небольшой домик в ряду других таких же домиков, на дороге, которая когда-то, вероятно, была проселочной. Возможно, это были фермерские коттеджи. Какой бы ферме они ни принадлежали, ее давным-давно застроили сплошными рядами викторианских домов для рабочего класса. Теперь даже те дома, что стыковались задними стенами и выходили парадной дверью прямо на улицу, стоили в этом районе целое состояние. Беднота перекочевала в пригороды типа Милтона и Черри-Хинтона, но сейчас даже

муниципальные застройки в тех местах были колонизированы интеллигенцией из среднего класса (такими как чета Спенсер), что наверняка бедняков изрядно бесило. Бедняки всегда были и всегда будут, но вот где же они теперь живут, Джексон не смог бы ответить.

Когда Джози бросила его ради внебрачных утех с Дэвидом Ластингемом, Джексон подумывал, не остаться ли ему жить в их семейном легионере. Этой мыслью он играл минут десять, после чего позвонил риелтору и выставил дом на продажу. Его половины вырученных денег на новый дом не хватало, поэтому он решил снять этот — последний по улице, довольно ветхий и с такими тонкими стенами, что слышно любое пуканье и мяуканье у соседей: Дешевая мебель и безликая атмосфера, как в домах, которые сдают отдыхающим на сезон, — но, как ни странно, это действовало на Джексона успокаивающе.

Уезжая из дома, который он делил с женой и дочерью, Джексон заглянул в каждую комнату — проверить, что там ничего не осталось, кроме их жизни, конечно. В ванной еще пахло ее духами — «L'Air du Temps», Джози пользовалась ими задолго до того, как он ее встретил. Теперь она душилась «Joy» от «Жана Пату», которые ей подарил Дэвид Ластингем; этот старомодный запах будто превращал ее в другую женщину, которой она, впрочем, стала и без того, Джози, которую он знал, слышать не хотела о том, что положено было уметь хорошей жене поколения ее матери. Она плохо готовила, и у нее не было корзинки для шитья, зато она делала в их игрушечном домике весь мелкий ремонт. Однажды она заявила ему, что, когда женщины узнают, что дюбель не такая уж и загадочная штука, они станут править миром. Джексон считал, что они и так уже всю правят, и опрометчиво поделился своими мыслями, что вылилось в напичканную статистикой лекцию о мировой тендерной политике: «Две трети объема работ в мире выполняют женщины, Джексон, но им принадлежит всего одна десятая мировой собственности. Ты считаешь, это нормально?» (Нет, он так не считал.) Теперь-то, конечно, она превратилась в хозяйку, в степфордскую жену,^[26] которая печет хлеб и ходит на курсы вязания. Вязания! В голове не укладывалось.

Переехав в свой съемный дом, он купил флакон «L'Air du Temps» и опрыскал ими крошечную ванную, но эффект все равно был не тот.

Амелия с Джулией дали ему фотографию, маленькую, квадратную, выцветшую цветную фотографию из других времен. На снимке была Оливия крупным планом, она улыбалась в камеру, показывая ровные зубки. Веснушчатый курносый нос, волосы заплетены в баранки, завязанные

ленточками в бело-зеленую клетку (правда, старая карточка давно пожелтела). На ней было платьице из такой же ткани, что и ленты, а сборочки на груди закрывал голубой мышонок, которого девчушка прижимала к себе. Джексон догадался, что она уговаривала голубого мышонка позировать перед камерой, почти слышал, как Оливия велит ему улыбаться, но наклеенные на мордочку куски черного трикотажа хранили все то же серьезное выражение, что и сейчас, правда, время лишило мышонка половинки глаза и одной ноздри.

Это была та самая фотография, что печатали в газетах. По дороге домой Джексон просмотрел картотеку с микрофильмами, бесконечные страницы о поисках Оливии Ленд. Сводки печатали несколько недель, и Амелия была права: до исчезновения Оливии главной новостью была жара. Джексон попытался вспомнить, что было тридцать четыре года назад. Ему тогда было одиннадцать. Стояла жара? Да кто ж его знает. Он не помнил тот год. Главное, что тогда ему еще не было двенадцати. Все предыдущие годы, до того как ему исполнилось двенадцать, слились в чистейшее, незапятнанное сияние. После двенадцати наступил мрак.

Он прослушал автоответчик. Одно сообщение от его дочери Марли — она жаловалась, что мать не пускает ее на концерт на открытом воздухе в Паркерс-Пис, и пусть Джексон, пожалуйста, пожалуйста, с ней поговорит? (Марли восемь, ни о каком концерте в парке не могло быть и речи.) Еще одно послание от Бинки Рейн насчет Фриски, и одно — от его секретарши Деборы Арнольд, устроившей ему разнос за то, что он не вернулся в офис. Она звонила из дому — на заднем фоне бубнили ее дети-подростки и орало Эм-ти-ви. Чтобы сообщить ему о том, что его искал какой-то Тео Уайр — «вроде он что-то там потерял», — Деборе пришлось перейти на крик. Тео Уайр... очень знакомо, но Джексон не мог вспомнить, кто это. Наверное, штарошть подступила.

Джексон взял из холодильника бутылку «Тайгера»,^[27] стянул ботинки («Магнум Стеле», других он не признавал), улегся на неудобный диван, дотянулся до проигрывателя (чем хороша тесная конура — все можно достать, не вставая с дивана) и поставил альбом Триши Йервуд^[28] девяносто пятого года «В думах о тебе», сейчас почему-то изъятый из продажи. Может, и мейнстрим, но поет она от этого не хуже. Триша понимает боль. Он открыл «Введение во французскую грамматику» и попытался сосредоточиться на правилах образования прошедшего времени с глаголом *etre* (хотя, когда он поселится во Франции, не будет ни прошлого, ни будущего, только настоящее), но получалось с трудом —

мешала пульсировавшая десна над больным зубом.

Джексон вздохнул, снял голубого мышонка с каминной полки, прижал к плечу и похлопал по маленькой мягкой спинке — так же он утешал Марли, когда та была совсем крохой. Голубой мышонок был холодным на ощупь, словно долгое время провел в темноте. Джексон ни минуты не надеялся отыскать маленькую девочку с клетчатыми бантами в косичках.

Джексон закрыл глаза и тут же открыл снова, потому что вдруг вспомнил, кто такой Тео Уайр. Он застонал. Он не хотел вспоминать Тео Уайра. Не хотел иметь с ним никаких дел.

Триша пела «Автобус до Сент-Клауда». Иногда ему казалось, что весь мир можно представить в виде бухгалтерского баланса: потерянное — слева, найденное справа. К сожалению, баланс никогда не сходился. Амелия с Джулией нашли, Тео Уайр потерял. Как проста была бы жизнь, если бы пропажи совпадали с находками.

Виктор умер, как и хотел, дома, в собственной постели — от старости. Ему было восемьдесят четыре года, и, сколько они себя помнили, он всегда настаивал, чтобы его похоронили в гробу, а не кремировали. Тридцать четыре года назад, когда их сестра Аннабель умерла в младенчестве, Виктор купил на местном кладбище «семейный участок» на трех человек. Амелия с Джулией никогда не задумывались о такой странной арифметике до смерти самого Виктора, когда участок был уже на две трети занят (их мать последовала за Аннабель с неожиданной поспешностью), то есть место оставалось только для Виктора, но не для других его детей.

Джулия заявила, что это типичное проявление наплевательского к ним отношения, но Амелия возразила, что отец, скорее всего, купил такой участок намеренно, чтобы ему не пришлось коротать загробную жизнь в старой компании, на случай если окажется, что она все-таки существует. На самом деле Амелия ничего такого не думала — Виктор был атеистом до мозга костей, упрямым и грубияном, и не в его характере было вдруг начать прикрывать тылы, — просто она так привыкла возражать сестре, что сделала это на автомате. В спорах Джулия проявляла хватку (и голосистость) терьера, поэтому они вечно препирались на пустом месте, как пара давно потерявших интерес к тяжбе адвокатов. Иногда им казалось, что они вернулись в свое бурное детство и в любой момент начнут исподтишка щипаться, таскать друг друга за волосы и обзывать, как в те далекие годы.

Их вызвали. «Прямо к смертному одру короля», — фыркнула Джулия. А Амелия сказала: «Ты сейчас „Короля Лира“ имеешь в виду?» А Джулия сказала: «Что, если и так?» И Амелия сказала: «Ты можешь судить о жизни, только если видела ее на сцене». А Джулия сказала: «Иди ты к черту, ты сама вспомнила про Лира». И они продолжили в том же духе, хотя поезд еще не успел отойти от вокзала Кингз-Кросс. Виктор умер через несколько часов после их приезда. «Черт, пронесло», — заявила Джулия, поскольку у сестер было подозрение, что Виктор пытается заманить их в семейное гнездо, чтобы они ухаживали за ним. Им обоим было ненавистно слово «дом» — прошел не один десяток лет, с тех пор как они его покинули, и все же они его так называли.

Амелия сказала: «Извини», но Джулия пялилась в окно на проносившиеся мимо лондонские пригороды и не раскрывала рта до тех пор, пока не показались наливающиеся летние поля Восточной Англии. «Лир не умирал, он отрекался от престола», — изрекла она, и Амелия сказала: «Иногда это одно и то же» — и обрадовалась, что они помирились.

Они сидели по обе стороны кровати, ожидая, когда он умрет. Виктор лежал на постели, как выброшенная на берег рыба, в комнате, которая когда-то была супружеской спальней и сохранила преувеличенно женственный интерьер, любимый их матерью. Готовилась ли Розмари в этот самый момент встретить Виктора в вязкой земле семейного участка? Амелия представила, как родители сжимают тела друг друга в холодном объятии, и ей стало жаль свою бедную мать, которая, наверное, думала, что сбежала от Виктора навсегда.

Кроме того, заметила Амелия, как ни старалась она удержаться, продолжая спор, никто из них не стремился быть рядом с отцом при жизни, так зачем им близость после смерти? Джулия ответила, что это не важно, что «дело в принципе», а Амелия сказала: «С каких это пор у тебя появились принципы?» — и разговор снова пошел по наклонной, и это они еще не начинали обсуждать самую муторную тему — похороны, относительно которых Виктор не оставил никаких указаний.

Когда они перестали называть его папой и перешли на Виктора? Джулия иногда обращаюсь к нему «папа», особенно когда пытаюсь улестить, но Амелии нравилось «Виктор», это помогаю держать дистанцию. И пожалуй, придавало ему человечности.

Виктор зарос белой щетиной и из-за этой бороды и старческой худобы стал непохож на самого себя. Только руки не усохли, по-прежнему были огромные — костлявые лопатищи на запястьях-черенках. Внезапно он что-то забормотал, и Джулия в панике взглянула через кровать на Амелию. Джулия была готова к тому, что он умирает, но не к тому, что он будет не в себе. «Папа, тебе что-нибудь нужно?» — громко спросила она, и Виктор замотал головой, точно разгоняя мух, но услышал он ее или нет, кто знает.

Врач Виктора сказал по телефону, что участковые медсестры приходят к нему трижды в день. «Заглядывают», как он выразился, что создавало впечатление веселой непринужденности, но ни Амелия, ни Джулия не предполагали, что так можно описать смерть Виктора, поскольку к его жизни подобное определение было точно неприменимо. Они думали, что медсестры останутся, но не успели они войти, как одна из них заявила: «Ну, мы пойдем», а другая ободряюще крикнула Виктору через плечо:

«Они здесь!» — словно Виктор с нетерпением ждал приезда дочерей, что, конечно же, не соответствовало действительности, а единственным, кто им обрадовался, был Сэмми, старый золотистый ретривер, сделавший галантную попытку их поприветствовать, несмотря на артрит, неловко виляя задом и клацая когтями по скользкому паркету в коридоре.

По словам врача, у Виктора случился обширный инсульт. За месяц до того другой врач говорил им, что Виктор вполне здоров и что у него «сердце буйвола», просто годы берут свое. Амелия сочла, что «сердце буйвола» не особенно выжатное выражение, разве не правильнее было бы сказать «сердце льва» или «здоров как буйвол»? Что вообще такое буйвол? Просто бык, корова? В этом и во многом другом Амелия больше не была уверена (или, может, она никогда всего этого и не знала). Скоро ей будет уже не за сорок, а под пятьдесят; она убеждала себя, что чувствует, как каждый день в ее мозгу разрушаются нейронные связи — объединяются, образуют рефлекторную дугу и погибают, — лишая ее доступа к информации. До самого конца у Виктора в голове все было на своих местах, как в хорошей библиотеке, в то время как Амелии ее разум представлялся чуланом под лестницей, где допотопные хоккейные клюшки соседствуют со сломанными пылесосами и коробками старых елочных игрушек, и, за чем бы она туда ни полезла — за пятиамперным предохранителем, жестяной с рыжим кремом для обуви или отверткой «Филипс», — шансы найти нужную вещь стремились к нулю.

Может, разум Виктора и оставался в порядке, но его дом — отнюдь нет. Дети разъехались, дом медленно, но верно ветшал, пока не стал напоминать заброшенную лачугу вроде тех, куда вызывают специалистов по санобработке, когда какой-нибудь несчастный, незаметно для всех умерев, пролежит месяц в луже собственной сгнившей плоти.

Куда ни посмотри, везде были книги, все до единой покрытые плесенью и бурыми пятнами, и ни одну не хотелось взять в руки. Виктор уже давно забросил математику, не следил за новыми теориями, не интересовался журналами и публикациями. В детстве Розмари говорила им, что Виктор «великий» математик (или это сам Виктор так говорил), но если он и пользовался каким-то авторитетом в академических кругах, то много лет назад растерял его и оставался не более чем заурядным факультетским тружеником. Его специализацией была теория вероятности. Амелии этот раздел математики категорически не давался (он вечно пытался объяснить ей, что такое вероятность, подбрасывая монеты), но ей виделась ирония в том, что человек, зарабатывавший на жизнь изучением риска, никогда в жизни не рисковал.

— Милли? Ты в порядке?

— Что такое буйвол?

— Типа как бык. — Джулия пожала плечами. — Я не знаю. А что?

В детстве они ели бычье сердце. Розмари, не сварившая до замужества и яйца, выучилась готовить грубые, старомодные блюда, которые Виктор одобрял за питательность и дешевизну. Интернатская еда — он на такой вырос. Амелию затошнило от одной мысли о рагу с печенью и беконом и запеканках с говядиной и свиными почками. У нее перед глазами до сих пор было окровавленное сердце на кухонном столе, темное, блестящее, с прожилками жира, как будто только что переставшее биться, и мать, изучавшая его с загадочным лицом и огромным ножом в руке.

— Я помню суп из бычьих хвостов, — сказала Джулия с гримасой отвращения. — Он правда был из настоящих хвостов?

Розмари ушла из жизни очень легко. Она не выказала никакого желания бороться за нее, когда выяснилось, что у малютки, которую она вынашивала в год исчезновения Оливии, был близнец, но не долгожданный сын Виктора, а подкидыш-опухоль, которая беспрепятственно росла и разбухала внутри ее. К тому времени как врачи распознали симптомы не новой жизни, но скорой смерти, было уже слишком поздно. Аннабель прожила всего несколько часов, а ее раковый двойник был удален, но через полгода не стало и самой Розмари.

Виктор как будто захрапел, задышал тяжело, с присвистом, словно трахея вот-вот сожмется и слипнется. Через равные интервалы следовал ужасающий по силе вдох, когда срабатывал рефлекс и дыхание восстанавливалось. Амелия с Джулией озабоченно переглянулись. «Это предсмертный хрип?» — прошептала Джулия, но Амелия шикнула на нее. В конце концов, невежливо обсуждать механизм умирания в присутствии умирающего. «Он же ничего не слышит», — «Не в этом дело».

Через какое-то время хрипы стихли, и Виктор по всем признакам мирно спал. Амелия заварила чай сперва хорошенько отмыв чашки, — и они выпили его, стоя у окна, глядя в темноту сада.

«Что насчет похорон? — прошептала Джулия. — Он, наверно, не хотел бы ничего такого, христианского?» Если не считать пары вялых попыток Розмари отправить их в воскресную школу, они выросли без религии. Будучи математиком, Виктор считал своей обязанностью привить дочерям скептицизм, особенно потому, что считал их легкомысленными, кроме Сильвии конечно же, которая всегда выезжала на зубрежке формул. После того как она их покинула, Виктор превратил «зубрилу» в «одаренного

ребенка», а потом и в «маленького гения», то есть чем дольше ее не было, тем умнее она становилась, тогда как Амелия с Джулией, по его убеждению, только тупели. Было время, когда Амелии случалось с ним спорить, хотя на защиту гуманитарных наук чаще бросалась Джулия — Амелии было трудно противостоять грубости Виктора. Может, он был нрав, думала она теперь, они ведь и правда не семи пядей во лбу.

«Ну, что думаешь? — спросила Джулия. — Он ведь оставил нам дом? А денег оставил, как думаешь? Ох, вот бы». Виктор никогда не обсуждал с ними свое завещание, никогда не говорил с ними о деньгах. Создавалось впечатление, что у него ни гроша за душой, но, с другой стороны, он всегда был скупцом. Джулия снова принялась ныть по поводу семейного участка, и Амелия сказала: «Знаешь, быстрее будет его кремировать. По-моему, разрешение на похороны получать дольше».

«Но тогда мы будем прокляты до конца жизни, — сказала Джулия, — как дочери в древнегреческой трагедии, не справившие обрядов над телом отца-царя». А Амелия сказала: «Мы не в пьесе, Джулия, забудь про Еврипида», а Джулия возразила: «Нет, правда, Милли, плохо уже то, что мы его не любили», а Амелия сказала: «Мне плевать» — и нахмурилась, осознав, что говорит совсем как ее студенты.

Джулия заявила, что хочет вздремнуть, и примостилась, опустив голову на руки, на несвежем покрывале, словно таким странным образом оказывала почтение умирающему отцу. Огромные руки Виктора были благочестиво сложены на одеяле, символизируя готовность к смерти. От него потребовалось бы лишь малейшее усилие, чтобы воздеть длань и дать Джулии последнее благословение. Прикасался ли он к ним когда-нибудь по-доброму? Целовал? Обнимал? Трепал ли ласково по щеке? Амелия не могла вспомнить. «Разбуди меня, если что-нибудь случится, — пробормотала Джулия, — если он умрет или еще что». Джулия по-прежнему умела спать без задних ног и через считанные минуты вырубилась, как и Виктор. Амелия посмотрела на темные кудри сестры, и ее вдруг захлестнула нежность, больше походившая на горечь.

В последнее время у Джулии было мало работы. Раньше она играла постоянно: в провинциальном театре, в новаторских постановках в крошечных лондонских студиях и в эпизодических ролях на телевидении — была жертвами из низов общества в «Фараонах»^[29] и смертельно больными в «Несчастном случае»^[30] (за последние десять лет ей пришлось умереть дважды), но теперь, похоже, ее перестали звать на пробы. В прошлом году она снялась в обучающем, фильме для дочернего

предприятия нефтяной компании, и Амелия возмутилась, заявив, что ей бы «следовало подумать о своих убеждениях», на что Джулия ответила, что легко позволить себе «роскошь иметь убеждения, когда в холодильнике есть еда», а Амелия парировала: «Не надо драм, когда это ты голодала?» — но теперь ей было стыдно, потому что Джулия так радовалась новой работе, а она ей все испортила.

Амелия видела практически все роли Джулии и, хотя всегда говорила сестре, что она «прекрасна», как того требовал театральный протокол, часто ловила себя на мысли, что на самом деле как актриса Джулия не представляет собой ничего особенного. Свою лучшую роль, по мнению Амелии, Джулия сыграла в Бристолe. Давали что-то общеизвестное, возможно «Золушку». Джулия была черным пуделем, подстриженным под льва, и говорила с французским прононсом. Собачий костюм сидел на низенькой и грудастой Джулии как влитой, и ей удалось изобразить специфическое парижское высокомерие — зрители были в восторге. Парик ей не понадобился, она собрала свои буйные кудри в пучок на макушке и повязала бантом. Амелия никогда не представляла сестру пуделем — только джек-расселом. Ей вдруг стало очень грустно оттого, что лучшей ролью за всю карьеру Джулии была собака. И что ей не нужен парик, чтобы сыграть пуделя.

Он умер? Он вполне мог сойти за мертвеца и во сне — лежал на спине с закрытыми глазами, приоткрыв клювоподобный рот, — но никаких признаков затрудненного дыхания больше не наблюдалось, а кожа приобрела оттенок сырого цемента, который внезапно вызвал у Амелии в памяти покойную Розмари на больничной койке, — это было настолько неожиданно, что она секунд пять не могла шелохнуться. Видно, она тоже задремала. Недостойные царские дочери, не сумели даже подежурить у смертного одра.

Сэмми неловко поднялся с коврика у кровати и подковылял к Амелии, вопросительно ткнувшись сухим носом ей в руку. «Ах ты, бедолага», — сказала Амелия псу. Она легонько потрясла Джулию и сообщила, что Виктор умер. «Откуда ты знаешь?» — сонно протянула Джулия. На щеке у нее багровел отпечаток от часов. «Потому что он не дышит», — ответила Амелия.

Со смертью Виктора настроение у них стало чуть ли не праздничное, и, хотя было только шесть утра, Джулия, словно исполняя некий посмертный ритуал, щедро плеснула им обеим бренди. Амелия думала, что

выпивка не пойдет, но, к собственному удивлению, осушила стакан с удовольствием. В восемь, уже изрядно набравшись, они отправились в местный «Спар» за продуктами и кидали в корзинку все то, что Амелия при обычных обстоятельствах никогда не покупала: бекон, колбасу, обсыпанные мукой пшеничные булочки, шоколад и джин, — хихикая, как школьницы-пипетки, которыми они были так давно, что уже и забыли.

Вернувшись в Викторов дом, они сделали сэндвичи с беконом и яичницей; Джулия умяла три, Амелия ограничилась одним. Едва покончив с едой, Джулия закурила.

— Бога ради, — поморщилась Амелия, отгоняя дым от лица, — тебе непременно надо что-то в рот запихивать, иначе не можешь!

Джулия курила театрально, устраивая целое представление, — такая у нее была манера, что бы она ни делала. Подростком она обычно практиковалась перед зеркалом (по воспоминаниям Амелии, многое в жизни юной Джулии репетировалось перед зеркалом). Джулия поднесла руку с сигаретой ко рту, и в утреннем свете блеснула тонкая серебристая полоска шрама в том месте, где был пришит отрезанный мизинец.

Почему в детстве они постоянно калечились? Был ли это способ привлечь внимание Розмари (или хоть кого-нибудь), выделиться из месива Амелия-Джулия-Сильвня? Джулия с Амелией так и остались неуклюжими, всегда в синяках от столкновений с мебелью и спотыканий о ковры. Только в прошлом году Амелия уронила себе на ногу чугунную сковородку и прищемила руку дверцей машины, а Джулия схлопотала в такси травму шеи и растянула лодыжку, упав со стремянки. Амелия не видела особого смысла привлекать внимание, когда тебе уже за сорок, особенно если рядом никого нет.

— Помнишь, как Сильвия падала в обморок? — спросила она Джулию.

— Нет. С трудом.

Всякий раз, когда она вспоминала, что Виктор умер, у Амелии кружилась голова. Чувство было такое, будто с плеч у нее сняли тяжелый камень и теперь она может взмыть вверх, словно летучий змей или воздушный шар. Труп так и лежал под одеялом наверху, в спальне, и хотя они знали, что нужно что-то сделать, куда-то позвонить, принять меры, но их одолела странная лень.

Более того, они только на следующий день отправились в монастырь нищенствующих кларисок, где после бесконечного ожидания поговорили с сестрой Марией Лукой, — к этому нелепому имени даже спустя тридцать с лишним лет ни одна из них так и не привыкла. Когда они сказали, что

Виктор умер, Сильвия изумленно переспросила: «Папочка? Умер?» — и, в кои-то веки позабыв о своей святой безмятежности, расхохоталась.

Сильвия состояла в закрытом ордене и была полностью отгорожена от нормальной жизни, так что им даже в голову не пришло советоваться с ней насчет похорон. К тому же они уже все равно решили, что с ним делать. После того как сотрудник похоронного бюро забрал-таки тело Виктора, Джулия достала джин и они продолжили напиваться в стельку. Амелия не помнила, когда последний раз была такой пьяной, — скорее всего, никогда. Джин, догнавший утренний бренди, довел их почти до истерики, и в разгаре этой затянувшейся алкогольной оргии они подбросили монетку, чтобы решить судьбу Виктора.

Джулия, как обычно в образе, сидела положив ногу на ногу и прижимала руки к паху со словами: «Боже, прекрати, я сейчас уписаюсь!» — а Амелия выбежала из дому и опорожнила желудок на лужайку. Близился рассвет, и влажный ночной воздух отрезвил ее.

Амелия загадала орла, но выпала решка (вероятность один к двум, спасибо, папа), и Джулия заявила, что «старый говнюк отправится в печь».

Амелия проснулась рано, слишком рано. Она бы не имела ничего против, если бы была дома — у себя дома, в Оксфорде, — но здесь бродить в одиночку ей не хотелось, а Джулия проснется еще бог знает когда. Иногда Амелия думала, что у ее сестры кошачьи гены. Джулия издевалась над «провинциальным режимом дня», которого придерживалась Амелия: она с самого приезда не ложилась в постель раньше двух ночи и вылезала из нее к полудню с затуманенным взором и хриплыми мольбами о кофе («Пусечка, пожалуйста»), как если бы провела ночь в героическом походе, подорвавшем ее силы и дух, а не смотрела старые фильмы по кабельному, развалившись на диване с бутылкой красного.

Их несказанно удивило, что Виктор, который, сколько они себя помнили, никогда не смотрел телевизор, оказался не только обладателем огромного широкоэкранныка, но и подписчиком кабельного телевидения, причем у него был расширенный пакет — не только спорт и фильмы, но и каналы для взрослых. Амелию шокировало не столько само «взрослое» кино (хотя оно было вполне отвратительным), сколько мысль об отце: как он сидел здесь ночи напролет в своем старом кресле и смотрел «Горячих девчонок» и прочую мерзость. Ей стало легче, оттого что Джулия — обычно излишне терпимая к недостаткам мужского пола — ужаснулась не меньше. Первым делом они избавились от кресла.

Сама Амелия смотрела только новости и документальные фильмы и

иногда «Антикварные гастролы»^[31] по воскресеньям и была поражена объемами дерьма, доступного зрителю двадцать четыре часа в сутки. Неужели кому-то это помогает наполнить жизнь содержанием? Неужели люди действительно думают, что подобный бред и есть высшая точка эволюции? «Ой, да брось, Милли, — (предсказуемо) отмахнулась Джулия, — какая разница, кто что делает? В конце концов мы все умрем». — «Это точно», — согласилась Амелия.

Как только они избавятся от Виктора и его пожиток, можно будет выставить дом на продажу и покончить с этим. Или, по крайней мере, подготовить к тому, чтобы выставить на продажу, — ибо адвокат Виктора с диккенсовской мрачностью в голосе процедил, что надо «подтвердить завещание». Тем не менее завещание было абсолютно ясным: все делилось строго пополам, Сильвии не доставалось ничего, потому что (видимо) она категорически от своей доли отказалась. «Как Корделия», — сказала Джулия, и Амелия возразила: «Ну, не совсем как Корделия», но странное дело, тема не получила развития. Со смертью Виктора, два дня назад, они стали меньше спорить. Пока они разгребали его одежду (годную разве что для бродяги) и выбрасывали старые алюминиевые сковородки и книги по математике, распадавшиеся от одного прикосновения, между ними зародилось новое чувство товарищества. Почему-то все в доме было какое-то неприятное, и на кухне и в ванной Амелия надевала резиновые перчатки и опрыскивала все антибактериальным спреем. «Ты ведешь себя так, как будто у него была чума», — неуверенно заметила Джулия, успевшая прокипятить все простыни и полотенца, которыми они пользовались.

Несмотря на июльскую жару, в доме Виктора был свой сырой, прохладный климат, независимый от внешнего мира. Каждый вечер они разводили огонь и сидели у камина в гостиной — с таким же благоговением, должно быть, смотрели на костер доисторические люди, разве что у них не было полного пакета кабельных каналов для развлечения. Когда днем они выползали в задушенный сорняками сад, чтобы глотнуть свежего воздуха, то каждый раз удивлялись палящему зноем белому средиземноморскому солнцу.

Амелия спала в старой комнате Сильвии, где та спала, пока не нашла свое абсурдное, необъяснимое призвание. Конечно, к тому времени она уже давно обратилась в католичество, чем довела Виктора до инфаркта, но, когда она отказалась от места в Гёртоне,^[32] где должна была изучать

математику, и собралась в монастырь, все думали, что Виктор ее таки убьет. Джулия и Амелия, тогда еще школьницы, считали, что отказ от мира и вступление в закрытый орден — излишне драматический способ убежать от Виктора. (Неужели его и правда завтра кремируют, обратят в прах? Как странно, что можно сотворить такое с человеческим существом, — достаточно лишь получить разрешение. Просто избавиться от кого-то, как от мусора.)

Сильвии не пришлось разбираться с последствиями отцовской смерти. Быть Христовой невестой — шикарный способ уклонения. Джулия обожала говорить о том, что ее сестра — монахиня, потому что у окружающих челюсти отвисали («Твоя сестра?»), Амелия же стыдилась этого. Господь постоянно беседовал с Сильвией, но она никогда не выдавала содержания этих бесед, только улыбалась этой своей благочестивой улыбкой (загадочной и выводящей из себя). Можно подумать, они с Богом были на дружеской ноге, обсуждали экзистенциальную философию за бутылкой дешевого вина в углу старого паба на набережной. Сильвия болтала с Ним, сколько Амелия себя помнила. Она правда думала, что Он с ней разговаривает? Все-таки она правда была немного того? По меньшей мере, истеричкой. Слышала голоса, как Жанна д'Арк. Кстати, с Жанной д'Арк она тоже разговаривала, нет? Еще до смерти Розмари и исчезновения Оливии. Кто-нибудь хоть раз допускал возможность того, что у Сильвии шизофрения? Заговори Бог с Амелией, она решила бы, что сошла с ума. М-да, жаль, что в свое время никто не обратил внимания на чудное поведение Сильвии.

Сэмми, растянувшийся в ногах тесной односпальной кровати Амелии, заснул во сне. Он перебирал лапами, и его хвост возбужденно стучал по стеганому одеялу, — наверное, пес гонялся за кроликами, как в дни своей молодости. Амелия не стала бы отрывать его от такого захватывающего сна, но вдруг подумала, что, может быть, не он гонится, а гонятся за ним и что скулит он от страха, а не от азарта (удивительно, как могут быть похожи противоположные эмоции), и она села в постели и гладила песий бочок, пока сон его не стал спокойнее. На старости лет ретривер сдулся, как воздушный шарик. На памяти Амелии Сэмми был единственным, с кем Виктор обращался как с равным.

Придется забрать Сэмми с собой в Оксфорд. Джулия, конечно, скажет, что хочет взять его себе, но куда ей собаку в Лондоне. А у Амелии в Оксфорде есть сад. Ей принадлежал второй этаж маленького, примыкающего к другому дому особняка эдвардианской эпохи — для одиночки жилье в самый раз; сад она делила с соседом снизу, тихим

преподавателем геометрии из Нью-колледжа, по имени Филип, который отличался полным отсутствием сексуального интереса к обоим полам, но имел собаку (всего лишь шумного пекинеса) и, если что-то в доме ломалось, мог починить, а потому представлял собой идеального соседа. (Или серийного убийцу, по словам Джулии.) К облегчению Амелии, к саду он был равнодушен и предоставлял ей мульчировать, копать и сажать, сколько ее душе угодно. Амелия верила в садоводство, как Сильвия — в Бога. Подобно Сильвии, она приняла веру. Она и не подозревала, что в ней дремлет садовник, пока ей не исполнилось тридцать. В ноябре она посадила розу «королева датская», а в июне наблюдала, как один за другим раскрываются бутоны. Это было откровением: ты сажаешь что-нибудь — и оно растет. Когда Амелия попыталась объяснить это чудо Джулии, та выдала: «Да ла-а-адно?» — как подросток-дебил.

Амелия провела в Кембридже всего несколько дней, но ее другая жизнь — настоящая — уже казалась запредельно далекой, и ей приходилось иногда напоминать себе, что эта жизнь существует. Часть ее хотела бы навсегда остаться здесь и продолжать брести, спотыкаясь, к ворчливой старости за компанию с Джулией. Возможно, вместе им удастся отбиться от всех жизненных страхов и одиночества. И она занялась бы садом Виктора, за которым не ухаживали много лет. Она бы с удовольствием пролежала так целый день, планируя клумбы (дельфиниум, колокольчики, кореопсис, вероника) и оформляя лужайку (водопад? или что-то в японском стиле?), но вместо этого нехотя вылезла из постели и, сопровождаемая преданным Сэмми, спустилась в холодную кухню, где наполнила чайник и с грохотом водрузила его на плиту, демонстрируя свое раздражение тем, что Джулия до сих пор спит.

Амелия была в столовой, укладывала в коробки бесконечный строй посуды и декоративной дребедени. Джулия — в кабинете, как и предполагалось. Она пропадала там с тех пор, как они принялись выбрасывать Викторovy пожитки, сказав (с традиционной мелодрамой в голосе), что, возможно, на ней лежит заклятье и ей придется остаться там навеки. Сырая, душная берлога Виктора, его персональный карцер, до самого потолка была завалена пыльными бумагами, подшивками и папками. Костер, ждущий спички. Они сорвали шторы, и Джулия заявила: «Да будет свет!» — и Амелия добавила: «Вообще-то, довольно милая комната».

Джулия так страдала от пыли в доме, что вдобавок к лекарствам (которые она поела горстями, как конфеты) теперь носила маску и

защитные очки из «Умелых рук». Ее грудной кашель был слышен за полмили.

Когда к полудню Джулия не спустилась за едой, Амелия забеспокоилась и решила пойти взглянуть, как дела. Джулия стояла, привалившись к отцовскому столу, вид у нее был встревоженный.

— В чем дело? — спросила Амелия.

Джулия показала на ящик в столе:

— Я сломала замок.

— Да и что с того? — сказала Амелия. — Мы же все вещи должны перебрать. Формально это все принадлежит нам.

— Я не о том. Я кое-что нашла.

Джулия открыла ящик и достала оттуда какой-то предмет, осторожно, точно археологическую находку, которая может рассыпаться в пыль. И вручила предмет Амелии. Та на секунду пришла в замешательство, а потом вдруг качнулась вперед, точно вошла в дверь, ведущую в пустоту. И, падая, она думала только о Голубом Мышонке Оливии, зажатом в ее руке.

— Он тебе нравится.

— Нет, не нравится.

Они вместе готовили ужин. Амелия варила яйца-пашот, а Джулия разогревала в сотейнике фасоль из банки. Для обеих это был предел кулинарных способностей.

— Еще как нравится, — повторила Джулия. — Поэтому ты так враждебно к нему настроена.

— Я ко всем враждебно настроена. — Амелия почувствовала, что краснеет, и сосредоточилась на хлебе в тостере, будто без ее повелевающего взгляда он бы не выскочил. — Тебе самой он нравится, — буркнула она.

— Конечно. У мистера Броуди есть шарм. И зубы свои собственные, и он еще даже не начал лысеть. Я беру его себе.

— Почему это?

— А почему нет? — возмутилась Джулия. — У тебя ведь уже есть парень. Генри.

Амелия подумала, что «есть парень» применительно к сорокапятилетней женщине звучит нелепо. Нелепо применительно к ней.

Какая досада, что Джулия не повстречалась с Джексоном Броуди, когда на ней были очки и маска, тогда он не нашел бы ее такой уж привлекательной. А он нашел ее привлекательной, в этом не было сомнений. С другой стороны, есть мужчины, которым нравится все такое

маски, путы и бог знает еще что. (Латекс! Ужас.)

— Ой, ты такая ханжа, Милли. Вам с Генри нужно попробовать что-нибудь повеселей. Добавить перцу в отношения. Ты так долго не могла найти себе парня, обидно будет потерять его из-за того, что тебе дается только миссионерская позиция.

Амелия намазала тосты маслом и положила на тарелки. Джулия выложила сверху фасоль. Амелии нравилось заниматься домашним хозяйством, пусть и нехитрым, вместе с Джулией. Она жила отдельно со второго курса — долго, вот уже двадцать с лишним лет. Она не стремилась жить в одиночестве, просто никто не хотел жить с ней. Нельзя привыкать к Джулии. Нельзя привыкать просыпаться в доме, где кто-то знает ее — вдоль и поперек.

— Наручники, — мечтательно продолжала Джулия, словно обсуждая модные в новом сезоне аксессуары, — и что-нибудь кожаное или плетка.

— Генри не лошадь, — раздраженно бросила Амелия.

Интересно, аксессуары до сих пор подбирают по сезону? Во времена их матери так и было. Летом Розмари носила белые туфли с белой сумочкой. И соломенную шляпку. Зимой — замшевые сапоги на молнии и — или она уже придумывает? — шотландскую шерстяную шапочку с помпоном. Жаль, что она не обращала особого внимания на Розмари, пока та была жива.

— Простой, скромный бондаж — в этом нет ничего плохого, — заявила Джулия. — Думаю, Генри понравится. Мужчины любят пошалить. — Последнее слово она произнесла с особым вкусом.

Однажды Амелия, совершенно ненамеренно, зашла вместе с Джулией в секс-шоп в Сохо. Магазин был дорогой, товары только для женщин, символ триумфа феминизма, о да, но на самом деле просто склад порнографической дряни. Амелия последовала за Джулией, рассчитывая, что там продаются средства для ванны, и была шокирована, когда та взяла в руки какую-то штуквину, похожую на розовый конский хвост, и восхищенно объявила: «Ой, ты только посмотри, затычка для попы. Какая прелесть!» Порой Амелия думала, что женщинам жилось бы куда лучше, занимайся они штопкой, шитьем и выпечкой хлеба. Не то чтобы она сама умела что-нибудь из этого.

— Аксессуары до сих пор подбирают по сезону?

— Да, конечно, — уверенно подтвердила Джулия, а потом добавила с сомнением: — Разве нет? Знаешь, Милли, тебе очень повезло, что у тебя есть постоянный парень.

— Почему? Потому что я непривлекательная?

— Вот же ты Милли-Дебилли!

Так ее называла Сильвия, когда они были детьми. Сильвия всегда всех высмеивала. Она могла быть очень жестокой.

— В твоём возрасте, — сказала Джулия (ну почему она никак не заткнется?), — женщины обычно или сами по себе, или маются в браке.

Амелия вывалила яйца-пашот поверх фасоли.

— В нашем возрасте, — поправила она сестру. — И оставь этот снисходительный тон. «Постоянный парень» и «Джулия» в одном предложении еще никогда не встречались. Если для тебя в этом нет ничего хорошего, почему это должно быть хорошо для меня?

— Все-таки есть яйца — неправильно. Глотаешь новую жизнь, уничтожаешь ее в зародыше. Отправляешь во тьму желудка.

Джулия изобразила великую обиду:

— Вовсе нет, я имею в виду, что твой Генри вроде то, что надо, тебе повезло, что ты нашла того, кто тебе подходит. Если бы я нашла того, кто подходит мне, я бы остепенилась, можешь мне поверить.

— Не верю.

Амелия посмотрела на яйца, напоминавшие мутные глаза желтушного больного, и подумала о собственных яйцеклетках — их всего-то и осталось с горстку, старых и сморщенных, как заплесневелые сухофрукты, а когда-то они, должно быть, рвались к свету...

— Брось, Милли, еда стынет. Милли?

Амелия бросилась вон из комнаты и кое-как взбежала по лестнице в ванную, где ее вырвало. Унитаз они отскребли и обработали хлоркой, но на нем все равно оставались пятна, въевшиеся за годы, что Виктор не брал в руки ершик. При одной мысли об отце ее скрутило снова.

— Милли, ты как там? — донесся снизу голос Джулии.

Амелия вышла из ванной. И остановилась у порога спальни Оливии. В ней все было как прежде: голая кровать, маленький платяной шкаф и комод, откуда убрали всю одежду. Все прошлое сосредоточилось в этой маленькой комнатке. Если в доме и есть привидение, подумалось Амелии, то это не Оливия, это она сама, та Амелия, которой она стала бы, должна была стать, пока их семья не развалилась на части.

Амелия все стояла в обветшалой спальне Оливии, и вдруг ее постигло откровение — иначе она не смогла бы это описать. Наверное, так чувствуют себя те, у кого бывают мистические видения, подумала она, те, кто, как Сильвия, считают, что слышат глас Божий или что на них снисходит благодать (хотя она знала, что на самом деле это свидетельствует о нестабильности височной доли). Амелия просто знала — и это знание

окасило ее теплой волной, — что Оливия возвращается. Пусть она возвращается всего лишь тенью и прахом, но она возвращается. И кто-то должен остаться здесь и встретить ее.

— Милли?

Каждый год он проходил по две мили до конторы в Парксайде и обратно. Одно и то же паломничество вот уже десять лет подряд. Эти в общей сложности четыре мили с каждым годом давались ему все труднее, потому что он все больше набирал вес, но ни один доктор уже не мог его напугать.

Когда он добрался до Парксайда, его совсем одолела одышка — пришлось немного постоять на тротуаре, прежде чем покорить лестницу. Он отдыхал, уперев руки в бедра, вдыхая и выдыхая медленно и четко, словно атлет после тяжелого забега. Прохожие украдкой (и не очень) бросали на него взгляды, выражавшие разную степень отвращения, как будто силились представить, что за ужасный недостаток характера мог позволить человеку так растолстеть.

За прошедшие десять лет он только трижды был внутри здания. Остальные семь раз просто стоял на тротуаре, незримо выражая почтение.

Дэвид Холройд тогда не умер. Когда приехала «скорая», он был еще жив, и его отвезли в больницу, где зашили и накачали кровью нескольких незнакомцев. Теперь он работал по три дня в неделю, а в остальное время ухаживал за садом у своего дома в сельском Норфолке.

Переговорную выкрасили заново, поверх несмываемого кровавого пятна настелили новый ковер, но никто из бывших в тот день в этой комнате не хотел снова заходить туда, и не прошло и года, как «Холройд, Уайр и Стэнтон» переехали в уродливое офисное здание рядом с Графтон-центром постройки шестидесятых годов, перевоплотившись в просто «Холройд и Стэнтон», потому что после смерти Лоры Тео ушел из фирмы. На свое довольно скромное существование ему хватало дивидендов по акциям и облигациям и сбережений. Деньги, полученные в качестве компенсации как пострадавшему от преступления, он пожертвовал собачьему приюту, где они когда-то взяли Маковку.

Парадную дверь, некогда цвета бутылочного стекла, выкрасили в белый, а латунь давным-давно никто не полирован. Никакой охраны не было — ни замков, ни домофона, ни камеры наблюдения, — в дверь по-прежнему мог беспрепятственно войти кто угодно.

Латунная табличка на двери, гласившая: «Холройд, Уайр и Стэнтон.

Юрисконсульты и адвокаты», сменилась пластиковой «Салон красоты „Нега“». «Неге» предшествовало таинственное «ООО „Хелльер“», которое появилось и исчезло между третьей и четвертой годовщиной. После «ООО „Хелльер“» офис долгое время пустовал, пока туда не въехал «Джей-эм бизнес-консалтинг». В шестую годовщину Тео поднялся наверх под предлогом, что его интересуют компьютерные курсы, но девушка-администратор нахмурилась. «Мы этим не занимаемся», — отрезала она, не пожелав разъяснить, чем же именно они занимаются, и у Тео создалось впечатление, что практически ничем, если не считать хранения кучи больших коробок. Он хотел взглянуть на то место, то самое место, хоть одним глазком, но, помимо загромождавших коридор коробок, везде были поставлены хлипкие ширмы, и он решил не поднимать шума и не пугать девушку.

Лестница его доконала. Он отдышался на площадке, прежде чем войти в новую стеклянную дверь с вытравленным на ней размашистыми завитушками словом «Блаженство», сулившим если не элизиум, то страну Кокейн.^[33]

Администратора в стерильно белой форме, судя по беджу, звали Миланда. Звучит как марка маргарина с низким содержанием холестерина, подумал Тео. Она посмотрела на Тео с ужасом, и ему захотелось уверить бедняжку, что ожирение не заразно, но вместо этого он сказал, что хочет устроить жене сюрприз на день рожденья, «немного ее побаловать». Это была ложь, но она никому не могла навредить. Жаль, что он так мало баловал Валери, а теперь уже слишком поздно.

Справившись с шоком от размеров клиента, Миланда предложила ему программу «Спа-уход на полдня» — педикюр, маникюр и обертывание с морскими водорослями, и Тео заявил, что это «то, что надо», но он, пожалуй, полистал бы брошюру и посмотрел, что еще у них есть. На что Миланда ответила «конечно» с натянутой улыбкой, — очевидно, она беспокоилась, что Тео окажется скверной рекламой для салона красоты, сидя в холле на (возможно, непрочном) тростниковом диване рядом с фонтанчиком из стеклопластика, чье журчание состязалось с «успокаивающими звуками» диска «Медитация» — странной смесью свирели, пения китов и шума прибора.

Со времени его последнего неудачного визита офис был полностью отремонтирован. Стены стали сиреневыми, а двери заиграли палитрой пурпурных, розовых и голубых красок. Перегородки из гипсокартона совершенно изменили форму помещения, поделив его на открытые отсеки и отдельные комнатки — «процедурные», согласно дверным табличкам.

Переговорная — осталась она прежней, нетронутой или ее превратили... во что? В парную, в сауну? Или разделили на кабинки для «тайского массажа» и «бразильской эпиляции»? (Брошюра предлагала самые неожиданные услуги.) Подошла клиентка, и Миланда повела ее в один из кабинетов. Тео встал, якобы просто чтобы размять ноги, и сделал вид, что прогуливается по коридору.

Дверь в переговорную (выкрашенная в какой-то синюшный цвет) была приоткрыта и, стоило Тео легонько ее толкнуть, тут же распахнулась, выставив всю комнату на его обозрение. Раньше Тео не удавалось зайти так далеко, поэтому он не имел представления о том, как комната изменилась за прошедшие десять лет, но очень удивился, обнаружив, что в ней нет ни мебели, ни оборудования, пол пыльный и в царапинах, краска на стенах потрескалась. Прежняя переговорная была живым сердцем их конторы, а теперь ее использовали в качестве подсобки, забитой коробками масел и кремов; к стене привалился сложенный массажный стол, из корзины для белья вываливалась гора использованных белых полотенец. Мраморный камин был на месте, на решетке лежала холодная зола.

На том самом месте, месте, где убили его дочь, стояла тележка больничного вида, только вместо лекарств она была нагружена разноцветными флакончиками лака для ногтей. Тео как-то был в Санкт-Петербурге и зашел в храм Спаса на Крови, построенный на месте убийства Александра II. Поразительное сооружение: сплошь мозаика, и золото, и шпили, и покрытые эмалью купола-луковицы, — но внутри ему показалось бездушно и холодно. Теперь он понимал, что атмосфера по большому счету не имела значения, важно уже то, что эта церковь есть, а значит, никто никогда не забудет того, что там случилось. Место, где упала Лора, было отмечено тележкой с лаком для ногтей. Разве это подобающее надгробие? Разве на священном месте, где пролилась кровь его дочери, не должен был забить ручей или зацвести дерево?

Обескровлена. Странное, театральное слово, как будто из трагедии мести, но у Тео возможности отомстить так и не появилось. «Маньяк с ножом убивает местную девушку!» — гласили заголовки местных и центральных газет. Несколько дней все только об этом и говорили, а потом — забыли. Все, кроме полиции. Тео не сомневался, что они действительно хотели найти убийцу. Даже сейчас он иногда виделся с Элисон, следователем, которую к нему прикрепили. А тогда полиция проверила все зацепки. Вся конфиденциальность информации о клиентах в «Холройд, Уайр и Стэнтон» пошла прахом: полиция проштудировала каждую папку и всю корреспонденцию. В новостях говорили, что это случайное

преступление, дело рук психопата, но тот человек — маньяк с ножом — искал в офисе Тео, «мистера Уайра». Тео что-то сделал, запустил в действие страшный механизм. Он так разозлил человека в желтом свитере для гольфа, что тот решил его убить. Утолил ли он свою кровавую жажду, испытал ли человек в желтом свитере для гольфа примитивное удовлетворение оттого, что убил дитя Тео? Пролил его кровь.

Тео уже собрался сдвинуть тележку, как одна из дверей, скрытых в изгибе овальной стены, распахнулась и в комнату вошла миловидная женщина в такой же белой форме, как у Миланды. Увидев Тео, она нахмурилась, но, прежде чем она успела открыть рот, он выпалил: «Извините, ошибся комнатой!» — и попятился к двери, нелепо сложив руки в намасте,^[34] чтобы развеять ее опасения.

«Я вам позвоню», — весело бросил он Миланде, помахав по-прежнему зажатой в руке брошюрой. Он направился к лестнице так быстро, как позволяли его габариты, хотя самое большее, на что он оказался способен, — это бодрая развалочка. Он представлял, как Миланда идет за ним по пятам и сбивает его с ног в Паркерс-Пис. Сердце тревожно билось в груди Тео, и он нашел убежище в кафе на Милл-роуд, где заказал скромное латте с булочкой, что не помогло ему избежать осуждения официантки, которая ясно дала понять, что человек с таким излишком веса не должен есть вообще.

Время не лечило, оно только бредило рану, медленно и безжалостно. Мир продолжал жить и позабыл обо всем, и только Тео продолжал хранить любовь к Лоре. Дженнифер жила в Канаде, и, хотя они созванивались и писали друг другу по электронной почте, они редко говорили о Лоре. Дженнифер не нравилось мучить себя воспоминаниями о случившемся, но Тео боль помогала сохранять Лору живой у себя в памяти. Он боялся, что, если боль начнет утихать, Лора исчезнет.

Тогда, десять лет назад, Тео ни с кем не хотел говорить, не хотел говорить вообще, не хотел признавать существование мира, который продолжал жить без Лоры, но, вернувшись домой из больницы, заставил себя позвонить Дженнифер. Когда она сняла трубку и услышала его голос, то спросила: «Что случилось?» — с таким раздражением, будто он постоянно досаждал ей звонками. А потом она еще больше разозлилась, потому что он совсем не мог говорить и только огромным усилием воли выдавил: «Дженни, беда случилась, страшная беда», на что она глухо ответила: «Лора».

Тео покончил бы с собой, может, не в тот же самый день, не раньше

похорон, не раньше, чем привел бы в порядок дела, но он не мог покончить с собой, потому что тогда Дженнифер поняла бы (хотя она и так это знала, верно?), что он любит Лору больше ее. Потому что Тео знал, что, если бы умерла Дженнифер, а не Лора, мысль о самоубийстве не пришла бы ему в голову.

Даже теперь Тео надеялся, что однажды незнакомец, который искал его, а нашел его девочку, вернется. Тео представлял, как откроет дверь человеку в желтом свитере для гольфа и широко раскинет руки, принимая нож, принимая смерть, которая воссоединит его с Лорой. Он похоронил ее в гробу, не стал кремировать. Ему нужна была могила, к которой он мог бы ходить (постоянно), место, где она казалась бы осязаемой, на расстоянии вытянутой руки, всего в шести футах от него. Временами горе настолько одолевало его, что он подумывал о том, чтобы откопать ее, достать ее бедное разлагающееся тело из гроба и еще раз, последний, покачать на руках, сказать, что он по-прежнему рядом, по-прежнему думает о ней, даже если остальные уже забыли.

Тео расплатился за кофе, оставив на чай больше суммы счета. Обычно чем хуже было обслуживание, тем больше Тео платил. Он полагал, что это свидетельствовало о слабости характера. Он считал себя человеком, почти целиком состоящим из слабостей, у которого сильных сторон просто нет. Он с трудом прокладывал себе дорогу во встречном потоке туристов, которые, все как один, восторгались колледжами, живой тканью истории — ученостью, и архитектурой, и красотой. Когда Тео приехал сюда учиться, он решил, что Кембридж — самое красивое место на земле. Сам он вырос в прозаическом пригороде Манчестера, и ему показалось, что Кембридж просто иная реальность. Когда он впервые зашел во дворы колледжей — это было как райское видение. Он даже не думал, что на свете есть подобная красота, но за прошедшие десять лет он ни разу не взглянул на колледжи. Он проходил мимо величественных фасадов Квинса и Тела Христова, Клэра и Кингса — и не видел ничего, кроме камня, цемента и вездесущей пыли.

«Закрывать дело» — так это называлось. Звучало очень по-калифорнийски. Он избегал этих слов, избегал того, что они означали, но он знал, что не сможет сойти в могилу, пока не узнает, кто был тот человек в желтом свитере для гольфа. Он посмотрел на часы. Не хотелось бы опоздать.

Тео ждал и читал «Ридерз дайджест». Кроме как в приемных, «Ридерз

дайджест» теперь нигде больше и не найдешь. Администратор сказала, что мистер Броуди сейчас занят, но скоро кончит и сможет его принять через десять минут, если он подождет. «Я Дебора, его ассистент, — добавила она. — Но вы можете звать меня миссис Арнольд». Видимо, пыталась пошутить. Тео вспомнил, что у сотрудников «Холройд, Уайр и Стэнтон» это было дежурной шуткой, — он слышал, как они говорили по телефону клиентам: «Извините, у мистера Холройда сейчас встреча, но он скоро кончит» — таким чирикающим секретарским голоском, а потом, повесив трубку, всегда принимались хохотать. Непохоже, чтобы секретаршу Броуди развлекала мысль о том, что ее босс предается у себя в кабинете любовным утехам. Она активно выплескивала агрессию на компьютерную клавиатуру, — видно, Дебора (как и его собственная секретарша Шерил) в свое время училась печатать на машинках, прочных как танки. Иногда они виделись с Шерил. Она уже вышла на пенсию, но Тео ходил к ней в гости, в душный одноэтажный домик, и пил чай с кексом (неловко это все было).

Шерил была последней, с кем говорила Лора. «Вам нужно несколько копий этого бланка?» — на такой прозаичной ноте и оборвалась ее жизнь.

Дебора Арнольд приостановила попытки доконать клавиатуру и предложила Тео кофе, от которого он отказался. Он начинал подозревать, что мистер Броуди едва ли скоро кончит у себя в кабинете, потому что его там попросту нет.

Если полиция не смогла вычислить убийцу Лоры, абсурдно было предполагать, что это окажется под силу заштатному частному сыщику, но Тео считал, что самый минимальный шанс на успех лучше, чем никакого. И если Тео найдет того человека, может быть, он вовсе не станет встречать смерть, раскрыв объятия. Возможно, Тео сам превратится в маньяка с ножом.

В офис влетел какой-то человек.

— Наконец-то. Явился, — заметила Дебора Арнольд, не отрывая взгляда от клавиатуры.

— Прошу прощения, — обратился человек к Тео (судя по всему, это и был Джексон Броуди). — Я был у зубного.

Дебора хрюкнула, очевидно найдя оправдание смехотворным.

Мужчина пожал Тео руку:

— Джексон, Джексон Броуди, пожалуйста, проходите и присаживайтесь.

И он провел его в кабинет.

Прежде чем Джексон успел закрыть дверь, из приемной донеслось

саркастическое: «Мистер Броуди сейчас вас примет».

— Извините, — сказал Джексон Тео, — она бредит. Думает, что она — женщина.

Церковь Святой Анны, так она называлась. Каролина понятия не имела, кто такая святая Анна, она не получила религиозного воспитания и ни разу не была на настоящей церковной службе, по крайней мере в нормальной церкви, даже на собственной свадьбе с Джонатаном, которая состоялась в бюро регистраций, потому что первая жена Джонатана жила и здравствовала, хоть и (к счастью) в Аргентине, с каким-то коннозаводчиком. Церковь стояла на проселочной дороге, маленькая и очень старая, с приземистой саксонской башенкой и кладбищем, которое давно закрыло двери для вновь прибывших и живописно заросло полевыми цветами и шиповником. Каролина не могла назвать ни одного цветка и подумала, что, может, стоит почитать о цветах, заказать на «Амазоне» книгу, раз до ближайшего книжного не один десяток миль.

Церковь стояла на полдороге между их деревушкой и еще одной, и того меньше. Наверное, в Средние века церковь решила сэкономить и выделить одного священника на две деревни. Да и потом, в те времена никто не имел ничего против долгих пеших прогулок. Раньше деревенские дети каждый день проходили по пять миль до школы и обратно и не жаловались. А может быть, и жаловались, но никому не пришло в голову сохранить их мнение для потомства. Таков ведь принцип у истории? Раз не записано, значит, этого никогда и не было. Можно оставить после себя драгоценности, глиняные горшки и богатые гробницы или собственные кости, которые выкопают через сотню-другую лет, но ни один артефакт не расскажет о ваших чувствах. Мертвецы у нее под ногами на старом кладбище при церкви Святой Анны были глухи и немые. Она не могла представить, чтобы Джеймс с Ханной прошли до школы больше сотни ярдов: они понятия не имели, для чего вообще нужны ноги.

Каролина не раз проезжала мимо церкви, но прежде ей не приходило в голову зайти внутрь. Разумеется, она была знакома с викарием, точнее, с прежним викарием: он умер в прошлом году, а его преемник еще не приехал. На попечении нового священника будет не две деревни, его (а может, ее, вдруг это окажется женщина?) заботам поручат четыре-пять приходов, потому что никто больше не ходил в церковь, даже мать Джонатана.

Религия тут ни при чем, Каролина просто пряталась от дождя. Она вывела собак на прогулку, дошла до церкви, порядка мили от их дома (вообще-то, даже имения), и собаки забрались на кладбище, где теперь, вода носами по земле и задрав хвосты, изображали пылесосы, и их маленькие собачьи мозги были всецело поглощены неисследованной территорией и тысячей новых запахов. Каролина чувствовала только один запах — кислый, печальный запах зелени.

Собаки уже помочились на пару надгробий. Каролина надеялась, что за ней никто не следит. Вернее, не наблюдает, «следит» — не то слово. «Господи, Каро, у тебя просто паранойя, — заявил как-то Джонатан. — Вот что делает с людьми городская жизнь». Это были его собаки. Пара лабрадоров и двое детей — такое вот «приданое». Джеймс и Ханна, Мег и Брюс. Псин звали Мег и Брюс. И собаки, и дети хорошо себя вели с Джонатаном, похуже — с Каролиной, хотя собаки все равно были лучше, чем дети. Когда начался дождь, она привязала собак к крыльцу (какая досада, что с детьми так нельзя). До встречи с Джонатаном она и не думала, что Каро — уменьшительное от Каролины. Какое-то имя эпохи регентства,^[35] из старомодных исторических романов, которые она читала в юности. Конечно, он вырос в такой среде — и в графстве, — где имя Каролина не было редкостью, как и Люси, и Аманда, и Джемима, поэтому ему лучше знать.

Вероятно, для крыльца есть особое церковное слово, но, даже если и так, она его не знала, зато знала разные термины для обозначения скелета церкви, ее позвоночника и ребер, звучавшие как средневековая поэзия: апсида, алтарь, неф, трансепт, хоры, ризница, мизерикорд;^[36] правда, что именно они называют, она бы вряд ли вспомнила, кроме мизерикорда, — знаете, есть такие слова, которые, раз узнав, запоминаешь на всю жизнь.

Мизерикорды в церкви Святой Анны были старинные, дубовые, но не из того же дуба, что дверь, серая и выцветшая, как старый плавник, долго носившийся по морским волнам, — мизерикорды были цвета торфа или чайной заварки. Приглядевшись, можно было различить вырезанные на них странные языческие создания, больше похожие на леших, чем на людей, полускрытые деревьями и листьями, — вот акант, а вот вроде пальма. Должно быть, это пресловутый зеленый человек,^[37] точнее, зеленые люди, они расположились — и все разные — на боковой планке каждого сиденья. Она не знала, что в Йоркшире тоже есть зеленые человечки. Как и там, где она жила прежде. В другой жизни, которую иногда почти и не помнила. А иногда помнила слишком хорошо.

Ей нравилось слово «мизерикорд», оно вызывало ассоциации с чем-то жалким, но означало «милосердный», от латинского *cor* — сердце, от которого произошли также *core* — сердцевина и *cordial* — сердечный, но не *cardiac* — сердечный в физиологическом смысле, которое пришло через латынь от греческого *kardia* — сердце (хотя когда-то они, несомненно, были родственными). В школе Каролина не изучат ни латыни, ни греческого, но потом, когда у нее образовалось уйма свободного времени, проштудировала основы античных языков, чтобы понимать хотя бы этимологию слов, уметь проследить их значения. Если поиграть буквами, в ее имени тоже было *cor*. Каро. Кора. Кор. Словно карканье воронов, что питаются мертвечиной. Если встать на колени на жесткий пол, что в этой церкви непременно означают опуститься на холодную надгробную плиту (покойники, скорее всего, только радовались компании), и заглянуть в глаза зеленому человеку, то можно увидеть в них проблески первобытного безумия и...

— С вами все в порядке?

— Да, — ответила Каролина. — Думаю, да.

Мужчина предложил ей руку, потому что колени у нее затекли от стояния на полу, на мертвецах. Рука у него была мягкая и для положительно живого мужчины слишком холодная.

— Меня зовут Джон Бёртон, — произнес он (сердечно).

— Вы или очень молоды, — сказала Каролина, — или это признак того, что ко мне старость подступает. Ну, когда викарии и полицейские начинают казаться юнцами.

И викарий (Джон Бёртон) рассмеялся:

— Моя мать всегда говорит, что беспокоиться нужно, когда епископы начинают казаться молодыми.

Интересно, каково это — вписаться в мир, где матушка шутит про епископов и людей называют «Каро», подумала Каролина.

— Вы, должно быть, новый викарий.

На нем была сутана (или как там это называется?), так что не сказать чтобы Каролина попала пальцем в небо. Он оглядел свое облачение и уныло усмехнулся:

— Застукали меня на месте преступления, мэм.

Прозвучало это довольно забавно, потому что голос у него был этакий утомленный и аристократический. Джонатан сохранил (или, наоборот, развил) в голосе некоторую грубость, топорность, что добавляло ему серьезности и веса. «Типичный Хитклиф», — саркастически заметила ее подруга Джиллиан, потому что, ясное дело, он был богат и получил (очень)

дорогое образование, а его мать говорила как сама королева.

— Я тоже знаю, кто вы, — сказал Джон Бёртон.

— Да что вы? — сказала Каролина и подумала, уж не флиртуют ли они, в самом деле.

А Джон Бёртон — преподобный Джон Бёртон — ответил:

— Конечно знаю, вы директор начальной школы.

И Каролина про себя чертыхнулась, потому что предпочитала, чтобы никто не знал, кто она такая. Никто.

Новое замужество не было частью ее плана. План заключался в том, чтобы похоронить себя в каком-нибудь городишке и творить добрые дела, как какая-нибудь квакерша восемнадцатого века или благородная дама времен королевы Виктории, одержимая филантропией. Она даже подумывала уехать за границу — в Индию или в Африку, — подобно миссионерам, работать на проекте по борьбе с неграмотностью среди женщин или отверженных, потому что она понимала, что значит быть отверженной.

Она уехала на север, думая, что север окажется грубым и индустриальным, хотя и сознавала, что эта картина у нее в голове — исключительно из романов; и да, жизнь там была грубая, постиндустриальная и куда более трудная, чем она себе представляла, — ничего общего с «Севером и Югом» или «В субботу вечером, в воскресенье утром».^[38] Первый, испытательный год она провела в Ливерпуле, потом пару лет работала в Олдеме и наконец обосновалась в Манчестере. Она была «учителем-ангелом», по сути, а не по должности ее профессией было спасать детей, выброшенных обществом, и она с курьерской скоростью перемещалась из одной городской геены в другую; она обречена была рано или поздно стать директором какой-нибудь пропащей школы и повести ее вперед сквозь шторм и непогоду, как капитан — тонущий корабль. И это было хорошо и правильно, потому что она искупала свою вину, просто вместо того, чтобы уйти в монастырь ордена кающихся грешниц (а эта идея приходила ей в голову), она стала учительницей, что наверняка приносит больше пользы, чем затворничество и молитвы каждые четыре часа, хотя, кто знает, возможно, именно благодаря монахиням, денно и нощно возносящим молитвы, нас минует глобальная катастрофа — падение метеорита или, например, авария ядерного реактора.

Итак, ее жизнь шла согласно намеченному плану. Она жила в маленькой квартирке: одна спальня, белые стены, ароматические свечи, ничего лишнего (очень по-анахоретски, если на то пошло) — и общалась

только с другими учителями, и то по минимуму. Компания состояла из разведенных дам среднего возраста, иногда они ходили в кино или выпивали по бокалу вина в каком-нибудь тихом баре. Разговоры, как правило, сводились к жалобам на нехватку мужиков: «все стоящие либо женаты, либо геи», и, когда они один раз принялись забрасывать удочки насчет ее личной жизни, она ответила: «Мне хватило одного неудачного брака» — тоном, предполагавшим, что этот брак был настолько неудачен, что и говорить не хочется. Она сказала, что предпочитает пока не заводить романов, умолчав, правда, о том, сколько уже тянется это «пока». Двадцать два года прошло с тех пор, как она в последний раз была с мужчиной! Разведенные дамы среднего возраста со стульев бы попадали. Кстати, анахорету ведь полагается соблюдать целибат? (Или анахоретке?) Надо бы спросить у преподобного Бёртона («Бога ради, зовите меня Джон», — рассмеялся он). Конечно, все эти годы она занималась сексом с женщинами, так что это не совсем целибат.

Смешной он малый, этот Джон Бёртон. Песочно-рыжие волосы, маленький, сложен изящно — ничего общего с Джонатаном. И очень славный, как-то сразу видно, что хороший человек. Он тоже побывал кающимся грешником в городском гетто, и, видимо, это сломало его. Теперь он с головой закопался в деревню и шел на поправку. С такими, как Джонатан, нервных срывов не случается. У него были безукоризненные манеры (спасибо матушке, а также Эмплфорт-колледжу^[39] хотя Уиверы отнюдь не были католиками) — этим он ее отчасти и привлек. А еще тем, что манеры манерами, но на деле он был суров и несгибаем. Как кремень.

В августе Джиллиан, подруга по педагогическому колледжу, пригласила ее погостить на ферме у своих родителей на длинные, по случаю банковских каникул,^[40] выходные. В колледже они сошлись, потому что были старше большинства своих сокурсниц. Близкими подругами они не стали — хотя Джиллиан питала на этот счет некие иллюзии, — но с ней было легко, она была забавная, циничная, но не зануда, поэтому после долгих и упорных дебатов с самой собой (проводившихся по любому вопросу) Каролина все-таки приняла приглашение. От выходных в деревне вреда не будет, решила она.

Все прошло чудесно, лучше не бывает. У Джиллиан оказались очень славные родители, ее мать все время их чем-нибудь подкармливала, а они и не возражали. Как замечательно, говорила мать Джиллиан, что они такие независимые девочки, и работа у них хорошая, и кредит на жилье, и

свобода, — но на самом деле она хотела сказать, что Джиллиан, их единственной дочери, уже порядком за тридцать и не пора ли, собственно, подарить родителям внука?

В чистой и уютной гостевой комнате Каролина выпалась лучше, чем за многие годы, возможно, потому, что вокруг было так мирно. Лишь блеяли овцы, горланили петухи и птицы пели не умолкая, да изредка бурчал трактор. Пахло свежестью, и она вдруг поняла, как давно не дышала по-настоящему чистым воздухом. Окно спальни выходило на простор холмистых зеленых равнин, сшитых и окантованных серыми каменными стенами, бегущих вдаль, насколько хватало глаз, за горизонт, и она подумала, что, пожалуй, такого потрясающего вида из окна у нее никогда еще не бывало (зато мерзких было хоть отбавляй). Так что сперва она влюбилась в местный пейзаж, а потом уже — в Джонатана, который в некотором смысле являлся продолжением и воплощением этого пейзажа.

А еще было жарко. Она не ожидала такой жары от Йоркшира, с другой стороны, она и не знала, чего ожидать, потому что никогда раньше там не была. («Как, вы никогда не были в райском графстве?» — с притворным ужасом воскликнул Джонатан. «Я вообще мало где была», — прямо ответила она.)

В субботу вечером Джиллиан повела Каролину на сельскохозяйственную ярмарку, маленькую, только для местной долины, «совсем не то, что Большая йоркширская выставка, скорее просто праздник». Ярмарку устраивали в поле, в паре миль от их дома, на окраине деревушки. «Тебе понравится, там как на старинной открытке», — обещала Джиллиан, и Каролина улыбнулась и промолчала, потому что хотя здесь очень красиво и по-йоркширски (ведь Йоркшир не столько место, сколько состояние души), но это все равно деревня. Но Джиллиан не обманула, деревушка и впрямь оказалась буколическим идеалом: горбатый мостик, окаймленный высокими желтыми ирисами ручей, вьющийся меж серых каменных домов, старая красная телефонная будка, маленький почтовый ящик на стене и зеленые лужайки, на которых паслись упитанные белые овцы. («Это йоркширские овцы, — сказал Джонатан, — они крупнее других»). Несколько месяцев спустя она поделилась этим сокровенным знанием с коллегой, которая чуть не лопнула от смеха, а Каролина почувствовала себя идиоткой. Но к тому времени у нее на пальце красовалось кольцо с рубинами и бриллиантами, некогда принадлежавшее матери отца Джонатана. Позже его собственная мать, Ровена, сказала ей, что в свое время отказалась от этого кольца и вытребовала себе новые бриллианты — от «Гаррарда», — потому что не желала «ходить в

обносках».)

Само собой разумеется, впервые очутившись на сельскохозяйственной ярмарке, Каролина была просто очарована. Да, именно это с ней и случилось: она была очарована, заколдована и одурманена — причесанными овцами, и коровами в рюшечках, и намытыми хрюшками; палатками, где предлагали отмеченные наградами джемы и бисквиты, вязаные шали и распашонки и все сорта кабачков, и картофеля, и лука, и роз; членами Женского общества, подававшими чай с пирожными в теплой, пахнущей травой палатке, викарием — толстяком с румянцем любителя выпить, который открывал ярмарку и рассказывал анекдоты (ничего общего с преемником, Джоном Бёртоном). Еще там были фургон с мороженым, спортивная площадка для детей и маленькая безупречная старинная карусель. Как-то чересчур. Смешно даже. Казалось, вот-вот покажется паровоз и из вагонов выйдут герои «Биения сердца»,^[41] будь оно неладно. Но вместо этого в кадр уверенным шагом вошел Джонатан Уивер.

— Это от конкур у него такие бедра, — шепнула Джиллиан. — Он любитель, но, говорят, мог бы далеко пойти.

Ну нет, теперь стало похоже на роман Джилли Купер.^[42]

— Нетитулованная аристократия, — продолжала Джиллиан. — Ну, знаешь, древний род, возделывают эту землю со времен Вильгельма Завоевателя, типа того. Только они дилетанты, а не настоящие фермеры, — едко добавила она.

— Это почему?

— У них всегда был другой источник дохода, и не один: дома под аренду в Лондоне, земля, работорговля — все, на чем обычно делают деньги. Поэтому они играют в фермеров, держат образцово-показательное стадо красных девонширских, а овцы у них как барашки Марии-Антуанетты, а здесь овцеводческий край, не будем забывать, где овца — это овца, и во всех-то коттеджах на ферме у них ремонт и центральное отопление, а еще они восстанавливают приусадебный огород на средства Национального треста, ни больше ни меньше.

Каролина не слишком поняла эту диатрибу фермерской дочери, поэтому просто сказала:

— Да уж.

А Джиллиан рассмеялась и добавила:

— Но, Бог свидетель, я бы затрахала его до смерти хоть сейчас.

Она вспомнила, как стояла перед выставкой «лучшего земляничного

джема». Банки с клетчатыми «чепчиками» поверх крышек, подписанные в стиле «Сельского дневника эдвардианской леди»,^[43] были украшены наградными розеточками и маленькими «похвальными» карточками, и она подумала, что лучший джем нужно пробовать, а не просто смотреть на него, и тут он возник рядом и представился, и вот она уже в его «рейнджровере», они едут к нему домой — а промежуточные события из ее памяти выпали. Он выдал что-то вежливое насчет «заглянем ко мне, выпьем чаю», но ею, конечно, двигала похоть, чистая, неприкрытая, слишком долго сдерживаемая похоть, — поэтому она бросила Джиллиан, которая была в ярости (вполне справедливо) из-за того, что подруга у всех на виду отчалила с едва знакомым мужчиной.

Они ехали по длинной прямой дороге, мимо парка, и только минут через пять она осознала, что и дорога, и парк, и все остальное принадлежит ему, — то есть, на секундочку, ему принадлежит целый пейзаж. И хотя именно похоть усадила ее в машину, она искренне предполагала, что его приглашение на чай подразумевает элегантную, светлую гостиную, в которой будут картины с лошадьми и собаками, большие диваны, обитые бледно-лимонным дамасским шелком, и рояль, уставленный семейными фотографиями в тяжелых серебряных рамках (пищей для этого образа явно послужила школьная экскурсия в замок). Она уже представляла, как робко усядется на краешек одного из лимонных диванов, а мать Джонатана займет место хозяйки у чайного подноса с изящным старинным фарфором и будет вежливо расспрашивать ее о «захватывающей» городской жизни.

В действительности мать Джонатана еще была на ярмарке — милостиво вручала розетки пони-клубу, и ни Джонатан, ни Каролина так и не добрались до гостиной (которая окажется совсем не такой, как она себе представляла). Они обошли вокруг дома, он завел ее в какую-то кладовку и, не успев закрыть дверь, стянул ей брюки до лодыжек, прижал к старой деревянной сушилке для посуды и резко вошел в нее сзади. Вцепившись в (пришедшиеся очень кстати) краны над керамической мойкой, она думала: «Святые угоднички, так вот, значит, как у вас тут трахаются», — а теперь посмотрите на нее: ездит на «лендровере дискавери», покупает одежду в «Кантри-кэжуалс» в Харрогите и сидит напротив него за завтраком (стол красного дерева, чиппендейл) с двумя его шкетами. Кто-нибудь может объяснить, как, черт побери, это случилось?

«Что ж, — произнес Джон Бёртон, — думаю, мне пора». Они сидели на скамье, бок о бок, очень по-приятельски, но молча. Вот что значит быть в церкви: молчи сколько влезет, и никто не спросит почему. Дождь почти

перестал, хотя в открытую дверь еще долетал его запах, зеленый и летний. «Дождь стихает», — сказал он, и Каролина ответила: «Да, похоже на то». Он встал и проводил ее к выходу. Собаки выпались и теперь изображали неопиcуемый восторг в связи с появлением хозяйки, но она знала, что на самом деле им на нее наплевать.

«Ну, до свиданья», — сказал Джон Бёртон и снова пожал ей руку. Она ощутила легкий трепет, будто в ней оживало что-то давно уснувшее. Он сел на велосипед и покатыл прочь, а потом обернулся, чтобы помахать ей, и велосипед вильнул в сторону. Она стояла и смотрела ему вслед, не обращая внимания на разыгравшихся собак. Она влюбилась. Просто-напросто. Окончательное и бесповоротное безумие.

Панихида по Виктору вывела минимализм на новый уровень, устремив его к аскетизму. Присутствовали только Джексон, Джулия и Амелия, если не считать самого Виктора, тихо разлагавшегося в дешевом гробу из дубового шпона, на котором вопиюще не хватало цветов. Джексон ожидал, что это все же будет какое-никакое событие, он думал, церемония состоится в часовне колледжа Святого Иоанна, где Виктора будут славословить бывшие коллеги, а после пройдет нудная Высокая англиканская служба^[44] — нестройно исполняемые гимны под аккомпанемент надрывающегося органа.

Амелия с Джулией сидели на первой скамье в часовне при крематории. Джексону удалось отклонить их предложение сесть между ними, занять место несуществующего сына Виктора. Джексон наклонился вперед и шепотом спросил у Джулии:

— Почему больше никто не пришел?

Номинально он выполнял там свои профессиональные обязанности — хотел посмотреть, кто объявится на Викторových похоронах. Надо сказать, тот факт, что не объявился никто, его тоже заинтересовал.

— Никто не пришел, потому что мы никому не сообщили, — сказала Амелия, словно это было самое разумное решение на свете.

Амелия и не подумала одеваться в черное на отцовские похороны — более того, на ней были шерстяные колготки в рубчик, кричащего, ярко-красного цвета. Может, в этом есть символический смысл, подумал Джексон, может, древний кембриджский обычай предписывает синим чулкам по случаю траура становиться красными чулками. Для каждой жизненной ситуации непременно найдется древний кембриджский обычай (ах да, Амелия же из Оксфорда). Ну кто летом носит шерстяные чулки? В часовне при крематории работал кондиционер, но снаружи-то стояла жара. Джулия равно пренебрегла траурным черным, закутавшись в винтажное бархатное пальто до пят, цвета травы (сестрички, похоже, хладнокровные, как рептилии). Ее буйные волосы явно укладывала трупца цирковых собачек. Создавалось впечатление, что скорбит по усопшему один Джексон в своем черном костюме для похорон со строгим черным же галстуком.

Дерзкие ноги Амелии напомнили ему лапки птицы, которую он

недавно видел на канале «Нэшнл географик» в приемной дантиста.

Джулия повернулась к Джексону анфас:

— На таких мероприятиях, ну, не таких именно, — она небрежно указала на гроб, — а на всяких семейных торжествах, днях рождения или на Рождество, мне всегда кажется, что появится Оливия.

— Просто смешно, — заявила Амелия.

— Я знаю.

На обеих напала было грусть, но Джулия тут же оживилась:

— Вам очень идет костюм, мистер Броуди, вы в нем такой красивый.

Амелия бросила на сестру презрительный взгляд. У Джулии слезились глаза, и она давилась словами, но на тот случай, если у детектива «сложилось иное впечатление», она объявила, что это сенная лихорадка, а не горечь утраты. Джулия предложила Джексону свой спрей для носа, но он вежливо отказался. У него в жизни не было аллергии (разве что на людей), и он считал себя таким северным здоровяком. Недавно он смотрел документальный фильм по «Дискавери», и там рассказывали, что у северян до сих пор крепкая викингская ДНК, а у южан — какая-то другая, послабее, саксонская или французская.

— Декор здесь мрачноватенький, — громким шепотом сообщила Джулия, но Амелия шикнула на нее, точно на болтливую соседку в театре. — В чем дело? — сердито осведомилась Джулия. — Ты полагаешь, он выскочит из гроба и отчитает нас?

При мысли об этом лицо Амелии на миг искажил ужас, но, по крайней мере, перспектива воскрешения отче заставила обеих ненадолго заткнуться. Самая утомительная англиканская служба лучше, чем вздорные сестрицы Ленд.

По пути на похороны Виктора он заглянул в бывший офис «Холройд, Уайр и Стэнтон», а ныне салон красоты «Нега». Заявленная в услугах «спатерапия» у Джексона ассоциировалась скорее с психотерапией, а не с массажем и масками для лица. Лечение красотой. Что для этого нужно? Музыка? Поэзия? Живописный вид? Секс? Что ему помогало залечивать свои раны? «Из Болдера в Бирмингем» Эммилу Харрис.^[45] Лицо дочери. Сентиментально, зато правда.

В доме Тео была особая комната. Тео как-то пригласил его к себе, чтобы показать ее. Джексон не смог бы жить в доме с такой комнатой. Спальня на втором этаже напоминала штаб расследования в полицейском управлении: фотографии и карты, пришпиленные к стене, блок-схемы и белые доски для фломастеров, хронометраж событий. Два железных

картотечных шкафа, забитых папками, и еще папки в коробках на полу. В этой комнате было все, что могло иметь хоть малейшее отношение к смерти его дочери. И много такого, что не должно было попасть Тео в руки, фотографии с места преступления например, — на стене они не висели (и Джексон его за это мысленно поблагодарил), но были извлечены из ящика. Страшные снимки убитой девушки, которые Тео вручил детективу с какой-то профессиональной отрешенностью, словно фотографии из отпуска. Джексон знал, что это впечатление обманчиво: время приучило Тео к любым ужасам, но не притупило его боль. «У меня есть кое-какие связи», — сказал Тео без лишних объяснений. Он был адвокатом, а у адвокатов, по опыту Джексона, всегда имелись связи.

Тео десять лет жизни посвятил расследованию смерти дочери. Нормально это или свидетельствует о безумии? Такую комнату скорее оборудовал бы психопат — Джексон лично подобных психопатов не встречал, но в детективах и сериалах их навалом. Джексон считал, что телевизионщикам нужно больше снимать про угоны машин четырнадцатилетними мальчишками, одуревшими от клея, сидра и скуки. Это куда ближе к действительности, правда не особенно интересно.

Джексон смотрел на гроб Виктора и думал о похоронах Лоры Уайр. По сообщениям в прессе, проститься с Лорой пришли сотни людей. Тео практически не помнил похорон, зато у него были все вырезки из газет. Когда Джексон спросил Тео о том дне, его глаза забежали из стороны в сторону, как будто мозг отмежевался от воспоминаний. Разве, переживая тяжелую утрату, человек не проходит несколько стадий: шок, отрицание, вину, гнев, депрессию, а потом принятие, — то есть надо выйти из другого конца туннеля и жить дальше? Джексон однажды был на консультации у психолога. Его школа вызвала специалиста из Отдела психиатрической помощи подросткам Западного Йоркшира; заведение с длинным названием представлял сутулый, маленький рыжеволосый психолог, дышавший луком. Они беседовали с Джексонем в чулане, который в школе сходил за медпункт. Рыжий бородач сказал Джексону, что нужно двигаться дальше, продолжать жить, но Джексону было двенадцать лет, и ему особо нечего было продолжать и некуда идти.

Джексон думал о том, сколько раз Тео говорили, что нужно взять себя в руки и двигаться дальше. Тео Уайр застрял в начале туннеля, в своем собственном мире, где надо биться до последнего, и тогда дочь вернется. Но этому не суждено было случиться. Джексон знал, что мертвые не возвращаются. Никогда.

Желтый свитер для гольфа. Зацепка. Зацепка, которая должна была

вывести на след убийцы. Никто из клиентов Тео не проявлял интереса к гольфу (это гольф королевская игра? или теннис?). Подобное безразличие было напрямую связано с тем фактом, что костяк его клиентуры составляли женщины. Тео занимался в основном семейными разборками. (Так почему же в тот день, когда умерла его дочь, он поехал в Питерборо на разбирательство земельного спора?) Мало что так удручало, как картотека клиентов Тео — бесконечный строй женщин, терпевших побои и надругательства и лишившихся всякой надежды, не говоря уже о тех, которые просто были несчастливы в браке и не могли больше выносить своих мужей-идиотов. Это было весьма поучительно (хотя Джексон свой урок и так уже получил), Тео старательно документировал самые банальные детали, вереницы мельчайших изъянов и трещин, едва заметных, если смотреть со стороны, но изнутри превращавшихся в каньоны: «Он дарит мне гвоздики, а гвоздики — убожество, это знает любая женщина, как же он не понимает?» — «Он вечно забывает провести „Туалетным утенком“ под ободком унитаза, хотя я нарочно поставила бутылку на видное место и просила его это делать, сто раз просила». — «Если он раз в год возьмет в руки утюг, так это целое событие: „Посмотри на меня, я глажу, смотри, как хорошо у меня получается, я глажу намного лучше тебя, я — профи, я умею гладить“». — «Он приносит мне завтрак в постель, когда прошу, *но я не хочу, чтобы мне нужно было просить*». Знают ли мужчины, как они треплют женщинам нервы? Тео Уайр определенно знал.

Джексон всегда делал все правильно, никогда не оставлял поднятым сиденье унитаза и прочих шаблонных ошибок не допускал, но численное превосходство было не на его стороне: две женщины на одного мужчину. Мальчикам требуется много лет, чтобы стать мужчинами, но девочки — уже с пеленок женщины. Джексон надеялся, что у них будет еще ребенок, он хотел бы еще одну дочку; сказать по правде, может, даже пять или шесть дочек. Про мальчиков он знал все, а вот девочки — они особенные. Джози не изъявляла желаний завести второго ребенка, и в тот единственный раз, когда Джексон об этом заговорил, она посмотрела на него тяжелым взглядом и сказала: «Вот сам и рожай».

Стал бы тот, кто не играет в гольф, носить свитер для гольфа? И если на то пошло, что отличало свитер для гольфа от всех других свитеров? Джексон перекопал весь полицейский архив, пока не нашел снимок желтого свитера, который, по показаниям свидетелей, был «очень похож» на тот, что носил убийца Лоры Уайр. Показания свидетелей в целом мало чего стоили. Джексон присмотрелся к логотипу на свитере — маленькой

нашивке с гольфистом, замахвающимся клюшкой. Наденет человек такой свитер, если не играет в гольф? Он мог купить его в секонд-хенде — хорошая вещь («60 % овечьей шерсти, 40 % кашемира») за разумные деньги.

Желтый — цвет опасности, недаром эти крошечные ядовитые лягушки желтые. У той бездомной девушки на Сент-Эндрюс-стрит волосы были цвета ядовитых лягушек. Утром он чуть не споткнулся об нее по пути в «Негу». С ней была собака, вроде какая-то борзая.

«Вы не поможете мне?» — обратилась к нему бродяжка, и он присел на корточки, чтобы не нависать над ней, и спросил: «Что нужно сделать?» Она уставилась куда-то в пространство и ответила: «Не знаю». У нее была плохая кожа. Похоже, наркоманка. Заблудшая душа. Он спешил, поэтому оставил девушку с лягушачье-желтыми волосами и подумал, что, когда пойдет обратно, спросит, как ее зовут.

Как насчет супругов всех тех недовольных женщин из картотеки Тео: играл ли кто-нибудь из них в гольф? Полиция проверила всех до единого и нашла пару гольфистов, у обоих были железные алиби. Они прошерстили бывших мужей, затаивших обиду после разводов, интрижек на стороне, споров об опеке, алиментах и пособиях на детей, но никто не попал под подозрение. Они опросили всех, у каждого проверили алиби, взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев, хотя на месте преступления не было ни отпечатков, ни ДНК, потому что преступник ни к чему не притронулся, он даже не открывал дверь в контору — входная была на подпорке, а внутреннюю, как сообщила администратор (Мойра Тайлер), он толкнул локтем. Прямоком в переговорную, чик-чик ножом — и восвояси. Ни возни, ни криков, ни брани, ни вспышки гнева. Больше похоже на заказное убийство, чем на преступление по страсти. *Crime passionned*.^[46] Нож он унес с собой, его так и не нашли.

Джексон тщательно проверил бывших, уличенных в домашнем насилии. *Nada. Rien*.^[47] Всех допросили, у каждого было подтвержденное алиби. Если предположить, что убийца имел отношение к личной жизни Тео, гм, у Тео, похоже, не было никакой личной жизни, кроме дочерей, кроме Лоры. О второй, Дженнифер, он почти не упоминал. (Почему?)

Джулия как будто задремала. Амелия присползла со скамьи и хмуро рассматриваю ковер. Осанка у нее была отвратительная. Джексон предполагал что кто-то должен почтить память усопшего, что вот-вот появится викарий и скажет несколько безликих слов, напутствуя Виктора в

неизвестность, но, к его изумлению, гроб внезапно и бесшумно соскользнул за шторы и исчез без всяких формальностей, словно чемодан на багажной ленте.

— И это всё? — спросил он Джулию.

— А чего вы хотели? — спросила Амелия.

Она встала и на красных, птичьих ногах направилась к выходу. Джулия взяла Джексона под руку и сжала ее, и они вышли из крематорской часовни вместе, как новобрачные.

— Это не противозаконно, — весело сказала она. — Мы проверили.

Погода была совсем не похоронная — жара. Джулия, которая принялась чихать, едва оказавшись на улице, бодро заявила:

— Ну хоть не так жарко, как там, где сейчас папочка.

Джексон надел свои темные «окли», и Джулия воскликнула:

— О-ля-ля, такой серьезный вид, мистер Би, прямо агент секретной службы.

Амелия, ждавшая их на дорожке, фыркнула, как кабаниха.

— И это всё? — повторил Джексон, высвобождаясь из хватки Джулии.

— Конечно же нет, — ответила Амелия. — Теперь чай с тортом.

— Как по-вашему, если бы вы были собакой, то какой породы? — Джулия запихнула в рот здоровенный кусок торта.

— Не знаю, — пожал плечами Джексон. — Может, Лабрадором?

— Нет! — в унисон воскликнули сестры с таким упреком, как будто с его стороны было полным безумием представить себя Лабрадором.

— Вы никак не Лабрадор, Джексон, — заявила Джулия. — Лабрадоры — это так банально.

— Почему? Шоколадные вполне себе, — заметила Амелия. — Вот желтые да, действительно... скучновато.

— Шоколадные лабрадоры. — Джулия засмеялась. — Так и хочется съесть.

— Мистер Броуди — английский пойнтер, — решительно заявила Амелия.

— Правда? — воодушевилась Джулия. — Ей-богу, никогда бы не подумала.

Джексон и не знал, что выражение «ей-богу» до сих пор в ходу. Они были такие шумные, эти сестры Ленд. Шумные до неприличия. И слишком вызывающе себя вели. С другой стороны, в Кембридже сумасшедшие сплошь и рядом, поэтому они не особенно выделялись. Но он ни за что не появился бы с ними в кафе в своем родном городе, на севере, где никто не говорил «ей-богу» с начала времен. Сегодня они обе пребывали в весьма

игривом настроении, — по-видимому, это было связано с тем, что они только что кремировали отца.

Джулия принялась за вторую чашку чая. Для чая было жарковато, Джексон мечтал о ледяном пиве. На белой чашке Джулии остался отпечаток ее напомаженного рта, и Джексону внезапно вспомнилась сестра. Она предпочитала более спокойный цвет, пастельно-розовый; на всех чашках и стаканах она оставляла призрачный след своих губ. При мысли о Нив у него сдавило сердце, в буквальном смысле, не в переносном.

— Нет, я не согласна, — заявила Джулия, хорошенько обдумав собачий вопрос (они хоть когда-нибудь друг с другом соглашаются?). — Только не пойнтер. И уж точно не английский, может, стародатский пойнтер? Это порода такая, мистер Броуди, я не о вашем возрасте, не подумайте. Или, может быть, большой французский. «Большой» тоже не к вам относится, мистер Броуди. А вообще, знаешь, Милли, думаю, мистер Броуди — немецкая овчарка. По нему сразу видно, что он вытащит тебя из горящего дома или из бурной реки. Спасет тебя из беды! — Она повернулась к Джексону и одарила его сверкающей театральной улыбкой. — Ведь спасете?

— Спасу? — переспросил Джексон.

Амелия вдруг встала и заявила:

— Это все чудесно, но мы не можем весь день прохлаждаться.

И Джулия тоже встала и сказала:

— Да, пойдем, Милли, надо поторапливаться, нам еще делать покупки.

Контрольные покупки, — добавила она, и Амелия простонала:

— Терпеть не могу делать контрольные покупки.

Джексон достал бумажник, чтобы расплатиться по счету. В бумажнике лежала фотография Оливии, и всякий раз, когда он открывал его, чтобы пустить кровь одной из своих истощенных кредиток, девочка улыбалась ему. Не ему, конечно, а человеку с фотоаппаратом.

— Снимала мама, — сказала Джулия. — Папа никогда не фотографировал.

Все трое грустно уставились на фотографию.

— Остались только мы с Джулией, — произнесла Амелия. — Только мы две в целом мире помним Оливию. Мы не можем сойти в могилу, не узнав, что с ней случилось.

— Почему именно сейчас, ведь прошло столько времени? — Джексон был озадачен.

— Дело не в том, сколько прошло времени, — оцетинилась Амелия, — мы никогда ее не забывали. Просто мы нашли Голубого

Мышонка, или, не знаю, это он нас нашел.

— Нас три, — поправила сестру Джулия, — Сильвия тоже помнит Оливию.

— Сильвия?

— Наша старшая сестра, — отмахнулась Амелия.

Джексон вопросительно молчал. Наконец Джулия произнесла:

— Она монахиня.

— И когда именно вы собирались мне о ней рассказать? — Джексон постарался сдержать раздражение.

— Мы вам сейчас говорим, — сказана Джулия. (Прямо-таки мисс Здравый смысл.) — Не ворчите, мистер Броуди, вы вовсе не такой брюзга, каким притворяетесь.

— А вот и такой.

— Нет, не такой, — настаиваю Джулия. (Во имя всего святого, почему они не могут просто уйти?) И вдруг, к изумлению Джексона, Джулия встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. — Спасибо, что пришли на похороны и вообще за все.

Джексон начинал бояться, что опоздает. Он возвращался на парковку, продираясь через стадо студентов языковых школ, очевидно не признававших, что на планете существует еще кто-нибудь, кроме подростков. Джексоновым адом был летний Кембридж, наводненный туристами и иностранными тинейджерами, у которых одна миссия — слоняться без дела. Студенты все были одеты в хаки и камуфляж, как будто идет война, а они солдаты (не дай бог, а то считайте, нам крышка). И еще велосипеды. Почему всем так нравятся велосипеды? И почему велосипедисты такие наглые? Почему они ездят по тротуарам, если есть специальные дорожки? И кому взбрело в голову дать велосипеды напрокат итальянским подросткам? Если ад существует, а в этом Джексон был уверен, там заправляют пятнадцатилетние итальянские пацаны на велосипедах.

Что же до туристов... Очарованные колледжами, духом истории, они не хотели видеть того, что за всем этим скрывалось, — деньги и власть. Колледжи владеют колоссальными землями, и не только в самом Кембридже, хотя он им принадлежит почти целиком. До сих пор колледжи имеют влияние на выдачу лицензий, заключение договоров аренды и бог знает на что еще. Джексон слышал, что раньше говорили: можно пройти всю Англию, не покидая земель Тринити.^[48] А все эти прекрасные сады, за вход в которые взимается плата? Все это богатство и привилегии в руках

единиц, в то время как на улицах тысячи обездоленных, нищих, алкашей, сумасшедших? Такое впечатление, что процент последних в Кембридже особенно высок.

И все же — хотя ему нелегко было себе в этом признаться — Джексон предпочитал летнюю публику мажорам и выпендренникам, населявшим город во время учебного года. Может, он просто завидует богатому сословию? Или это у него в голове звучит отцовский голос? Джексон боялся, что превращается в старого зануду. Возможно, быть старым занудой не так уж и плохо. В любом случае непроходящая зубная боль радужному мировосприятию не способствовала. («Эндодонтическое лечение», — соблазнительно промурлыкала Шерон ему в ухо в прошлый раз.)

Джексон припарковался перед домом. Деревянные жалюзи в гостиной были подняты, и он разглядел обстановку: книжные шкафы до самого потолка, пальмы в горшках, большие диваны — не шикарно, но со вкусом, наверное, университетская братия. Улица была запружена огромными внедорожниками среднеклассовых мамаш, с неизменными наклейками «Ребенок в машине» и «Младенец в машине» на заднем стекле. Джексон закурил и включил «Старый добрый мир» Люсинды Уильямс^[49] в качестве противоядия. К стойке ворот были привязаны воздушные шарик, указывая, что дом *en fete*.^[50] Из сада за домом раздались пронзительные девчачьи вопли, как будто кричала страшная доисторическая птица. Внедорожники пустовали, все гости были в доме, но Джексон решил остаться в машине. Он не испытывал ни малейшего желания очутиться в толпе мамаш и в очередной раз столкнуться с назойливым женским любопытством.

Он полистал пару досье из кипы, что взял у Тео. Та комната — про себя он ее теперь называл «штаб расследования» — не была комнатой Лоры. Спальня дочери Тео располагалась в глубине дома и окнами выходила в сад. Джексон в какой-то мере ожидал, что там все законсервировано с того дня, как Лора вышла из дому в последний раз, — он бывал в подобных мавзолеях, с каждым годом все более унылых и блеклых, — но, к его удивлению, в комнате Лоры ничто о ней не напоминало. Нейтральные цвета, гостиничный интерьер — обычная спальня для гостей. «Вообще-то, гостей у меня не бывает», — сказал Тео со своей грустной, понурой улыбкой. Он напоминал большого меланхоличного пса, ньюфаундленда или сенбернара. О нет, он рассуждает,

как Джулия. Какой же он сам пес? Он сказал «Лабрадор» — первое, что пришло в голову. Джексон не разбирался в породах, у него никогда не было собаки, даже в детстве. Отец ненавидел собак.

Джексон помнил, как было в комнате Лоры Уайр десять лет назад. Лоскутное одеяло, аквариум с тропическими рыбками, гора плюшевых мишек на кровати. Везде книги, одежда на полу, косметика, фотографии. Классический беспорядок восемнадцатилетнего подростка. Теперь же, со слов Тео, Лора стала воплощением аккуратности; умерев, она растеряла все недостатки и превратилась в отцовской памяти в святую праведницу. Джексон считал это вполне естественным.

Десять лет назад он видел в ее спальне фотографию: Лора с собакой. Хорошенькое личико, чудесная улыбка. Милая девушка — не святая, а просто милая. Джексон подумал об Оливии, лежавшей в безопасности у него в бумажнике, в кармане, невидимой, улыбающейся в темноте. «В затворе». Так сказала Амелия про Сильвию, когда он спросил, позвали ли они сестру на похороны. («Вы даже Сильвию не пригласили?») «Разумеется, мы сообщили ей, — ответила Амелия, — но она не может прийти, ей нельзя покидать монастырь. Она в затворе».

Быть может, и Оливия затворена где-нибудь — под половицами, в земле? Крохотная кучка тоненьких заячьих косточек, ждущих, когда их найдут.

Джексон оказался в спальне Лоры случайно. Он тогда работал над делом Керри-Энн Брокли, пропавшей в Честертоне. Керри-Энн было шестнадцать лет, безработная и далеко не девственница. Ее убили, когда она возвращалась домой после вечеринки с друзьями. Изнасиловали, задушили и бросили в поле за городом. Она вышла из ночного клуба в два часа ночи, на ней было много косметики и мало одежды, что рождало невысказанные предположения о спровоцированном преступлении. Но только не в команде Джексона. Если бы он заподозрил, что кто-нибудь из его офицеров так думает, он задал бы им по первое число.

Они так и не вышли на подозреваемого. Джексон возвращался домой, чтобы впервые за неделю выспаться, его подвозила коллега, специалист по работе с родственниками (Элисон — на ней Джексону надо было жениться, а вовсе не на Джози). Элисон заехала к Тео вернуть фотографии Лоры. Фотографии всегда фотографии. Все эти разрывающие сердце портреты девочек, которых больше нет: и Керри-Энн, и Оливии, и Лоры, все — любимые, все — потерянные навсегда. Принесенные в жертву неведомому злему божеству. Пожалуйста, Господи, только не Марли.

Дверь открыл Тео Уайр, опустошенный горем, с лицом, как тогда

подумал Джексон, цвета уэнслидейлского сыра. Он предложил им чаю, и Джексон подумал — не в первый и не в последний раз, — как странно, что люди продолжают жить, даже когда их мир больше не существует. Тео даже достал откуда-то пирог: «Вишня с миндалем, испек за день до ее смерти. Еще свежий». Он грустно покачал головой, словно не веря, что пирог еще есть, а его дочери — уже нет. Нечего говорить, что никто не притронулся к угощению. «Мистер Уайр, вы не против, если я взгляну на комнату Лоры?» — спросил Джексон, потому что знал, что для Тео Уайра он просто детектив, а не детектив, расследующий другое дело. Со стороны Джексона это было не более чем любопытство, ничто не указывало на то, что убийство Лоры Уайр связано с «его» убийством, с Керри-Энн Брокли. И он увидел обычную, неприбранную комнату, в которую девушка никогда уже не войдет, не швырнет сумку на пол, не сбросит туфли, не уляжется на кровать с книжкой, не включит магнитофон, где никогда больше не уснет беспокойным, невинным сном живых.

Это было за два года до рождения Марли, и Джексон еще не знал того, что знал теперь, — что это такое — любить ребенка, быть готовым в любую секунду отдать за него свою жизнь, понимать, что нет на свете ничего дороже. Он скучал по Джози, но уже не так сильно (думал, будет хуже), но по Марли он скучал всегда. Вот почему он не хотел браться за дело Тео Уайра. Тео вселял в него ужас, его история означала, что любой ребенок может умереть, и Джексон против воли представлял Марли на месте Лоры Уайр. Но что ему оставалось? Он не мог просто выставить за дверь этого беднягу размером с дирижабль, пыхтящего и сопящего в свой ингалятор, — потому что у Тео не осталось ничего, кроме воспоминаний, опустевшего пространства, которое должна была заполнять двадцативосьмилетняя женщина.

У Тео было тело погибшей, Амелия с Джулией тело искали. Оливия тоже оставила после себя пространство, но иное — бесплотную тайну, вопрос без ответа. Неразрешимую загадку, которая может свести с ума. Он никогда не найдет Оливию, никогда не узнает, что с ней случилось, — и он понимал, что нужно будет выбрать подходящий момент и сказать им об этом. Да, и он никогда не сможет выставить им счет, куда там. Извините, ваша сестра мертва и никогда не вернется, и с вас пятьсот фунтов за оказанные услуги. («Ты слишком мягкотел для бизнеса, — каждый месяц говорила ему Дебора Арнольд, подбивая баланс, — слишком мягкотел или слишком глуп».)

Если бы речь шла о Марли и ему надо было бы выбирать между «умерла» и «пропала без вести», что бы он предпочел? Нет, нельзя думать

об этом, нельзя даже пытаться вообразить такое, нельзя искушать судьбу. Любой из двух сценариев — худшее, что только может случиться. Что делать, если самое худшее, что могло с тобой случиться, уже случилось? Как жить дальше? Нужно отдать должное Тео Уайру — не у многих нашлось бы мужество просто продолжать жить.

Парадная дверь распахнулась, и на улицу шумной гурьбой высыпали нарядные девчушки со своими мамами. Джексон торопливо засунул фотографии с места убийства Лоры Уайр под переднее пассажирское сиденье. Он уже собирался вылезти из машины и зайти в дом, но тут появилась Марли. Черт, да она одета как проститутка. О чем только Джози думает, позволяет ей расхаживать в наряде мечты педофила! И губы накрасила. Он вспомнил о Джон-Бенет Рэмзи, еще одной пропавшей девочке.^[51] Когда он был в «Неге», туда зашла подруга администраторши (Миланда — она сама себе такое имя придумала?) и записалась на «бразильскую», и Миланда спросила: «Да ну?» — и девушка сказала: «Мой парень попросил, хочет представлять, что занимается любовью с девочкой», и Миланда спросила: «Да ну?» — как будто это нормальная причина.

Джексон знал статистику, знал, сколько известных полиции педофилов околачивается в том или ином месте, знал, что они роятся густо, как мухи, вокруг игровых площадок, школ, бассейнов (и домов, украшенных шариками). Бижутерия «Клэрз» — вот куда бы пошел Джексон, будь он педофилом. Что, если реинкарнация существует и можно в следующей жизни стать педофилом? Но что нужно сотворить, чтобы заслужить такое? И как, интересно, возвращаются невинные девочки? Стаей голубок, зеленой рощицей?

— Привет, сердечко. Как вечеринка? — (Ты что, собиралась вот так выбежать на улицу, не зная, ждет ли тебя кто-нибудь?) — Ты что выскочила из дома? Знала, что я здесь?

— Ага.

— Не забыла сказать спасибо?

— Не-а. Я сказала: «Большое спасибо за то, что вы меня пригласили».

— Сочиняешь.

— Нет, не сочиняю.

— Сочиняешь, это основное правило допроса: люди смотрят вверх и влево, когда вспоминают, и вверх и вправо, когда фантазируют. Ты посмотрела вверх и вправо.

Джексон, заткнись. Она тебя даже не слушает.

— Было дело, — безразлично изрекла Марли.

— Было дело?

Что это за выражение? У нее измученный вид, темные круги под глазами. Чем они там занимаются на этих вечеринках? Еще и мокрая вся от пота.

— Мы танцевали. Под Кристину Агилеру, она просто блеск.

Она повела плечами, показывая, как они танцевали, и в этом было столько секса, что у Джексона сердце ёкнуло. Твою ж мать, девчонке восемь лет.

— Очень мило, солнышко.

От нее пахло сахаром и потом. Он вспомнил, как первый раз взял ее на руки, ее головка уместалась у него на ладони, и Джози сказала: «Смотри, только осторожнее» (как будто он сам не знал), и как он поклялся себе, что с ней никогда не случится ничего плохого, что он от всего ее защитит. Торжественное обещание, клятва. Давал ли Тео такой же обет, когда впервые взял на руки Лору? Наверняка. (А как насчет Виктора Ленда?) Но Джексон не мог защитить Марли, он никого не мог защитить. Мы в безопасности, только когда мертвы. Никто в мире так не мучился страхами, как Тео, но о чем ему не нужно было больше беспокоиться, так это о том, в безопасности ли его дочь.

— Ты весь в помаде, — сообщила Марли.

Джексон посмотрелся в зеркало заднего вида и обнаружил на щеке яркий отпечаток малинового рта Джулии. Он яростно принялся его оттирать, но без толку: помада так и осталась на лице жарким пятном.

— Такая была крохотулечка, — говорила Бинки Рейн, но Джексон слушал вполуха.

Он уступил шквалу «Кармины Бураны». «Может, заглянем по дороге в гости к одной бабушке?» — спросил он у Марли, подсластив это не особенно заманчивое предложение обещанием познакомить дочь с кошками, так что сейчас она нарезала круги по сорняковым джунглям в саду Бинки за не слишком жаждущими дружить животными.

— Это ваша девочка? — спросила Бинки, с сомнением оглядывая Марли. — Как-то странно: вы — и вдруг с ребенком.

— Неужели? — рассеянно отозвался Джексон.

Он думам об Оливии Ленд, она тоже была крохотулечкой. Могла она сама уйти и потеряться? Амелия с Джулией сказали, нет, она была очень «послушная». Такая послушная, что посреди ночи выбралась из палатки и ушла с тем, кто ее позвал? Ушла куда? Джексон пробовал подольститься к

своей старинной приятельнице Венди из полицейского архива, чтобы она показала ему материалы по делу Оливии, но при всем желании она не могла ему помочь: все материалы исчезли. «Извини, Джексон, они ушли в самоволку, — сказала Венди. — Такое бывает. Тридцать четыре года — долгий срок».

«Не такой уж и долгий», — ответил Джексон. Дело Оливии официально не было закрыто, но почти никого из тех, кто работал над ним, не осталось в живых. Это было до сложных анализов ДНК, расово-возрастных стереотипов, чёрт, даже до компьютеров. Если бы девочку похитили сейчас, шансов найти ее было бы больше. Возможно. Все старшие инспекторы, занимавшиеся делом Оливии, умерли, и единственным человеком, чьи следы Джексону удалось отыскать, была Мэриан Фостер, детектив, которая, похоже, брала показания у сестер Ленд. Она недавно вышла на пенсию в чине суперинтенданта на севере страны, совсем близко к Джексонову родному дому, а перспектива наведаться в те края его не особенно радовала. Теперь, конечно, сразу подумали бы на родителей, на отца в первую очередь. Эффективно ли полиция допросила Виктора Ленда? Если бы Джексон вел то дело, Виктор был бы главным подозреваемым.

Убедившись, что Марли их не слышит, Джексон спросил у Бинки:

— Вы не помните, как исчезла Оливия Ленд? Маленькая девочка, ее похитили тут неподалеку тридцать четыре года назад?

— Шпулька, — произнесла Бинки, все о своем. — Совсем котенок.

— Семья Ленд, — не отступал Джексон, — вы их не знали? Отец преподавал математику в Святом Иоанне, у них было четыре девочки.

Исчезновение ребенка с соседней улицы обычно не забывается.

— А, так вы о *тех* девочках. Дикие были дети, страшно распущенные. По-моему, детей не должно быть ни видно, ни слышно. М-да, такие семьи получают по заслугам.

У Джексона было несколько вариантов ответа на это замечание, но он все же предпочел оставить их при себе.

— Более того, — продолжала Бинки, — он же был сын Освальда Ленда, так называемого героя-полярника, и могу вас уверить, папаша его был совершенный шарлатан.

— Вы не помните, не околачивался ли здесь кто нездешний, какой-нибудь незнакомец?

— Нет. От полицейских спасу не было, ходили из дома в дом, задавали вопросы. Вы не поверите, они обыскали даже мой сад. Но я-то их быстро выпроводила вшаей, уж не сомневайтесь. Очень она была странная.

— Кто была странная? Миссис Ленд?

— Нет, старшая дочь, длинноногая дылда.

— Почему странная?

— Проньра. Они же лазили ко мне в сад, кричали всякие гадости, обрывали мои чудесные яблони. Такой был чудэсный (чудесный) садик.

Джексон оглядел яблони, шишковатые и древние, как сама Бинки Рейн.

— Сильвия?

— Да, так ее звали.

Джексон вышел от Бинки через заднюю калитку в саду. Он никогда не ходил этим путем и очень удивился, очутившись на тропинке, по другую сторону которой был сад Виктора. Он и не представлял, насколько близко их участки. Джексон стоял всего в паре ярдов от того места, где когда-то была натянута роковая палатка. Может быть, кто-то перелез через стену, прямо здесь, и вырвал Оливию из объятий сна? И сбежал тем же путем? Сложно ли вскарабкаться на стену с трехлетним ребенком на плече? Джексон бы сделал это на раз. Стена была покрыта плющом — есть за что уцепиться и куда поставить ногу. Но так забираться в сад стал бы только посторонний, а тогда почему собака в ту ночь не лаяла? Плут. По словам Амелии и Джулии, Плут обязательно бы залаял, — выходит, пес знал похитителя. Итак, на кого бы пес не стал лаять?

Он потянул за плющ и обнаружил в стене калитку, точь-в-точь как в саду у Бинки. Ему вспомнился «Тайный сад»,^[52] они с Марли смотрели его на видео, дочка была в восторге. Никому никуда не пришлось бы карабкаться, в сад можно было просто войти. Или не так: не кто-то вошел, а потом вышел с Оливией — а кто-то вышел с ней и вернулся обратно уже без нее. Виктор? Розмари Ленд?

Когда они подъехали к дому Дэвида Ластингема, Марли уже клевала носом. Будет ли он когда-нибудь называть этот дом домом Дэвида и Джози? (Нет.) Возбуждение Марли, подпитанное избытком сахара, давно сменилось раздражительностью. Она вся была в семенах травы и кошачьей шерсти, теперь Джози устроит ему разнос. Джексон предложил Марли переночевать у него, по крайней мере так он бы ее отмыл, но она отказалась, потому что «утром мы идем по ягоды».

— По ягоды? — переспросил Джексон, звоня в дверь Дэвида Ластингема. Ему представились охотники-собиратели и крестьяне.

— Мама будет варить варенье.

— Варенье? Твоя мать?

Рожденная заново жена, мать-крестьянка, варящая варенье, вышла из кухни, облизывая пальцы. Та самая женщина, которой раньше решительно некогда было готовить — как исландской королеве — и которая теперь коротала вечера, делая домашние запеканки и небрежно смешивая салаты для своей новой, воссозданной семьи. Просто не верилось, что это та самая женщина, которая делала ему минет, пока он вел машину, которая наваливалась на него на любой подвернувшейся поверхности со стоном: «Ну же, Джексон, давай скорее», которая прижималась к нему во сне и каждое утро просыпалась со словами: «Я все еще тебя люблю», словно радуясь тому, что ночь не украла ее чувств к нему. Пока однажды утром, три года спустя после рождения Марли, она, проснувшись, не сказала ничего.

— Ты опоздал, — заявила она. — Где вы были?

— Мы ездили в гости к ведьме, — сообщила Марли.

Le chat noir. Les chats noirs. У chats во французском есть род? Можно сказать une chatte?^[53]

— *Bonsoir, Jackson*, — приветствовала его Джоан Доддс, с ударением скорее на *soir*, нежели на *bon*. Она презирала людей, которые опаздывали.

— *Bonsoir, Jackson*, — хором повторил класс, пока Джексон робко пробирался на свое место.

— *Vous etes en retard, comme toutes les semaines*, — сказала Джоан Доддс.

У миссис Доддс, школьной учительницы на пенсии, характер был такой, что плетку в руки и прямоком в «доминаторин». Было время, когда женщины в жизни Джексона стремились сделать его счастливым. Теперь же они вечно были им недовольны. Джексон чувствовал себя маленьким непослушным мальчиком.

— *Je suis desole*,^[54] — ответил он. Ох уж эти французы, простое «извините», а до чего надрывно и жалко звучит.

В «Неге» Джексон показал Миланде свое удостоверение и попросил разрешения осмотреть место, где была убита Лора Уайр. «Жуть», — лаконично прокомментировала она. В переговорной, как и сказал Тео, теперь была подсобка. Тележку с лаком для ногтей передвинули, она больше не служила Лоре кенотафом^[55] и не закрывала кровавое пятно на голом полу — блеклое, но так и не отмытое.

— Фигасе, — произнесла Миланда, выйдя из привычного ступора. —

Я думала, это краска или типа того. Какая мерзость.

Когда он уже был в дверях, она добавила:

— Ее призрак здесь не является. Я бы знала. Я — ясновидящая, я бы почувствовала.

— В самом деле? — отозвался Джексон.

В ее одаренности приходилось сомневаться.

— Точно, седьмая дочь седьмой дочери, — заверила Миланда.

И Джексон подумал о том, как в деревнях часты близкородственные браки, а Миланда устремила на него свои младенчески голубые глаза, — такого дивного, небывалого цвета, что он додумался: линзы, — и сказала:

— Вот вы, например.

— А что со мной?

— Черные кошки приносят вам удачу, — изрекла Миланда.

И Джексон почувствовал разочарование, потому что на одно волнующее мгновение поверил, что она действительно сейчас что-нибудь напороочит.

— «Не ворчите, мистер Броуди», — передразнила Амелия. — Что ты о себе возомнила? — (Она поцеловала его! Правда поцеловала!) — Странно, что ты не разделась посреди улицы.

— Бьюсь об заклад, Милли, ты ревнуешь! — расхохоталась (жестко) Джулия. — Что бы сказал Генри, если бы узнал?

— Джулия, заткнись.

Амелия чувствовала, что вскипает, и прибавила шаг, чтобы оказаться от сестры подальше. Джулии приходилось чуть ли — не бежать, у нее началась одышка. «При сенной лихорадке так много курить — надо быть чокнутой», — подумала Амелия. Ей было ничуть не жаль сестру.

— Нам обязательно идти так быстро? У тебя же ноги намного длиннее, чем у меня.

Они шли по Сент-Эндрюс-стрит, приближаясь к девушке, сидевшей на мостовой, на старой простыне. Рядом растянулась собака, какая-то помесь борзой.

Джексон даже бровью не повел, когда она назвала его английским пойнтером, но, когда Джулия сравнила его с немецкой овчаркой, он прямо-таки засиял от удовольствия. Джулия попала в яблочко — он не доберман, не ротвейлер и никакой не пойнтер, он немецкая овчарка до мозга костей. Амелия солгала Джексону, ну, не то чтобы солгала, но намекнула, что она оксфордский дон, когда в действительности она рядовой преподаватель на факультете профессионального образования, обучает «коммуникативным навыкам» (что за нелепое название) кровельщиков, каменщиков и тому подобный сброд. Она хотела бы испытывать симпатию к этим парням, считать их хорошими людьми — может, немного чересчур буйными, но в душе порядочными, — но они не были хорошими, они были маленькими говнюками, которые пропускали все ее слова мимо ушей.

Джулия, конечно, тут же прилипла к бродяжкиной собаке, а это означало, что одной из них придется дать девушке денег, — нельзя ведь пообниматься с собакой и потом просто отчалить. Джулия стояла на коленях на тротуаре, подставив псине лицо. Амелия предпочла бы, чтобы она этого не делала, никогда не знаешь, где побывал этот собачий язык, — точнее, знаешь, и именно поэтому лучше, чтобы лицо им тебе не

облизывали.

У девушки были желтые, даже канареечные, волосы и нездоровый, желтушный цвет лица. Раньше Амелия часто подавала нищим и покупала «Важную тему»,^[56] но теперь стала осмотрительней. Однажды она столкнулась со своей студенткой, которая попрошайничала на оксфордской Хай-стрит. Амелия точно знала, что та девушка — Лиза, парикмахерша, повышавшая квалификацию, — благополучно жила дома с родителями, а сидевшая с ней собака (у них же всегда собаки) — домашний питомец. Кроме того, общеизвестно, что многие попрошайки на самом деле вовсе не бездомные, а у некоторых даже есть машины. Это действительно общеизвестно? Откуда она об этом узнала? Скорее всего, из «Сан»,^[57] эти кровельщики вечно оставляют после себя ворохи «Сан».

— Вы не поможете мне? — спросила девушка.

— Нет, — сказала Амелия.

— Милли, ради бога. — Джулия бросила лизаться с собакой и принялась рыться в сумочке в поисках кошелька. — От сумы да от тюрьмы — сама знаешь.

Джулия вытащила пятифунтовую банкноту — вообще-то, эту пятерку она заняла у Амелии — и протянула девушке, которая взяла деньги с таким видом, будто делала Джулии одолжение. Дело было вовсе не в деньгах, не денег она просила. Она попросила Амелию помочь, и Амелия отказала. Потому что не могла ей помочь, не могла помочь никому. И меньше всего самой себе.

— Она потратит их на наркотики, — сказала она Джулии, когда они отошли подальше.

— Пусть тратит на что хочет. Кстати, наркотики — не такая уж плохая идея. Если бы я была в ее положении, то тратила бы деньги исключительно на наркоту.

— Она из-за наркотиков в таком положении и оказалась.

— Откуда ты знаешь. Тебе ничего о ней не известно.

— Мне известно, что она клянчит деньги у тех, кто зарабатывает их потом и кровью.

Дожили, на старости лет превратилась в фашистку. Скоро она начнет требовать, чтобы вернули виселицы и публичную порку, ну, может, не порку, но смертную казнь — точно. В конце концов, почему бы и нет? В мире и без того перенаселение, а отморозки, которые мучают детей и животных и мачетят невинных, — они только место занимают. «Отморозки» — словечко из пролетарской «Сан». Если и дальше

продолжать в том же духе, пора отписываться от «Гардиан».^[58]

— Можно сказать «мачетить»? — спросила она у Джулии.

— Думаю, нет.

Ну все, конец, она стала обращаться с английским языком как американцы. Цивилизация скоро падет.

Они остановились перед забегаловкой с бургерами, кишашей студентами языковых школ. Амелия испустила страдальческий стон. Если эти иностранцы и пополняют свой словарный запас в Кембридже, то исключительно непристойностями и разновидностями фастфуда.

В Лондоне Джулия часто делала контрольные закупки для одного агентства — проверяла качество обслуживания в бургерных, пиццериях, популярных магазинах одежды и крупных аптечных сетях. Для нее это было практически равно актерству, а в качестве бонуса она обычно оставляла себе покупки или ела заказанную еду. В агентстве очень обрадовались, что она оказалась в Кембридже, у них как раз там сейчас не хватало сотрудника.

— Так, — Джулия сверилась с бумажкой, — нам нужно заказать один гамбургер с жареной картошкой и один бургер «цыпадрип» без картошки, большую колу, банановый молочный коктейль и клубничную шугу.

— А это последнее — что?

— Мороженое. Типа.

— Я не буду заказывать «цыпадрип», — заявила Амелия. — Даже чтобы спасти тебе жизнь, я бы не стала такое говорить вслух.

— Еще как стала бы. Не переживай, я сама все закажу. Едим, кстати, здесь, а не с собой.

— И вообще, нет такого слова.

— Мы же не с филологической точки зрения еду оцениваем. Мы проверяем уровень обслуживания.

— Можно мне просто кофе?

— Нет.

Джулия снова расчихалась. Амелии всегда было неловко, когда сестра раздражалась серией неудержимых, оглушительных, как пушечные залпы, «апчхи». Амелия однажды услышала от кого-то, что по тому, как женщина чихает, можно угадать, какой у нее будет оргазм. (Как будто это кому-нибудь интересно.) Даже вспоминать об этом было неприятно. На случай, если это общеизвестный факт, Амелия зареклась чихать прилюдно.

— Ради бога, выпей еще зиртека, — сердито сказала она.

В подобных местах Амелии всегда было крайне неудобно. Она

чувствовала себя старухой и снобкой — неприятно, даже если и правда. Джулия же, истинный хамелеон, моментально приспособилась к любым обстоятельствам; в настоящий момент она выкрикивала свой заказ прыщавому юнцу за прилавком (они хоть руки-то моют?), изображая эссекский акцент, который она, вероятно, считала плебейским, но который совершенно не вязался с ее нарядом. На Джулии было очень странное пальто, словно с рисунка Бердсли.^[59] Амелия только сейчас его рассмотрела. Такое яркое, что потерять Джулию из виду не представлялось возможным в принципе, разве что она улеглась бы на холм, покрытый зеленой летней травой, и тогда стала бы невидимой. Когда Оливия стала невидимой, на ней была хлопчатобумажная ночная рубашка, которую в свое время носили все они. Изначально ночнушка была розовая, но Оливии досталась уже застиранной и бесцветной. Амелия видела ясно как день, как она залезает в палатку в этой застиранной рубашке и розовых тапочках-кроликах, прижимая к груди Голубого Мышонка.

Пальто было Джулии велико. Пока она маневрировала с подносом в толчее иностранных студентов, распахнувшиеся зеленые полы волочились следом. Амелия бросала во все стороны резкое «извините-простите», но толку от этого было мало: расчистить проход удавалось только локтями.

Когда они наконец добрались до свободного столика, Джулия со вкусом вгрызлась в бургер:

— Ням, мясо.

— Ты уверена? — поинтересовалась Амелия. Ее бы вырвало, возьми она что-то из этого в рот.

— Это точно мясо. А вот какого животного — другой вопрос. Или из какой части животного. Вон мы бычьи хвосты же ели, и ничего.

— Целое поколение детей вырастет, называя курицу «цыпадрипом».

— Есть вещи похуже.

— Например?

— Метеориты.

— Возможность столкновения Земли с метеоритом не означает, что мы должны примириться с американизацией нашего языка и культуры.

— Ой, Милли, заткнись, я тебя умоляю.

Джулия проглотила «цыпадрип», но клубничная шуга оказалась не под силу даже ей. Амелия с сомнением понюхала молочный коктейль. На вкус он был совершенно ненатуральный, как будто его сделали в лаборатории.

— Здесь одна химия.

— Везде одна химия.

— Разве?

— Ладно, — оборвала ее Джулия, — хватит болтать, принимаемся за работу, — Она достала анкету и ручку. — «Продавец с вами поздоровался?» Да уж наверняка.

— Почему ты не наденешь очки? Ты же без них ничего не видишь.

— «Что сказал продавец?»

— Джулия, ты безнадежна.

— По-моему, он сказал: «Мэм? Добрый день?» Видимо, австралиец.

— Не знаю, не обратила внимания. Джулия...

— Они все австралийцы. Вся британская рабочая сила из Австралии.

— Джулия... Джулия, послушай меня, когда Виктор проверял твои задания по математике у себя в кабинете, он ничего такого не делал? Не приставал к тебе?

— Как думаешь, в Австралии за них кто работает? Давай, Милли, нужно покончить с этим. Итак. «Улыбнулся ли вам продавец?» Он нам улыбнулся? Черт, я и не помню.

Джексон считал ее глупой, это ясно, глупой женщиной. Как же ее раздражала эта его мужская суровость — он из тех мужчин, которые считают, что женщины в плену у своего месячного цикла, шоколада и котят (ну чем не Джулия?), а Амелия вовсе не такая. Ну, если не считать котят. Она хотела, чтобы он думая о ней лучше, она хотела ему нравиться. *О-ля-ля, такой серьезный вид, мистер Би, прямо агент секретной службы.* Джулия так предсказуема со всеми своими «о-ля-ля».

— Чай будешь? — спросила она Джулию, когда та забрела в кухню с пустым бокалом в руке.

— Нет. Хочу еще джина.

Джулия принялась шарить по шкафам в поисках чего-нибудь съедобного. Она всегда так много пила? Она пьет в одиночку? А почему это хуже, чем пить в компании?

Джулия ему понравилась, ну конечно, Джулия нравится всем мужчинам, и неудивительно, ведь она предлагает им себя на блюдечке. Джулия однажды сказала ей, что обожает делать минет (без сомнения, именно поэтому она и красилась такой яркой помадой), и Амелия с болью представила, как Джулия стоит на коленях перед Джексонном и... — ей хотелось сказать «отсасывает у него», но это слово никак не произносилось у нее в голове, слишком уж грубое, а «феллирует» звучало по-идиотски. Амелии не хотелось быть ханжой, она чувствовала себя так, точно сбилась с дороги и оказалась не в том поколении. Ей куда больше подошла бы эпоха, когда были классы и правила, когда расстегнутая пуговица на

перчатке говорила о распущенности. Ее бы прекрасно устроило пуританское общество. Она слишком много читала Джеймса и Уортон.^[60] Герои Эдит Уортон маются в своем мире, а Амелия отлично бы в нем прижилась. Если на то пошло, она бы с радостью поселилась в любом романе, написанном до Второй мировой войны.

Она слышала, как наверху набирается в ванну вода (на это требовалась целая вечность). Джулия возьмет с собой джин (и, вероятно, косячок) и заляжет там часа на три. Интересно, каково это — потакать малейшим своим прихотям. Джулия отщипнула от буханки кусок и запихнула в рот. Почему она не может взять нож и отрезать? Как ей удастся даже хлеб жевать сексуально? Амелии хотелось забыть эту картину, как Джулия делает Джексону — скажи это — минет. Она никогда не делала никому минета, но она в жизни бы не призналась в этом Джулии, та бы сразу начала трещать про «Генри» и его сексуальные потребности. Ха!

— Точно не хочешь выпить? — Джулия помахала бутылкой джина. — Помогает расслабиться.

— Спасибо, я не хочу расслабляться.

Как это с ней случилось? Она никогда не хотела становиться такой.

Амелия не могла взять в толк, каким образом «способности к литературе» обернулись преподаванием «коммуникационных навыков». В шестом классе она подала документы в Окебридж, она хотела показать учителям и Виктору — в особенности Виктору, — что не так уж и глупа. Учителя были настроены скептически и совсем не помогали ей готовиться. Амелия выполнила вступительные задания кое-как, с трудом продравшись сквозь вопросы по «Королеве фей» и «Дунсиаде»^[61] — ни первую, ни вторую она не читала — и абсурдные темы для сочинений. «Представьте, что вы предлагаете изобрести колесо» — вот бы дать такую тему кровельщикам и каменщикам. Они бы приплели туда секс, это уж точно, они всюду приплетают секс. То ли нарочно, чтобы ее смутить (пятый десяток, а все краснеет — скандал), то ли у них действительно один секс на уме.

К удивлению Амелии, ее пригласили на собеседование в Ньюнхем. Далеко не сразу она поняла, что это Виктор, скорее всего, подергал за ниточки или в колледже узнали фамилию Ленд и решили оказать любезность. Она мечтала поступить в Ньюнхем, сколько себя помнила. В детстве они часто рассматривали ньюнхемский сад сквозь решетку ограды, и она всегда представляла, что вот так выглядит рай. В рай она, понятно, не

верила. И в религию тоже. Но это не значит, что она не хотела верить в рай.

Перед собеседованием она представляла, как гуляет по этим, как две капли воды похожим друг на друга, садам, любителю цветущими изгородями, обсуждает с новой, настоящей подругой «Миддлмарч»^[62] и «Войну и мир», или катается на лодке в компании красивого, но бездарного студента-медика, или просто наслаждается всеобщим вниманием: «Ой, смотри, Амелия Ленд, пойдём поболтаем с ней, она такая интересная» (или «с ней так весело», или «она такая хорошенькая», или даже «она такая оригиналка»), но всему этому не суждено было сбыться. Собеседование в Ньюхеме оказалось сплошным унижением — комиссия была к ней добра, даже чересчур внимательна, словно Амелия нездорова или инвалид, но они задавали ей вопросы о произведениях и авторах, о которых она никогда не слышала, хуже, чем Спенсер и Поуп: к примеру, «История Расселаса, принца Абиссинского»^[63] и «Последнему, что и первому» Рёскина.^[64] Но Амелия считала литературой совсем другие книги — толстые романы («Миддлмарч» и «Война и мир», да), в которые можно уйти с головой и влюбиться. Так она очутилась в захолустном второсортном университете без претензий на элитарность. Зато там можно было вволю писать длинные сочинения о своем нежном романе с «Миддлмарчем» и «Войной и миром».

Вернулась Джулия и плеснула себе еще джина. Она действовала Амелии на нервы.

— Я думала, что ты в ванной, — раздраженно сказала Амелия.

— Я в ванной. Какая муха тебя укусила?

— Никто меня не кусал.

Амелия взяла чай в гостиную и включила телевизор. Сэмми залез к ней на диван. Показывали какое-то реалити-шоу со знаменитостями. Она не узнавала никого из знаменитостей и не находила ничего реалистичного в устраиваемых ими драмах. Ей не хотелось идти в постель, не хотелось спать в холодной комнате Сильвии, где в окно падал свет уличного фонаря, а по стенам с крыши ползла сырость. Может, перебраться в комнату для гостей? Насколько Амелии было известно, там никто никогда не спал. Или мать проклянет ее из могилы? Если бы их мать стала привидением — хотя Амелия, разумеется, не верила в привидения, — она поселилась бы именно в гостевой спальне. Она представила, как мать лежит на узкой кровати, на белом покрывале, давно покрывшемся пятнами плесени, коротает дни, листая журналы, поглощает шоколадные конфеты и бросает фантики на пол, навеки освободившись от домашних хлопот. А может, поспать у

Оливии? Получится ли? Сможет ли она лежать в маленькой кровати, смотреть на свисающие клочьями обои с героями детских стишков и не умирать от тоски?

Кто же забрал Оливию? Может, это Виктор в ночи прокрался по лужайке и выгреб ее из палатки своими ручищами-лопатами, пока Амелия спада? Ее собственный отец? Почему бы и нет, такое ведь случается сплошь и рядом. А Голубого Мышонка оставил себе в качестве ужасного сувенира? Или этому есть более невинное объяснение? (Но какое?)

Они всегда утешались мыслью, что Оливия не умерла, а живет где-нибудь в другом месте, другой жизнью. За долгие годы они втроем сочинили целую легенду о том, как Оливию похитила в ночи сказочная незнакомка вроде Снежной королевы, только добрая и заботливая — и из королевства с более умеренным климатом. Она страстно мечтает о дочери и выбрала Оливию, потому что та была во всех отношениях совершенством. Эта вымышленная Оливия росла в самом наироскошнейшем раю, какой только могло создать девичье воображение: укутанная в шелка и меха, объедающаяся пирожными и конфетами, в окружении собак, котят и (почему-то) павлинов, она купалась в ванне из золота и спала на кровати из серебра. И хотя они знали, что Оливия счастлива в своей новой жизни, им верилось, что однажды ей позволят вернуться домой.

Они росли, и Оливия росла вместе с ними, и, только когда Джулия достигла полового созревания (энергии, которую вырабатывали ее гормоны, хватило бы на освещение средних размеров города), сказочная жизнь младшей сестры поблекла. И все же она настолько прочно встроилась в сознание Амелии, что ей до сих пор было трудно поверить, что Оливия, возможно, все-таки мертва, а не живет где-нибудь в аркадском домике, достигнув тридцати семи лет.

В гостиную вошла Джулия и плюхнулась на диван между Амелией и Сэмми, где для нее заведомо не было места.

— Уйди, — сказала Амелия.

Джулия вытащила плитку шоколада и отломил кусок для Амелии и еще один для собаки.

— Нет, ну, теоретически Оливия же может быть жива. — Джулия как будто подслушивала ее мысли (какой ужас). — Может быть, ее похитили люди, которые хотели ребенка и вырастили ее как свою дочь, а нас она забыла, забыла, что она — Оливия, думает, что она, например, Шарлотта...

— Шарлотта?

— Ну да. А перед смертью ее похитители рассказали ей, кто она на самом деле: «Шарлотта, ты — Оливия Ленд, ты жила на Оулстон-роуд в

Кембридже. У тебя есть три сестры: Сильвия, Амелия и Джулия».

— Как правдоподобно, Джулия.

Амелия переключала каналы, пока не наткнулась на «Вперед же, странница».^[65] И Джулия сказала:

— О! Оставь это.

— У тебя ванна переполнится.

— Милли?

— Что?

— Ты спрашивала насчет Виктора...

— Да?

— Приставал ли он ко мне когда-нибудь. Это такой глупый эвфемизм, ведь ты же хотела спросить, заставлял ли меня папочка сосать свой член, засовывал ли он пальцы мне внутрь, пока дрочил...

Это было невыносимо. Амелия сосредоточилась на трагическом лице Бетт Дэвис в телевизоре, пытаясь отгородиться от этого фонтана непристойностей.

— Как ни назови, это все равно изнасилование, — подытожила Джулия. — И раз ты спрашиваешь — нет, он этого не делал. Но пытался.

Амелии хотелось зажать уши руками, ей хотелось оглохнуть.

— Пытался? Что значит — пытался?

— Один раз он пытался засунуть руку мне в трусы, но я завизжала на весь дом. Он объяснял мне дробь, — добавила она, словно это относилось к делу.

Вот Джулия, она завизжала, а Амелия просто позволила бы ему это сделать. Только он этого не делал, он никогда не пытался ничего с ней сделать. Никогда не приставал к ней.

— Что он делал с тобой, Милли? — мягко спросила Джулия, кладя руку Амелии на плечо, как если та была бы больна или понесла тяжелую утрату.

Однажды Амелия застав его с Сильвией. Она вошла в кабинет без стука, что было строго запрещено, — наверняка опять замечталась, — и там был отец с Сильвией. С тех самых пор Амелия безуспешно пыталась забыть то, что увидела. Сильвия лицом вниз на отцовском столе, как полураспята мученица, ее тощие белые ягодицы, и Виктор — готовится...

Амелия стряхнула руку Джулии и резко сказала:

— Ничего, ничего он со мной не делал. Я бы ему никогда не позволила. Иди принимай свою ванну.

Амелия внезапно проснулась. В доме было темно и тихо, привидения не разгуливали, лишь фонарь за окном издавал негромкое электрическое жужжание. Амелия не помнила, вышла ли Джулия из ванной, и решила сходить убедиться, что сестра не утонула. Никого, только запотевшие стены и разбросанные полотенца. Джулия спала в своей постели, одеяло и простыни, как обычно, смяты и скомканы, а пуделиная грива еще мокрая. Дышала она тяжело и размеренно, но Амелия слышала бульканье у нее в груди. Из-за этих звуков легкие Джулии всегда хотелось выжать, как мочалку. Что ей делать, если Джулия умрет первая? Если она останется одна? (Сильвия не в счет.) Когда Амелия вошла в комнату, Сэмми, лежавший на сестриной кровати, проснулся и завилял хвостом. Амелия поправила одеяло, и пес неуклюже сполз на пол и вышел следом за ней.

Возвращаясь к себе, Амелия задержалась перед дверью в спальню Оливии. Сэмми вопросительно посмотрел на нее, и она повернула ручку и вошла. Сквозь грязное окно проникал рассеянный лунный свет. Она легла на маленькую кровать и уставилась в потолок. Сэмми со стоном плюхнулся на пол.

В последний день своей жизни Оливия проснулась в этой постели, посмотрела на эти стены. Умерла бы она, если бы спала здесь, а не в палатке? Если бы только Амелия могла повернуть время вспять, занять место Оливии, помешать злым людям забрать ее. Ну почему они не выбрали Амелию?

В руке у девочки был зажат кулек с конфетами едкого цвета — скорее всего, одни химикаты да Е-добавки. Она угостила Тео, и тот из вежливости взял. У конфеты был легкий привкус то ли бензина, то ли горючего для зажигалок. Растущим костям и мозгам такая еда не на пользу. Тео никогда не покупал конфет, несмотря на свою любовь к шоколаду: ему не нравилось, что в магазине на него смотрят с осуждением, как бы намекая, что толстякам вообще не положено есть, не говоря уж о сладостях. Поэтому Тео вступил в интернете в «дегустационный клуб»: каждый месяц шоколадная фабрика присылала ему на пробу новые конфеты, а он взамен писал отзыв («ореховое пралине подчеркивает восхитительно нежный вкус»). Правда, эта странная домашняя работа несколько тяготила его. Но таким способом он ограничивал себя в шоколаде — только одна коробочка восхитительно нежного вкуса в месяц.

На самом деле ему было плевать на холестерин и давление, он был бы счастлив умереть от инсульта или сердечного приступа. «От инсульта не всегда умирают, папа, — раздраженно писала Дженнифер из Торонто по электронной почте. — Чаще всего он приводит к параличу. Ты этого хочешь?» Возможно, она боялась, что ей придется ухаживать за отцом, но он никогда не стал бы ее об этом просить, для Тео отношения между детьми и родителями были как игра в одни ворота: ты отдаешь им всю свою любовь, но они не обязаны возвращать ни пенса. Зато если дети тебя любят, это как глазурь на торте, да еще и вишенка в придачу. И шоколадная стружка, и серебристые бусинки, от которых пломбы вылетают. Лоре они очень нравились. Тео всегда украшал торты. Торты, пирожные, булочки — после смерти Валери он научился делать все, стал готовить куда лучше, чем жена.

Он нанял женщину, которая дважды в неделю приходила убираться, и девушку-студентку, чтобы она забирала дочерей из школы и присматривала за ними, пока он на работе. Все остальное он делал сам: занимался домом и детьми, ходил на родительские собрания, возил дочерей на дни рожденья к друзьям, устраивал их дни рожденья дома. Матери других детей относились к нему как к почетной женщине и говорили, что он мог бы стать отличной женой. Тео считал это комплиментом.

Девочка сказала, что ей восемь лет, но одета она была скорее как подросток. Обычное дело. Раньше детей тоже одевали как маленьких взрослых, так что ничего нового в этом нет. Когда Лоре было восемь, она носила комбинезоны и джинсы, а на выход — красивые платья. Валери назвала бы их «платьицами». Белые носочки по щиколотку, сандалии, футболки и шорты. Он покупал Лоре новую одежду, никогда не заставлял донашивать вещи за Дженнифер. Многие считали, что Тео балует дочек, но добротой ребенка не испортишь. Пренебрежением — да, но не любовью. Нужно отдавать им всю свою любовь, без остатка, даже если это может причинить тебе боль, страдание и ужас. В конце концов любовь уничтожит вас. Потому что дети уходят, покидают родителей ради университетов и мужей, уезжают в Канаду и умирают.

От второй конфеты Тео отказался.

— Вежливые люди угощают всех, — сказала девочке Дебора Арнольд.

Та довольно неохотно, как показалось Тео, сползла со стула, подошла к Деборе и, не говоря ни слова, протянула ей кулек с конфетами. Дебора взяла три. Почему-то эта женщина вызывала у него восхищение. Пусть и пополам с ужасом.

— Кем вы работаете? — спросила у него девочка.

— Я на пенсии, — ответил Тео. Интересно, она знает, что такое пенсия?

— Потому что вы старый. — Она с умным видом кивнула.

— Да, потому что я старый, — согласился Тео.

— Мой папа тоже скоро уйдет на пенсию, — сообщила девочка. — Он будет жить во Франции.

Дебора Арнольд презрительно хохотнула.

— Во Франции? — переспросил Тео. Он почему-то не мог представить Джексона во Франции, — А ты там была?

— Да, на каникулах. Там едят дроздов.

— О боже! — вздохнула Дебора Арнольд. И добавила: — Вам обоим нечего здесь делать.

Как будто они несли ответственность за французскую привычку поедать невинных пташек.

— Я просто хотел переговорить с мистером Броуди, узнать, как продвигается расследование, — сконфуженно произнес Тео.

У Деборы Арнольд дел, казалось, невпроворот: она печатала, раскладывала бумаги по панкам и снимала копии как одержимая. Неужели у Джексона Броуди правда столько клиентов? Слишком у него расслабленный вид, чтобы помощница так зашивалась. Она называла себя

помощницей, он называл ее секретаршей.

— Значит, мистер Броуди отлучился по другому делу? — поинтересовался Тео, чтобы поддержать разговор.

Дебора с жалостью посмотрела на него поверх очков, словно не могла поверить, что нашелся простофиля, который считает, что Джексон действительно работает. Через пять минут она сообщила:

— Он у дантиста. Снова.

— Папе нравится докторша, — заявила девочка, забрасывая очередную конфету в рот и без того набитый.

Как грустно, что такие маленькие девочки знают о том, что значит «нравиться», вообще знают о сексе. А может, это вовсе не так, и они всего лишь знают слова. Хотя эта Марли кажется развитой не по годам, точно ей не восемь, а восемнадцать. Не то что его восемнадцатилетняя дочь (а Лоре всегда будет восемнадцать): от нее веяло свежестью, невинностью, она вся лучилась внутренним светом. Джексон никогда не говорил, что у него есть дочь, ну так ведь об этом не трубят всем и каждому, верно? Банковские служащие и водители автобусов не сообщают ни с того ни с сего: «Кстати, у меня есть дочь».

— У вас есть дети? — спросила Марли.

— Да, — ответил Тео. — У меня есть дочь, ее зовут Дженни, она живет в Канаде. Она уже взрослая.

Конечно, он считал, что предаст Лору, и всякий раз, отвечая на вопрос о детях, ждал петушиного крика, но кто бы захотел услышать «Да, у меня две дочери, одна в полном порядке и живет в Торонто, а вторая — мертва и лежит в могиле»?

— А внуки?

— Нет.

Дженнифер с мужем Аланом, добродушным ньюйоркским евреем, кардиохирургом, решили не заводить детей, и Тео считал бестактным расспрашивать ее о причинах. Разумеется, у Дженнифер хорошая работа — она консультирующий врач-ортопед, — налаженная жизнь, красивый дом в пригороде, на озере Онтарио, — «коттедж», как торонтцы изящно именуют свои огромные дома на побережье. Однажды Тео провел у них лето. С трех сторон окруженный деревьями, дом по ночам был самым тихим и темным местом на свете, лишь светлячки в крошечной тьме всю ночь танцевали за окном. Прекрасное место: можно кататься на каноэ по озеру, ходить в походы по древним лесам, каждый день устраивать барбекю на террасе с видом на воду — настоящий рай для детей. Конечно, нельзя скучать по тому, чего никогда не имел. Но, раз познав счастье, будешь скучать по нему

всегда. Может, Дженнифер просто благоразумна. Не имея ребенка, нельзя его потерять.

— Вам грустно?

— Нет. Да. Иногда, немного. (Очень грустно, всегда.)

— Возьмите еще конфету.

— Спасибо.

Прошло десять лет, и Тео вдруг потерял терпение. Десять лет он копил улики, по крупицам собирал информацию — теперь он хотел знать. Джексон увез с собой все досье его клиентов, загрузив багажник и все заднее сиденье бесконечными коробками с историями чужих жизней: разводами, покупками недвижимости, завещаниями. Разглядел ли Джексон что-нибудь новое в этом скопище данных, подобно ясновидцу вроде тех, к которым обращался Тео? Даже полиция тогда прибегла к услугам ясновидца, но его толком не ввели в курс дела, и он подумал, что ищут тело, а тело у них уже было. Ясновидец сказал, что тело девочки «в саду, неподалеку от реки», что сужало район поисков до половины Кембриджа, если бы кто-то собирался ее искать, а никто не собирался. Сколько девочек, не тронутых плугом, не замеченных прохожими, можно было бы так найти? Если бы только девочек можно было где-нибудь запереть: в башнях, подземельях, монастырях, в их собственных комнатах — где угодно, лишь бы им ничто не угрожало.

Он постоянно проходил мимо одной девушки. Иногда на Риджент-стрит, чаще на Сидней-стрит, а еще он видел ее в Графтон-центре: она сидела на старой простыне, завернувшись в одеяло. «Нищенка» — какой-то анахроничный персонаж, из восемнадцатого века. Сегодня утром она была на Сент-Эндрюс-стрит, и Тео дал ей пять фунтов — выскреб мелочь из всех карманов.

У девушки вид был нездоровый, а вот собака ее всегда была выхоленной — красивая борзая с блестящей черной шерстью, молодой еще пес. У нищенки были желтые волосы цвета яичного крема, коротко и клочковато остриженные, и, похоже, ей никто не подавал; может быть, потому, что она никогда не просила, никогда не заглядывала в глаза и не выкрикивала приветствий, чтобы поднять прохожим настроение и обратить на себя внимание. А может, просто она выглядела так, что все думали: «Уж эта точно все спустит на наркотики». Тео не сомневался, что прежде она купит еду своему псу. Тео всегда давал ей денег, но чувствовал, что этого недостаточно: надо бы накормить ее, найти ей комнату, спросить, как зовут, сделать хоть что-нибудь, прежде чем она ускользнет бесследно, — но никак

не мог решиться, боялся, что любой интерес с его стороны будет неправильно понят и она огрызнется: «Отвали, дедуля, извращенец старый».

— Твой отец знает, что ты здесь? — спросила у Марли Дебора Арнольд.

— Мама оставила ему сообщение на мобильнике.

— Мне нужно уйти ненадолго. Почту отправить. — Последняя реплика предназначалась Тео, и он удивился, с чего бы это его касалось. — Можете за ней присмотреть? — спросила Дебора, кивая на Марли, и Тео захотелось возразить: «Но я для вас совершенно незнакомый человек, откуда вы знаете, что я не сделаю с ней ничего ужасного?» Неправильно истолковав его молчание, Дебора добавила: — Всего минут пятнадцать или пока босс не вернется.

Марли залезла к нему на колени и обняла за шею:

— Пожалуйста, пожалуйста, вы же такой добрый, ну, скажите «да».

И Тео подумал: как же так, неужели никто не говорил ей, что надо быть осторожнее с незнакомцами?

Пусть он и выглядит как Санта-Клаус, но это не значит, что он — добрый. Хотя он и правда добрый. Но Дебора Арнольд уже выскочила за дверь и зацокала каблуками по лестнице.

— Папочка скоро вернется, — уверила его Марли.

«Папочка». От этого слова у него комок подкатил к горлу. Вторым любимым фильмом Лоры, после «Грязных танцев», были «Дети дороги», [66] он купил кассету за пару лет до ее смерти. Они смотрели фильм вместе несколько раз и всегда оба плакали в конце, когда поезд останавливается, медленно рассеиваются пар с дымом и появляется фигура отца Бобби, а Дженни Эгаттер (так похожа на Лору в детстве) кричит: «Папочка, папочка!» — странно, ведь для Бобби это счастливый момент, но вместе с тем и невыносимо грустный. Конечно же, он не смотрел этот фильм после гибели Лоры, его бы это убило. Тео не сомневался, что, когда умрет, воссоединится с Лорой, и он представлял себе сцену из «Детей дороги»: он выйдет из тумана, и она увидит его и скажет: «Папочка, папочка». Не то чтобы Тео верил в религию, или в Бога, или в загробную жизнь, он просто знал, что такая большая любовь не имеет конца.

Марли расправилась с конфетами и заскучала. Они сыграли в крестики-нолики, она уже знала эту игру, и в виселицу, которую она не знала, поэтому Тео ее научил, но теперь она проголодалась и начала

хныкать. Из окон Джексонова офиса на втором этаже открывался дразнящий вид на закусную.

— Умираю от голода, — мелодраматично заявила она, скрючиваясь пополам и намекая на спазмы в пустом желудке.

Может быть, Дебора Арнольд вовсе не собиралась возвращаться. Может быть, Джексон тоже не собирался возвращаться, может, он не получил сообщения насчет дочери. Может быть, у него непереносимость зубного наркоза и он от этого умер или он возвращался от дантиста и его сбила машина.

Тео решил, что вполне может оставить Марли одну и сходить через улицу купить им обоим перекусить. Это займет самое большее сколько, минут десять? Что может с ней случиться за десять минут? Глупый вопрос. Тео отлично знал, что может случиться за десять минут: самолет над городом может взорваться или врезаться в здание, поезд может сойти с рельсов, в офис может вбежать маньяк в желтом свитере для гольфа, размахивая ножом. Оставить ее одну — да как ему такое взбрело в голову! В его списке опасных мест офисы обгоняли самолеты, горы и школы.

— Тогда пошли, — сказал он, — сбегает через дорогу и купим по сэндвичу.

— А если папа вернется, а нас нет?

Тео был тронут этим «нас».

— Ну, мы оставим ему записку на двери.

— Буду через десять минут, — сказала Марли. — Папочка всегда так пишет.

Естественно, все оказалось не так просто. Было три часа дня, забегаловка уже закрывалась, и из сэндвичей остались только яйца с майонезом и ростбиф с хреном — Марли живописно изобразила рвотный позыв. На улице она сунула свою маленькую сухую ручку в его ладонь, и он ободряюще ее сжал. Внезапно девочка оживилась, заметив бургерную на другой стороне улицы, и потащила Тео за собой. Он тут же вспомнил о «коровьем бешенстве», но отогнал от себя эти мысли, — в конце концов, Марли хотела нечто под названием «цыпадрип», то есть из курицы, а не из бешеной коровы, но опять же, какую часть курицы они туда кладут и не умерла ли эта курица от старости? И чем эту курицу кормили? Скорее всего, бешеной коровой.

Он купил ей «цыпадрип» («с картошкой, пожалуйста») и кока-колу. Для фастфуда все было довольно медленно. Интересно, проверяют ли в таких местах качество обслуживания, подумал Тео. За кассой стояли

совсем дети. Австралийские дети, если быть точным.

Прошло куда больше десяти минут. Если Джексон вернулся, то уже, наверное, отправил за ними поисковый отряд. Будто материализовавшаяся мысль, из толпы пихающихся иностранных студентов возник Джексон Броуди. Вид у него был диковатый, и он так резко схватил Марли за локоть, что та возмущенно запищала:

— Папа, осторожнее, у меня кока-кола!

— Где ты была? — заорал на нее Джексон.

Тео достался свирепый взгляд. Что за наглость, он всего лишь присматривал за девочкой — в отличие от ее родителей.

— Я работаю няней, — объяснил Тео Джексону, — а не похитителем детей.

— Верно, — сказал тот, — конечно. Извините, я волновался.

— Тео со мной посидел, — сказала Марли, откусив одним махом полбургера: — И картошку мне купил. Он мне нравится.

Когда Тео шел обратно по Сент-Эндрюс-стрит, девушки с волосами цвета яичного крема уже не было, и он испугался, что она никогда больше там не появится. Потому что это всегда так: сейчас ты здесь, смеешься, разговариваешь, дышишь, а в следующее мгновение тебя уже нет. И никогда больше не будет. И не останется ни следа, ни улыбки, ни шепота. Ничего.

— У вас сильное воспаление мягкого нёба, — промурлыкала Шерон. — Болит?

— Не-а.

— Подозреваю, что у вас зреет абсцесс, Джексон.

Официально она была «мисс Ш. Андерсон, БХС, ЛХС».^[67] Мисс Андерсон никогда не предлагала ему обращаться к ней по имени, хотя сама фамильярничала вовсю. Врачи, банковские клерки, совершенно незнакомые люди — все теперь обращались к вам по имени. Любимый жупел Бинки Рейн: «И я сказала этому клэрку (клерку) в банке, этому *кассиру*. „Извините меня, молодой человек, но мы с вами, кажется, не представлены. Для вас я *миссис* Рейн, а как зовут вас, мне плэвать (плевать)“». В устах Бинки Рейн «кассир» звучало как что-то прилипшее к подметке.

Джексон чувствовал себя совершенно беззащитным. Он лежал, распростертый в кресле, смиренный и беспомощный, отданный на милость Шерон и ее молчаливой медсестры. И у Шерон, и у медсестры были темные, загадочные глаза, и они обе безразлично смотрели на него поверх своих масок, словно обдумывая, что бы еще с ним сделать, — прямо восточные танцовщицы-садистки с хирургическими инструментами.

Джексон пытался не думать об этом и еще не вспоминать сцену из «Марафонца»,^[68] взамен он рисовал в своем воображении Францию. Он сможет выращивать овощи. Он в жизни не огородничал, всем заправляла Джози, а он только выполнял ее распоряжения: здесь вскопай, это убери, подстриги газон. Все равно во Франции овощи наверняка растут сами по себе. В теплой, плодородной почве. Помидоры, персики. Виноград. Может, выращивать виноград? Оливки, лимоны, инжир — очень по-библейски. Он будет наблюдать, как ползут усики лозы, как наливаются соком фрукты, — о черт, эрекция (при мысли об овощах; это вот как, нормально?). Запаниковав, он сглотнул и подавился собственной слюной. Шерон подняла спинку кресла и, склонив голову набок в притворной заботе, пока он шумно откашливался, поинтересовалась: «Все в порядке?» Молчаливая медсестра подала ему воды в пластиковом стаканчике.

«Скоро закончим», — солгала Шерон, снова опрокидывая кресло.

Теперь Джексон сосредоточился на менее приятных вещах. На трупке Лоры Уайр. Сраженной на бегу, как лань.

«Мистер Уайр, где он?» Странно звучит. Нормальный вопрос: «Где мистер Уайр?» Это ли вообще сказал убийца? Что, если он сказал «мисс Уайр» или «миссис Уайр», могла ли Мойра Тайлер (единственная, с кем говорил убийца) ослышаться? В наступившем хаосе — но тогда хаос еще не наступил, просто парень в желтом свитере для гольфа спрашивал, где один из адвокатов.

А личная жизнь Лоры, так ли прозрачна она была? Девственница, принесенная в жертву. Была ли она девственницей? Джексон не помнил этой подробности в отчете о вскрытии. Тео-то, конечно, в этом не сомневался. Марли могла бы трижды выйти замуж и развестись, нарожав десяток детей, а Джексон по-прежнему считал бы ее девственницей.

Пресса была в восторге от Лориной незапятнанности: куда лучше, если жертва — милая девушка из среднего класса, со здоровыми привычками и планами на колледж, чем какая-нибудь проститутка или малолетняя вертихвостка (Керри-Энн Брокли этого мира). Но кто мог знать наверняка, что у Лоры Уайр не было секретов? Может, роман с женатым мужчиной, который она скрывала, чтобы не расстраивать отца. А может, какой-нибудь поганый извращенец преследовал ее? Может, она была с ним вежлива (иногда этого вполне достаточно), а у него крыша съехала, и он вообразил, что девушка в него влюблена и предназначена ему судьбой. Для этого было специальное слово, которого Джексон не мог вспомнить, — какой-то синдром, но не Мюнхгаузена.^[69] И так, всего четыре варианта. Тот тип либо был знаком с Тео, либо нет. И либо был знаком с Лорой, либо нет. Эротомания, вот. Звучит как название низкопробной голландской порнухи.

Много лет назад проводили опрос, который показал, что женщины не чувствуют угрозы от мужчины с «Гардиан» в руках или значком «пацифик» на груди. Джексон еще подумал, что все насильники теперь начнут носить с собой «Гардиан». Взять того же Теда Банди^[70] — засунул руку в гипс, и женщины думают, что ты мухи не обидишь. Нигде и никогда женщина не находится в полной безопасности. Даже если она крута, как Сигурни Уивер в «Чужом-4» или Линда Гамильтон в «Терминаторе-2». Потому что куда бы она ни направилась — там будут мужчины. Мужчины-психи. Что ему нравилось в крутых женщинах вроде Рипли и Сары Коннор (да, он в курсе, что это вымышленные персонажи) — с каким бы азартом ни надирала они задницы плохим парням, ими двигала материнская любовь, материнская любовь к целому миру. Так, Джексон, хорош, забываем о Саре Коннор,

думаем о чем-нибудь плохом, в машине выхлопную трубу надо починить, или о чем-нибудь скучном. О гольфе.

— Джексон, я вычистила гной, — прошелестела Шерон. — Сейчас все обработаю. Но нам нельзя больше лечить симптомы, мы должны удалить причину. Корень.

Ближайшими друзьями Лоры в старших классах были Кристина, Эйша, Джош, Джоанна, Том, Элеонора, Эмма, Ханна и Пэнси. Джексону это было известно, потому что у Тео на стене висела таблица «Ученики Лориной школы», а рядом другая — «Друзья Лоры вне школы» (клуб аквалангистов, народ из паба, где она работала, и так далее), и, наконец, третья — «Случайные знакомые Лоры» (практически все, с кем она когда-нибудь сталкивалась).

В списке «Ученики Лориной школы» порядковые номера указывали на степень дружбы: первым номером лучшая подруга, и так далее. Все ученики до единого. Сколько же времени Тео потратил, решая, кому присвоить номер сто восемь, а кому — сто девять? Причем список он составлял не на компьютере, а тщательно вывел все имена от руки. Этот парень все-таки чокнутый.

Кроме того, друзья были отмечены разными цветами соответственно полу: синие чернила для девочек, красные — для мальчиков, из чего вытекало, что ближайшими друзьями Лоры были в основном девочки. Первая десятка была сплошь синей, за исключением двух имен:

Джош и Том. Очевидно, Лора лучше себя ощущала в девичьей компании, может, мужскую и вовсе не успела оценить. Ближе к концу списка шла сплошь красная фаланга, бесчисленные мальчишки, большинство из которых Лора Уайр, скорее всего, даже не замечала, и уж наверняка она никогда с ними не разговаривала. Джексон внезапно вспомнил свои школьные сочинения, затянутые красной чернильной паутиной из гневных учительских замечаний. Только закончив школу и записавшись в армию, он обнаружил, что умен.

Полиция допросила всех, кто учился с Лорой, но, к сожалению, почти никого из первой десятки не было в городе. «Промежуточный год»,^[71] — сказал Джексону Тео. Он тогда беспокоился, что Лора захочет уехать куда-нибудь к черту на рога. Кто мог знать, что она была бы в большей безопасности в бангкокской ночлежке с блохами и наркоманами, чем в конторе собственного отца. «Mea culpa»,^[72] — сказал Тео и улыбнулся, как грустный пес.

На протяжении всего расследования Лору рассматривали исключительно как случайную жертву, полиция была твердо убеждена, что главной мишенью был Тео. Джексон вдруг вспомнил Боба Пека из «На краю тьмы»^[73] — сказать по правде, таких сериалов на Би-би-си больше не делают, пожалуй, после «Тьмы» ничего достойного он и не видел. Когда же это было? В восемьдесят четвертом? Или восемьдесят пятом? Он попытался вспомнить восемьдесят пятый. Три года после Фолклендов.^[74] Хауэлл демобилизовался, а Джексон подписал контракт еще на пять лет. Он встречался с девушкой по имени Кэрол, но потом она вступила в Движение за ядерное разоружение и заявила, что ее политические взгляды «несовместимы» с их романом. Он заметил, что и сам не очень-то поддерживает ядерную гонку, но ей было интереснее приковывать себя к разным предметам и выкрикивать оскорбления полицейским.

В восемьдесят пятом Лоре Уайр исполнилось девять, а Оливия Ленд была уже пятнадцать лет как мертва. Крейвен, персонаж Боба Пека из «На краю тьмы», тоже был помешан на своей дочери. Эмма — так ее звали, и так же звали девушку под номером пять из красно-синего списка Тео, единственную из первой десятки, которая жила неподалеку от Кембриджа. Кристина, лучшая подруга под номером один, вышла замуж и уехала в Австралию, Эйша — учительница в Дорсете, Том работает в Еврокомиссии в Страсбурге, Джош совсем исчез с горизонта, Джоанна — врач в Дублине, Ханна живет в Штатах, Элеонора — адвокат в Ньюкасле, Пэнси работает в шотландском издательстве. Прямо девичья хиджра^[75] какая-то. Словно они бежали от чего-то. («Если вечно бежать, Джексон, то вернешься туда, откуда начал».) Он хотел поговорить с кем-нибудь, кто знал другую Лору. Не потому, что домашняя Лора была ненастоящей, просто, как бы ни был Тео близок с дочерью, наверняка чего-то он о ней не знал или не понимал. Так уж оно устроено. Нравится вам или нет, у дочерей всегда будут секреты.

Эмма Дрейк жила в Крауч-Энде и работала на Би-би-си. Джексон позвонил ей, и она ответила, что с радостью поговорит с ним, и назначила встречу после работы через дорогу от здания Би-би-си, в отеле «Ланэм», чтобы «выпить по коктейлю».

Оказалось, милая девушка, вежливая и разговорчивая. Она выпила три «Манхэттена» подряд, такой у нее, видно, был способ оперативно снимать напряжение. Джексон напомнил себе, что она уже не однокашница Лоры, а двадцативосьмилетняя женщина.

— Помню, я тогда думала, что могла оказаться на ее месте, — Эмма закинула в рот орешек. — Целый день ничего не ела, — извинилась она, — все время просидела в студии. Эгоистично так думать, да?

— Ну почему же, — сказал Джексон.

— То есть со мной, ясно, этого не могло случиться, меня же там не было, в том офисе, в ту самую минуту, но само по себе случайное насилие...

— Вы уверены, что оно было случайным? А вы не думаете, что тот парень, который убил Лору, охотился именно за ней, а не за ее отцом?

За рояль в углу зала сел мужчина в смокинге, размашистым жестом Либераче^[76] поднес руки к клавишам и заиграл громкую и вычурную версию «Волшебного вечера».^[77]

— Боже! — Эмма Дрейк скорчила мину и рассмеялась. — Может, какой-нибудь ее новый знакомый, не знаю. Наши почти все путешествовали или работали за границей. Только Лора и еще пара ребят собирались в колледж сразу после летних каникул. Я была в Перу, узнала о ее смерти только месяца через полтора. Для остальных это стало уже историей, и почему-то от этого мне было еще тяжелее.

— Любая мелочь, что-нибудь, о чем никто не подумал сказать? — настаивал Джексон.

Он спрашивал себя, не заказать ли ей еще один «Манхэттен», поможет это или наоборот, и следует ли спаивать молодых женщин, а потом отправлять одних на опасные лондонские улицы. Неужели Марли ждет то же самое: она получит хорошее образование, поступит в университет и в итоге будет работать не пойми кем на Би-би-си, по вечерам перебирать с выпивкой, а потом трястись в метро, возвращаясь в одиночестве домой, в съемную квартирку на окраине? Он предложил Эмме Дрейк кофе и вздохнул с облегчением, когда она согласилась.

— Увы, вообще ничего не приходит в голову, — произнесла она, хмурясь на пианиста, теперь игравшего попури из Эндрю Ллойда Уэббера.^[78] — Разве что та история с мистером Джессопом.

— С мистером Джессопом?

— Стэном. — Она нахмурилась сильнее, но это вряд ли имело отношение к «Призраку оперы», — Он у нее вел биологию.

— История? Между ними что-то было?

Имя Стэна Джессопа ему уже встречалось, в другой таблице Тео — «Учителя Лориной школы». Полиция допросила его через два дня после убийства и вычеркнула из списка подозреваемых.

Эмма Дрейк прикусила губу и поболтала в бокале остатки «Манхэттена».

— Не знаю, вам лучше поговорить с Кристиной, они с Лорой были лучшими подругами. И она тоже была в классе мистера Джессопа.

— Она сейчас на овечьей ферме, примерно посреди Австралии.

— Правда? — Эмма на мгновение просияла. — С ума сойти. Мы все как-то потеряли связь. Кто бы мог подумать...

Да что уж там, подумал Джексон, рано или поздно со всеми теряешь связь.

Принесли кофе, и Джексон пожалел, что не заказал для Эммы сэндвич. Что едят такие девушки, когда наконец добираются домой? Они вообще хоть что-нибудь едят?

— Мы договорились встретиться через десять лет после выпуска, день в день, — сказала она, — Перед «Павильоном Хоббса»^[79] как раз две недели назад. Конечно же, никто не пришел.

— А вы?

Она кивнула, и ее глаза наполнились слезами.

— Так глупо. Стояла там и ждала как дура. На самом деле я и не думала, что кто-нибудь придет, но поехала, просто на всякий случай. Хуже всего было не то, что никто не пришел, а то, что не пришла Лора. То есть я знаю, что она умерла, и я не ждала, что она вдруг появится, просто, стоя там, я поняла, что для Лоры нет никакого «через десять лет», нет будущего. Для нее все остановилось. Навсегда.

Джексон протянул ей бумажный носовой платок (он всегда носил их с собой, потому что добрая половина его собеседников неизменно заливалась слезами).

— Так что с мистером Джессопом?

— Да просто слухи. Лора замкнутой не была, но и сплетничать она не любила, все держала в себе. Черт, я говорю, как моя мать. Я не вспоминаю Лору. Ужасно, правда? Ужасно, что в конце концов о тебе забывают, а когда вспоминают, то говорят какие-то банальности. То есть я вспоминала о ней перед «Павильоном Хоббса», потому что знала, что другие могут прийти, но ждать Лору — бессмысленно. Но все остальное время... — Она постоянно жевала губу, уже почти до крови искусала. Слово ее никогда и не было, — глухо закончила она.

— Знаете, она не была девственницей. — Джексон бросил пробный шар, и Эмма со вздохом откликнулась:

— А кто был? Она не была святошей. Она была такой же, как все, нормальной девчонкой.

— Но парня-то у нее вроде не было? Полиция опросила всех друзей-знакомых.

— Она никогда ни с кем по-настоящему не встречалась. Так, спала с несколькими, и все.

Твою ж мать! Это считается нормальным? Все девочки десять лет назад так себя вели? Что же они творят сейчас? И что будут творить еще через десять лет? Когда Марли будет столько же, сколько Лоре, когда та сгинула навеки.

— Она вечно с Джошем зависала, они дружили с начальной школы. Мне он никогда особо не нравился. Гонора столько. И чересчур умный.

— Никак не могу выяснить, куда он делся, — вставил Джексон.

— Он бросил учебу. Если не ошибаюсь, он теперь диджей в Амстердаме. Лора с ним потеряла девственность.

— Ее отец думал, что она была девственницей, — заметил Джексон.

Эмма Дрейк рассмеялась:

— Все отцы так думают.

— Даже когда есть доказательства обратного?

— Особенно в таких случаях.

— А мистер Джессоп? — напомнил Джексон.

— Ой, он нам всем нравился. — Эмма задумчиво улыбнулась. — Он был красавчик, даже слишком для учителя. Лора с Кристиной были в его классе. Лора определенно была его любимицей — отличница, и все такое. Но все было невинно, у него ведь жена и ребенок.

(Как будто это когда-нибудь кого-нибудь останавливало.)

— Лора иногда сидела с их ребенком, подрабатывала, а я ходила с ней за компанию. Лоре казалось, что она не очень ладит с детьми, но с Ниной, дочкой Джессопа, у нее здорово получалось. Лоре нравилась его жена — Ким. Они даже были приятельницами. Мне это всегда казалось странным: Ким ведь такая простушка. — Эмма Дрейк в ужасе прикрыла рот рукой. — Жутко звучит, такое говорят только снобы. Но вы понимаете, что я хочу сказать, она была такая типичная вульгарная блондинка. Настоящая джорди.^[80] Так, все. Я заткнулась.

Эта девушка просто кладезь информации. А полиция не удосужилась взять у нее показания. Равно как и у Ким Джессоп.

— Тогда никто и словом не обмолвился о мистере Джессопе с Лорой, — сказал Джексон.

— Ну а зачем было про него говорить, не он же ее зарезал. Послушайте, это был только слух, обычное увлечение. Мне не по себе уже оттого, что я говорю об этом.

— Влюбиться в учителя — не такая уж редкость. Уверен, Лора не стала бы возражать, что вы мне об этом рассказываете.

Лора Уайр уже ни против чего не могла возразить.

— Нет-нет, вы не так поняли, это не Лора, это мистер Джессоп в нее влюбился.

Джексон посадил Эмму Дрейк в такси и дал водителю невообразимые двадцать пять фунтов, чтобы тот отвез ее в Крауч-Энд и проводил до квартиры. Потом добрался (в разы дешевле) до вокзала Кингз-Кросс и всю дорогу домой пялился в пустоту окна.

— Вот и все, Джексон, подлечили мы вас, можете бежать. — Шерон стянула маску и улыбнулась ему, как трехлетнему ребенку. Он уже приготовился, что сейчас ему вручат значок или наклейку. — Давайте назначим время, чтобы удалить корень.

Он-то решил, что Шерон образно выражалась, говоря о корне, а оказывается, она имеет в виду настоящий *корень*. Тот, что у него в голове.

На улице он проверил мобильник. На автоответчике было сообщение от Джози, она просила присмотреть за Марли после обеда и сказала, что дочь ждет его в офисе. Только вот ее там не было. В офисе вообще никого не было, и дверь была не заперта. Записка на двери, написанная знакомым почерком, который, однако, не принадлежал ни Деборе, ни Марли, гласила: «Вернемся через десять минут». Через мгновение он узнал почерк Тео (Бог свидетель, за последние дни он предостаточно его начитался). На этот раз чернила были нейтрального, черного цвета. «Будем через десять минут» не имело смысла, если не знать, когда эти десять минут начались. На Джексона внезапно накатила паника: что ему на самом деле известно про Тео? Он производил впечатление хорошего, совершенно безобидного парня, но у злобных психопатов нет на лбу татуировок «Злобный психопат». С чего он решил, что Тео — хороший парень? Потому что у него умерла дочь? Разве это гарантия?

Джексон скатился по лестнице и выбежал на улицу. Где она? С Тео? С Деборой? Одна? С кем-нибудь *незнакомым*? Он хотел купить Марли мобильный телефон, но Джози была против (с каких это пор она стала в одиночку принимать решения, касающиеся их ребенка?). Как бы он сейчас пригодился. В поле зрения Джексона попал Тео, выходящий из бургерной дальше по улице. Не заметить такого великана было трудно. Марли была с ним. Спасибо Тебе, Господи. На ней была крошечная юбочка и топ с

голым животом; интернет ломится от фотографий девочек в таких вот нарядах.

Наплевав на приличия, Джексон растолкал толпу испанских подростков, схватил Марли за локоть и заорал: «Где ты была?» Ему хотелось вмазать Тео, он и сам не знал за что, ведь с Марли, очевидно, все в порядке. Она вовсю уплетала жареную картошку. Эта девица за любым незнакомым дядькой пойдет, помани он ее шоколадкой.

— Я работаю няней, — объяснил Тео, — а не похитителем детей.

— Верно, — сказал Джексон, — конечно. Извините, я волновался.

— Тео со мной посидел, — сообщила Марли. — И картошку мне купил. Он мне нравится.

Что и требовалось доказать.

— Твоя мать что, одну тебя там бросила? — спросил Джексон, когда они вернулись в офис.

— Меня привез Дэвид.

— Значит, Дэвид тебя бросил?

Вот гондон!

— Здесь была Дебора.

— Но сейчас ее здесь нет. — (Где она, черт бы ее драл?) — Ты оставила дверь открытой, сюда мог войти кто угодно, и ты ушла с человеком, которого совершенно не знаешь. Ты хоть понимаешь, как это опасно?

— Разве ты не знаешь Тео?

— Не в этом дело, *ты* его не знаешь.

У Марли задрожали губы, и она прошептала:

— Папочка, я не виновата.

И сердце у него ёкнуло от вины и раскаяния.

— Извини, малышка, ты права, это я виноват. — Он обнял ее и поцеловал в макушку. От нее пахло лимонным шампунем и бургером. — Это я напорточил, — прошептал он ей в волосы.

— Можно войти? — В дверях стояла женщина.

Джексон отпустил Марли, мученически позволявшую отцу стискивать себя до посинения.

— Я пришла назначить встречу, — сказала женщина.

Под сорок, джинсы, футболка, сандалии-шлепанцы, в хорошей форме (Джексону почему-то подумалось про кикбоксинг) — из общей картины выбивались только темные круги под глазами. Сара Коннор. Или та медсестра из «Скорой помощи», ^[81] на которую все смотрели и думали: «Уж

я бы с ней хорошо обращался, не то что этот идиот». (После того как распался его брак, Джексон стал много смотреть телевизор.) В ней было что-то знакомое. Обычно знакомыми ему казались исключительно преступники, но эта женщина не была похожа на преступницу.

— Хорошо, — ответил он, обводя кабинет неопределенным жестом, — мы могли бы и сейчас поговорить, если хотите.

— Нет, давайте лучше назначим другое время, — сказала женщина, взглянув на Марли.

И Джексон сразу понял, что не хочет знать того, чем она собирается с ним поделиться.

Они договорились на одиннадцать утра в среду («я как раз не в ночную»), и Джексон подумал: медсестра. Вот почему она показалась ему знакомой, медсестры и полицейские слишком много общаются по работе. Ему нравились медсестры, но не из-за сериала «Так держать!»,^[82] похабных открыток, порногероинь и прочих классических причин и не задастые деловитые медсестры без воображения (а таких пруд пруди), нет, ему нравились те, кто понимал и разделял чужую боль, пережив свою, медсестры с кругами под глазами, похожие на Сару Коннор. Женщины, которые понимали боль так, как Триша, Эммилу и Люсинда в своих песнях. А может, и не только в песнях, кто знает?

В ней определенно что-то было. Je ne sais quoi.^[83] Она сказала, что ее зовут Ширли, а зачем она пришла — он знал и так. Она кого-то потеряла, он читал это в ее глазах.

— Мы же домой? — с шумным вздохом спросила Марли, забираясь на заднее сиденье. — Умираю, как есть хочется.

— Ничего ты не умираешь.

— Умираю. Я же расту, — добавила она, защищаясь.

— Вот уж никогда бы не заметил.

— Папа, у тебя здесь воняет сигаретами, просто *отвратительно*. Не кури тут.

— Я сейчас и не курю. Не сиди за мной, отодвинься к другому окну.

— Зачем?

— А тебе трудно?

(Потому что, если по какой-то причине ремень безопасности не сработает, ты вылетишь через ветровое стекло, что на йоту безопаснее, чем врезаться в спинку моего кресла.) Марли передвинулась влево. На место принцессы Дианы. И нажала на кнопку блокиратора двери.

— Марли, не запирай дверь.

— Почему?

— Просто не запирай, и все.

(Чтобы, если машина загорится, тебе было легче выбраться.)

— Чего хотела та тетя?

— Мисс Моррисон?

(Ширли. Милое имя.)

— Ты пристегнулась?

— Ага.

— «Да», а не «ага». Я не знаю, чего хотела мисс Моррисон.

Он знал. Он прочитал это в ее глазах. Она потеряла что-то или кого-то. Значит, его забота — еще одна запись в графе «дебет» в журнале потерь и находок.

Самым интересным за много месяцев делом Джексона была Никола Спенсер (что, в общем, говорит само за себя), все остальное — нудная рутина, и вдруг всего за пару недель на него свалилось нераскрытое убийство, похищение тридцатичетырехлетней давности и еще какая-то новая беда от Ширли Моррисон.

Он взглянул на Марли, которая изогнулась на сиденье, как миниатюрный Гудини. Она нагнулась и исчезла из поля зрения.

— Что ты там делаешь? Ремень пристегнут?

— Да, я хочу достать ту штуку на полу, — пробормотала она с натугой.

— Какую штуку?

— Эту! — триумфально заявила она, вынырнув, как пловец за глотком воздуха. — Какая-то консервная банка.

Джексон посмотрел в зеркало заднего вида на предмет, который она подняла повыше, чтобы ему показать. Вот черт, прах Виктора.

— Положи это обратно, милая.

— А что там внутри? — Марли пыталась открыть уродливую металлическую урну.

Джексон обернулся и выхватил урну. Машина вильнула, и Марли взвизгнула от испуга. Он пристроил урну на полу, перед соседним креслом. Этим утром Джулия попросила его забрать прах из крематория, «потому что у вас есть машина, мистер Броуди, а у нас — нет», что не показалось Джексону особо веской причиной, учитывая, что он даже не был знаком с Виктором. «Но вы единственный, кто был на его похоронах», — заявила Джулия.

— Ты же не собираешься реветь? — спросил он в зеркало.

— Нет, — ответила она очень сердито. В гневе Марли была настоящим

стихийным бедствием. — Мы чуть не разбились.

— Ничего подобного.

Джексон пошарил в бардачке в поисках конфет, но нашел только сигареты и мелочь для парковочных счетчиков. Он предложил ей мелочь.

— Что в этой банке? — упорствовала она, беря деньги. — Что-то плохое?

— Нет, там нет ничего плохого.

Почему бы и не сказать ей? Марли понимает, что такое жизнь и смерть, за свои восемь лет она похоронила немало хомячков, а в прошлом году Джози брала ее на похороны бабушки.

— Милая, — неуверенно начал он, — ты знаешь, что бывает, когда люди умирают?

— Мне скучно.

— Давай поиграем.

— Во что?

Хороший вопрос. Джексон не был силен по части игр.

— Вот. Если бы ты была собакой, то какой породы?

— Не знаю.

Мимо.

— Пап, я хочу есть. Ну, *papa*. — Марли заняла всерьез.

— Ага, ладно, по пути что-нибудь купим.

— Говори «да», а не «ага». По пути куда?

— В монастырь.

— Что это такое?

— Такой дом, в котором женщины сидят взаперти.

— Потому что они плохие?

— Потому что хорошие. Надеюсь.

Тоже способ оградить женщину от опасности. Ступай в монастырь. ^[84]
Как во всех католических церквях, где доводилось бывать Джексону, тут густо пахло ладаном и мастикой. Ему говорили: «Католик всегда остается католиком», но это неправда, Джексон уже много лет не заходил в церковь, разве что по случаю похорон (ни свадеб, ни крестин в его ежедневнике не встречалось), и не верил, ни в какого бога. Его мать, Фидельма, приложила все силы, чтобы воспитать детей в лоне Церкви, но у Джексона почему-то не срослось с религией. Иногда в его памяти всплывал давно позабытый материнский голос: *Anima Christi, sanctifica me.* ^[85]

Так получилось, что его родители перебрались на север Англии, — как и почему, Джексон не знал. Отец, Роберт, был шахтером из Файфа,^[86] а мать — уроженкой графства Мейо.^[87] Этот не слишком гармоничный кельтский союз породил Джексона, его брата Фрэнсиса и сестру Нив. Фрэнсиса назвали в честь маминого отца, а самого Джексона — в честь отцовской матери. Разумеется, его бабушку не звали Джексон, это была девичья фамилия (Маргарет Джексон), и, как объяснил ему отец, того требовала шотландская традиция.

В чью (если вообще в чью-то) честь назвали Нив, Джексон не знал. Нив была на год моложе Фрэнсиса и на пять лет старше Джексона. После ее рождения мать освоила календарный метод предохранения, но Джексон оказался неожиданным пополнением, зачатый в том самом эрширском пансионе. Младшенький.

— Папа, о чем ты думаешь?

— Ни о чем, милая.

Они говорили шепотом, несмотря на то что сестра Михаил, толстуха, увлекшая их за собой, рокотала басом на весь коридор. От Амелии с Джулией он знал, что сестра Михаил — экстерн. В монастыре было шесть экстернов, которые общались с окружающим миром от лица интернов — тех, кто никогда не покидал монастырских стен, проводя день за днем, до самой смерти, в молитве и созерцании. Сильвия была интерном.

Марли от всего происходящего была в полном восторге:

— Почему сестру Михаил зовут, как мужчину?

— Ее назвали в честь святого Михаила.

Интересно, зачем «Маркс-и-Спенсер» придумали марку «Святой Михаил»?^[88] Чтобы не так по-еврейски звучало? Вдруг сестра Михаил знает? Но не спрашивать же ее, в самом деле. Еще Джексон знал, что святой Михаил — покровитель воздушных десантников. Из-за крыльев, что ли? С другой стороны, у всех ангелов есть крылья. (Хотя Джексон, понятно, в ангелов не верил.) В коридоре, за поворотом которого оказался еще один, а потом еще один, то и дело попадались статуи и картины — святой Франциск и, само собой, святая Клара, а также многочисленные истекающие кровью распятые Иисусы с глазами Бэмби. *Corpus Christi, salva me.*^[89]

Черт, он и забыл, сколько у них тут физиологии. Или, цитируя язвительную Амелию, «садомазохистского гомоэротического бреда». И что она все время на взводе? К Оливии это явно не имеет отношения. И к смерти отца тоже. Это, конечно, дико неполиткорректно, и, Бог свидетель,

он бы никогда не сказал этого вслух, ни в жизнь, но правду не спрячешь: Амелии Ленд необходим перепись.

— А это Дева Мария Краковская, — объясняла Марли сестра Михаил, указывая на статуэтку за стеклом. — Один священник вывез ее из Польши во время войны. Когда страна в опасности, она плачет.

Лучше бы он вместо куска гипса пару евреев оттуда вывез.

— Плачет? — Марли была поражена.

— Да, у нее по щекам катятся слезы.

«Это бред собачий, Марли, не слушай ее», — хотелось сказать Джексону, но тут сестра Михаил обернулась и посмотрела на него. Лицо у нее было веселое и круглое, а глаза — монахини. Джексон знал, что монахини сразу видят, что там у тебя в голове, поэтому с уважением кивнул в сторону статуэтки. *Sangius Christi, inebria me.*^[90]

Сообщив, что сестра Мария Лука их ожидает, сестра Михаил, шелестя облачением, энергично двинулась вперед, уводя их все дальше по лабиринту монастырских коридоров. Джексон вспомнил, что у монахинь особая манера передвигаться — очень быстро, но не бегом, словно на колесах (возможно, их этому специально учат). Странно, что преступники редко переодеваются монашками, идеальный же способ остаться незамеченным: никто не запомнит твоего лица, только сутану. Взять тех же свидетелей убийства Лоры — все, как один, увидели только желтый свитер для гольфа.

Джексон был уверен, что Джулия назвала сестру «борзой», но, по всей видимости, она сказала, что у Сильвии *есть борзая*, ибо так оно и оказалось. Собака спокойно сидела подле нее. От сестры Марии Луки их отделяла решетка, что напомнило Джексону тюремную камеру и еще почему-то гарем (и откуда у него в голове взялся гарем?). Он подумал, что в Сильвии действительно есть что-то от борзой, она высокая и худая, но совсем не симпампушка, как сказал бы его отец, — очкастая и зубы торчат. Борзая же, холеное пятнистое создание, как будто сошла со средневекового полотна, где сопровождала на охоте знатную даму. И этот образ тоже стал для Джексона неожиданностью. Может, просто в монастырях есть что-то средневековое, вот и. Когда они вошли, собака встала и осторожно лизнула Марли руку сквозь решетку.

Они же францисканки, вспомнил Джексон. «Хиппарский такой орден, — говорила Джулия. — Летом расхаживают босиком, а на зиму сами шьют себе сандалии, держат домашних животных, и все, ясное дело, вегетарианки». Амелия с Джулией рассказали ему о монастыре во всех

подробностях; похоже, они искренне презирали призвание Сильвии. «Не ведитесь на показушную святость, — предупреждала Джулия, — под этим пингвиньим маскарадом она — все та же Сильвия». — «Это просто форма эскапизма, — небрежно добавила Амелия. — Ей не нужно оплачивать счета, думать, на что купить еду, и ей никогда не приходится быть одной». Не потому ли Амелия столько хмурилась, не от одиночества ли? Но Джулия вроде упоминала какого-то Генри? Трудно представить Амелию в мужских объятиях. Кем бы ни был тот Генри, толку от него ноль. (Когда это он перестал называть ее «мисс Ленд» и перешел на «Амелию»?)

Амелия сказала, что почти не навещает Сильвию, но они изредка переписываются, по мере необходимости. «Хотя о чем Сильвии писать — молитвы, молитвы и снова молитвы, — ну и еще всякая работа по дому, так скажем, — они пекут облатки, крахмалят и гладят разное там облачение, в таком духе. Еще она много работает в саду и вяжет вещи для бедных», — пренебрежительно добавила она. А Джулия сказала: «Про вязание она выдумывает», — а Амелия сказала: «Нет, не выдумываю», — а Джулия сказала: «Выдумываешь, я к ней, знаешь ли, почаще езжу», — а Амелия сказала: «Ты ездила, когда у тебя было прослушивание на роль монашки в „Звуках музыки“», — а Джулия сказала: «Ничего подобного». — «Вы замолчите когда-нибудь, а?» — устало сказал Джексон. И они обе уставились на него, словно впервые увидели. «Вы бы на себя со стороны посмотрели», — укорил он, а сам подумал: когда это я начал говорить, как моя мать?

— Интересно там было, да? — бросил Джексон дочке в зеркало заднего вида.

Марли совсем засыпала. После того как она познакомилась с борзой сестры Марии Луки (пес был из приюта, звали его Джокер, — видимо, прежде он участвовал в собачьих бегах), сестра Михаил увела Марли с собой, чтобы накормить. Сестры-интерны столпились вокруг девочки, будто никогда раньше не видели детей, а она с вполне довольным видом уминала тост с фасолью, кекс и мороженое, которые они откуда-то тут же ей принесли. За картошку фри она, вероятно, осталась бы у них послушницей.

— Не говори маме, что я брал тебя с собой в монастырь.

На самом деле не так уж было интересно. Сильвия знала о его приходе. Амелия заранее ей позвонила, объяснила, что Джексон занимается исчезновением Оливии, но не сказала, что послужило тому причиной. Когда сестра Михаил увела Марли, Джексон вытащил скомканного

голубого мышонка, затворенного в кармане, и показал Сильвии. Он хотел вызвать шок. Джулия говорила, что Амелия упала в обморок, увидев игрушку, а за ней этого не водилось. Сильвия взглянула на голубого мышонка, ее тонкие сухие губы плотно сжались, маленькие глазки цветотины устали не мигая. Через несколько секунд она произнесла: «Голубой Мышонок» — и потянулась к решетке. Джексон поднес голубого мышонка поближе, и она одним пальцем осторожно коснулась его старого рыхлого тельца. По ее щеке скатилась скупая слеза. Но нет, она не видела мышонка с того дня, как пропала Оливия, и даже представить не может, почему он оказался среди вещей отца. «Мы с папой никогда не были близки», — сказала она.

— Кекс был вкусный, — сонно проямлила Марли.

У Джексона зазвонил телефон. Он взглянул на номер — Амелия с Джулией — и простонал. Он предоставил вызов автоответчику, но, прослушав сообщение, так встревожился, что съехал на обочину и прослушал еще раз. Амелия захлебывалась в рыданиях, полных глубочайшей скорби, горестных, грубых и безудержных. Джексон подумал, что умерла Джулия. Ничего не оставалось, как перезвонить.

— Амелия, дышите, ради бога, — сказал он. — Что случилось? Что-то с Джулией?

Но она лишь повторяла: «Пожалуйста, Джексон. (Джексон? Раньше она его так не называла. Слишком интимно, ему это не понравилось.) Пожалуйста, Джексон, приезжайте, вы мне нужны». А потом звонок оборвался, или, скорее, она сама положила трубку, не иначе чтобы ему пришлось ехать на Оулстон-роуд и выяснять, в чем дело. (С Джулией ведь все в порядке?)

— Папа, что случилось?

— Ничего, милая, сделаем крюк по пути домой.

Иногда Джексону казалось, что вся его жизнь — один большой крюк.

— Мы были в монастыре! — завопила Марли с порога.

— В монастыре? — рассмеялся Дэвид Ластингем.

Когда Марли пробежала мимо, он подхватил ее, подбросил в воздух, а потом прижал к себе, обнимая. «Поставь ее на землю, и я тебе так вмажу», — думал Джексон, но тут из кухни вышла Джози. В фартуке. Мать честная, Джексон никогда не видел ее в фартуке.

— В монастыре? — эхом повторила она. — Что вы там делали?

— У них был кекс, — сообщила Марли.

Джози взглянула на Джексона, ожидая объяснений, но он только пожал плечами:

— Кекс действительно был.

— И собака умерла, — сказала Марли, тут же скиснув.

— Что за собака? — резко спросила Джози. — Джексон, вы сбили собаку?

— Нет, мамочка, та собака была старая, и теперь ей хорошо в раю, — объяснила Марли. — С другими мертвыми собаками.

Марли снова засобиралась плакать (сегодня слез было предостаточно), и Джексон напомнил ей, что они видели и живого пса.

— Джокера, — просияла она. — Он был в тюрьме вместе с монахиней, а еще у них есть статуя, которая плачет, а у папы в машине лежит банка с мертвецом.

Джози с отвращением посмотрела на Джексона:

— Обязательно так ее перевозбуждать все время? — И прежде чем он успел ответить, она повернулась к Дэвиду. — Дорогой, отведи, пожалуйста, ее наверх, и пусть залезает в ванну.

Джексон дождался, пока Марли с Дэвидом — узурпатором его жизни, мужчиной, который теперь укладывал спать его дочь и трахал его жену, — поднимутся наверх, и сказал:

— Ты считаешь, это разумно?

— Разумно? Ты о чем?

— О том, что ты оставляешь незнамо кого наедине со своей голой дочерью. Нашей голой дочерью. И кстати, ты считаешь, это нормально — позволять ей одеваться, как малолетней проститутке?

Она ударила его кулаком в лицо, отреагировав с быстротой кобры. Он пошатнулся, больше от изумления, чем от боли, — удар был девчачий, — потому что за все годы, прожитые вместе, они никогда не проявляли по отношению друг к другу физической жестокости.

— Черт, а это еще за что?

— За то, что ты омерзительен, Джексон. Это мужчина, с которым я живу и которого люблю. Ты правда считаешь, что я стала бы жить с тем, кому не могу доверить свою дочь?

— Ты бы очень удивилась, узнав, сколько раз я слышал подобные заявления.

На ругань по лестнице сбежал Дэвид Ластингем с криком: «Что ты с ней делаешь?» — что показалось Джексону забавным.

— Он считает, ты пристаешь к Марли, — услужливо заявила Джози.

— Пристает? — усмехнулся Джексон. — Значит, у среднего класса

это так называется?

И в ту же секунду Дэвид Ластингем, одолев последнюю ступеньку, нацелил на него небрежный, но яростный правый хук, которого Джексон никак не ожидая, но который определенно почувствовал. По правде говоря, он мог бы поклясться, что слышал, как у него хрустнула скула. Ну все, подумал Джексон, теперь я точно его убью, но тут наверху лестницы появилась Марли:

— Папочка?

Джози плюнула ему в лицо:

— Убирайся из нашего дома к едрёне матери, Джексон, и да, кстати, я же тебе не сказала: мы переезжаем в Новую Зеландию. Хотела сообщить тебе за чаем, проявить сострадание, так сказать, но ты этого не заслуживаешь. Дэвиду предложили работу в Веллингтоне, и он согласился, и мы едем с ним. Как тебе новость, а, Джексон?

Джексон припарковал «альфу» в арендованном гараже в начале переулка, ощутив обычный укол вины за шум выхлопной трубы. Он думал о Сильвии, которая отказалась от жизни, заперев себя в монастыре. Она знала больше, чем говорила, тут никаких сомнений. Но сейчас он не хотел думать о Сильвии, он хотел думать о горячей ванне и холодном пиве. Он был в ярости, что позволил Дэвиду Ластингему себя ударить. Казалось, еще больше этот день невозможно испортить, хотя по опыту Джексон знал, что любой день можно портить до бесконечности, и, чтобы доказать этот тезис, из-за гаража выскользнула темная фигура и ударила его по голове чем-то, что до боли напомнило ему рукоять пистолета.

— Да, но видела бы ты того парня, — слабо пошутил Джексон, но Джози не засмеялась.

От нее пахло фруктами и солнцем, и он вспомнил про запланированный поход за ягодами. Ее загорелые руки все были в царапинах, словно она подралась с кошками.

— Кусты крыжовника, — сказала она, когда он поинтересовался.

— Извини, они нашли мою донорскую карточку, ты там указана ближайшей родственницей. У меня всего-навсего легкое сотрясение, зря они тебя выдернули.

— Джексон, ты пролежал там всю ночь. Тебе повезло, что сейчас так тепло, представь, что было бы зимой.

Она скорее отчитывала его, а не сочувствовала, как будто он сам был виноват в том, что на него напали. На самом деле ему действительно

хотелось бы увидеть того парня, потому что он был совершенно уверен, что подпортил тому физиономию. Джексону повезло: у него была хорошая реакция, и, увидев направлявшуюся к нему фигуру, он интуитивно отпрянул — в результате удар вызвал сотрясение мозга, а не расколочил череп всмятку. И он успел нанести ответный удар — не четкий правый хук, не с разворота, не один из изящных приемов, которым он в свое время обучился, нет, это был автоматический грубый ответ мужика, взбесившегося в разгар субботней попойки: Джексон ударил нападавшего головой в лицо. У него до сих пор в ушах стоял шмяк, раздавшийся при соприкосновении его лба с чужим носом. Повторная травма головы не пошла на пользу, и тут он, видимо, и вырубился. Следующее, что он помнил, — это молочник, уже почти на рассвете пытавшийся привести его в чувство.

Джози отвезла его домой.

— Врач велел, чтобы со мной кто-нибудь остался на сутки, — сказал он сконфуженно, — на тот случай, если я снова потеряю сознание.

— Придется тебе найти кого-нибудь другого, — ответила она, тормозя у обочины в начале переулочка.

Осознав, что все еще ждет сочувствия, в котором ему было отказано, он неуклюже выбрался с пассажирского сиденья «вольво». Такое ощущение было, что черепные кости смещаются и наезжают друг на друга, как тектонические плиты. Каждое движение болью отдавалось в мозгу. Он был серьезно не в форме.

Джози опустила стекло. На секунду ему показалось, что она вот-вот высунется и поцелует его на прощание или предложит остаться и присмотреть за ним, но вместо этого она сказала:

— Пора тебе завести нового ближайшего родственника, Джексон.

Добравшись домой, Джексон усадил Голубого Мышонка на каминной полке. Так он и знал, что рано или поздно начнет называть эту мышь по имени. Поставил урну с прахом Виктора (которую позабыл отдать Амелии с Джулией из-за всего этого дурдома) между Голубым Мышонком и единственным украшением каминной полки — керамической безделушкой с надписью «С наилучшими пожеланиями из Скарборо». После развода супружеское имущество было поделено так, как Джози сочла справедливым: Джексон взял свое «дерьмо» (то есть диски с кантри и сувенир с наилучшими пожеланиями), а Джози взяла все остальное. Может, Голубой Мышонок за ним присмотрит, раз больше некому. Джексон проглотил две таблетки ко-кодамола,^[91] который ему дали в больнице (хотя

он хотел морфин), лег на диван и включил «Из Болдера в Бирмингем», но такую боль не под силу было унять даже Эммилу.

Каролина взглянула на детей своего мужа на заднем сиденье «дискавери» и поблагодарила Бога за то, что они не учатся в ее школе. Отпрыски Джонатана ходили в маленькое частное заведение, совсем в какой-то глуши, зато там уделялось большое внимание играм на свежем воздухе и по средам весь день говорили по-французски. Хорошее дело, в принципе интересно было бы попробовать такой подход в гетто, где она раньше преподавала. Всего два года прошло, а кажется — целая жизнь. Еще одна жизнь. Сколько раз человек может сбрасывать кожу? Ханна с Джеймсом в зеркале заднего вида строили ей рожи — они или тупые как пробка и думают, что она ничего не заметит, или им все равно. В любом случае вырождение налицо. Ровена, мать Джонатана, все время болтала про селекцию: она держала конюшню гунтеров (здоровенные твари, жуть), но иногда применяла то же понятие и к собственному семейству. У Каролины язык чесался сообщить свекрови, что в результате естественного отбора рождаются сильные особи, в то время как селекция приводит к врожденным дефектам, появлению на свет бледных блондинистых детей, которые по средам говорят по-французски, а их пустые лица мидвичских кукушат^[92] наводят на мысль о скрытом идиотизме. По ее, Каролины, профессиональному мнению.

После свадьбы Ровена переехала во «вдовый дом», располагавшийся на территории поместья. Она называла его «мой уголок», хотя там было четыре спальни и две гостиные. Свекровь взяла себе за правило «не вмешиваться», что означало, что она вмешивалась постоянно, но тайком от Каролины. И под прикрытием благих намерений. На свадьбе у нее с лица не сходила благостная улыбка, словно ее накачали валиумом, и она сама все оплатила: шатер, струнный квартет, лакеев, подававших угощение на серебряных подносах, холодную лососину и жаркое из оленины, огромные вазы белых лилий, из которых, к несчастью, позабыли убрать тычинки, поэтому гостей осыпало пыльцой. Никто не заикнулся о том, что брак гражданский или что это второй брак, хотя отпрысков от первого нельзя было не заметить — они шныряли вокруг, как крысы, превратившиеся в детей, в нарядах из белого атласа, которые отлично смотрелись бы при обреченном дворе Людовика XVI.

Они прилетели из Буэнос-Айреса за несколько дней до свадьбы и остались насовсем, потому что Джемима — его бывшая — решила, что дети должны получить английское образование, с чем Джонатан согласился. Каролину это ничуть не обеспокоило, потому что (да, она понимала всю иронию этого) она прекрасно ладила с детьми, — именно поэтому она так хорошо справлялась со своей работой, а учителя далеко не всегда любят детей, у нее было полно коллег, которые смотрели на детей как на издержки профессии, а не ее суть и смысл. Но она не ожидала, что Ханна с Джеймсом окажутся такими гаденышами.

У няни, молодой испанки по имени Паола, был выходной, и Каролина вызвалась забрать детей из школы. Она старалась почаще подбадривать Паолу добрым словом и бокалом риохи, потому что ей казалось, что та вот-вот уволится. Да и можно ли было ее винить? Бедняжка застряла у черта на куличках, в мерзком климате, и два зловредных выродка доводили ее день и ночь. Они даже не давали себе труда правильно выговаривать ее имя — «Па-о-ла», и она постоянно их поправляла, растягивая гласные на южный манер, как зевающая кошка, но они упрямо произносили «Пола» своими натянутыми аристократическими голосками. Эти уродцы два последних года прожили в испаноговорящей стране и даже не могли сказать «Buenos días»^[93] — или просто не хотели.

Учебный день в их маленькой обособленной школе был длиннее, чем в деревенской. Каролина уже час как закончила работу, а Ханна с Джеймсом все торчали на разных факультативах: кларнет, крикет, фортепиано, вокал (еще не хватало, чтобы они петь начали), народные танцы (боже правый!) и фехтование. Бросить бы их — желательно с большой высоты — в школу в Токстете или Чапелтауне^[94] и посмотреть, как им там поможет фехтование.

Они проехали мимо деревенской школы, и Джеймс сзади зафыркал. Она слышала, как он называл местных детей «деревенскими свиньями», и едва удержалась, чтобы не отвесить ему затрещину. Теперь он всякий раз фыркал, соприкасаясь с низшим сословием. Сумеет ли она и впредь воздерживаться от рукоприкладства? Ох, не факт.

По случайному совпадению директриса сельской школы собралась на пенсию, как раз когда они вернулись из медового месяца. Получить должность оказалось проще некуда. Для деревенской школы на три класса учеников квалификации у Каролины хватало с избытком, и она почувствовала себя там как дома спустя считанные дни после возвращения с Джерси — именно там они провели свое недельное свадебное путешествие, в номере отеля «Атлантик» с видом на бухту Сент-Уэн, хотя

моря они толком и не видели, ибо большую часть времени не вылезали из постели. «Ах, „Атлантик“, — сказала Ровена, — чудесный отель. Что вы там делали целую неделю?» — и Джонатан ответил: «Ну, ты же знаешь, зоопарк, сад орхидей, догуляли до Ла-Корбьера,^[95] пили чай в „Тайном саду“». Ровена расцвела такой довольной улыбкой от этого отупляюще светского маршрута, что Каролина едва удержалась, чтобы не сказать: «Вообще-то, мы целыми днями трахались как кролики».

«Значит, ты собираешься работать после свадьбы?» — спросила у нее Ровена в душном свадебном шатре, и Каролина кивнула, не считая необходимым вдаваться в детали. На воротнике Ровениного костюма из кремового шелка-сырца красовалось сочное пятно ярко-оранжевой пыльцы; Каролина надеялась, что химчистке оно не покорится.

Все в деревне хором твердили, как это трудно — быть директором школы, на деле же это было проще простого. Дети были просто прелесть, славные деревенские ребяташки: всего-то один с легким нарушением внимания, пара чесоточных, один отъявленный хулиган и, по статистике, еще должен был быть мальчик для битья (или девочка), которого (или которую) Каролина пока не вычислила. Практически все сносно читали (чудо), знали старые дворовые игры. Их жизнь подчинялась сельскохозяйственному календарю, так что праздник урожая действительно был праздником урожая, а весной на урок «Покажи и расскажи» кто-то привел самого настоящего, всамделишного ягненка. Было даже майское дерево^[96] на деревенской лужайке, вокруг которого дети танцевали, думать не думая о фаллической символике. Она полюбила эту работу и надеялась, что в случае развода сможет ее сохранить: при их феодальных порядках всем в округе заправлял помещик, а помещиком фактически являлся Джонатан. Не то чтобы она собиралась разводиться, но с трудом верилось, что так будет продолжаться вечно. Всему когда-нибудь приходит конец. Нельзя постоянно быть на шаг впереди. Не важно, как давно тебя потеряли, рано или поздно тебя найдут.

К тому же без работы ей здесь не выжить. Чем бы она занималась все дни напролет? Джонатан вот придумывал себе занятия. Постоянно заходил в фермерскую контору или мерил шагами холмы, осматривая поля и изгороди, но, чтобы управлять фермой, у него был управляющий, и все точно так же шло бы своим чередом, и не ходи он в контору, и не смотри на изгороди. Он часто брал с собой дробовик и стрелял дичь, мол, где ферма — там и охота, но на самом деле он просто любил стрелять (или убивать).

Он был метким стрелком и хорошим учителем, и вскоре Каролина открыла в себе талант к стрельбе. Но по зверью она не стреляла в отличие от Джонатана — только по мишеням, летающим тарелкам и консервным банкам. Ей нравилось огнестрельное оружие, нравилось ощущать в руках его тяжесть, нравился момент совершенного равновесия за миг до того, как спустишь курок, когда уже понятно, что попадешь в цель. Поразительно, что можно было преспокойно разгуливать по окрестностям (пусть даже по своим собственным), размахивая смертоносным оружием.

Когда Джонатан не притворялся, что управляет поместьем, и не отстреливал маленьких и беззащитных, он выезжал на одном из материнских гунтеров. У Каролины постоянно спрашивали: «Вы ездите верхом?» — и никто не верил, когда она отвечала, что нет. Ровена, разумеется, была «прекрасной наездницей», а Джемима, судя по всему, за годы брака с Джонатаном с лошади не слезала вообще. Знакомые вздергивали брови, как-де Джонатан мог жениться на той, что рысь от галопа не отличит, но ему было до звезды, любит ли она лошадей. В этом было одно из его несомненных достоинств — ему было все равно, чем она занимается, даже больше — все равно, чем в принципе занимаются другие люди. Она не сомневалась в том, что это — нарушение социального поведения; в другой жизни его вполне могли бы объявить психопатом. Психопаты повсюду, это необязательно убийцы, насильники или маньяки. Психопатические склонности — такой диагноз поставили Каролине. Точнее, не Каролине, а той, кем она была прежде. Каролина считала, что врачи дали маху. А кто определенно социопат, так это Джеймс: вот к чему приводит селекция.

Их мать Джемима прошлым летом приезжала в гости. Она была как статуэтка тончайшего английского фарфора и превосходно ладила с Ровеной. Они запоем обсуждали подпруги, мартингалы, красных девонширских и проблемы с «верхним лугом» — Каролина даже не знала, что у них есть «верхний луг», не говоря уже о проблемах.

— И все-таки... почему ты развелся? — спросила она, держа Джонатана в скользких, жарких, посткоитальных объятиях, покуда в полумиле от них Джемима укладывалась своей изящной белокурой головкой на подушки из пуха венгерского гуся, по сто двадцать фунтов за штуку, в одной из трех гостевых спален вдовьего домика.

— Боже, — простонал Джонатан, — Джем была такая зануда. Ты даже представить себе не можешь, Каро.

И он грязно гоготнул, перевернул ее на живот и вошел в нее сзади — что ни говори, выносливости ему было не занимать. И, полузадушенная

собственными подушками (стоившими не многим дешевле), она подумала, интересно, давала ли Джемима в попу, и решила, что вряд ли, но с девушками из высшего общества никогда не знаешь наверняка, они такие фортели могут выкинуть, о которых «деревенские свиньи» и не слышали.

Они провели медовый месяц на Джерси, потому что в последний момент Каролина обнаружила, что у нее нет паспорта. Джонатану было все равно, кроме Северного Йоркшира его как-то мало что интересовало. Она могла бы получить паспорт: у нее было свидетельство о рождении на имя Каролины Эдит Эдвардс. «Эдит» — это, наверное, в честь бабушки, думала Каролина, слишком уж старомодное имя для 1967 года. «Каролина Эдвардс» была на шесть лет моложе Каролины, хотя, понятно, не дожила до ее возраста. Та Каролина умерла, прежде чем ей исполнилось пять; могильная плита сообщала, что она «призвана ангелами», в свидетельстве о смерти же фигурировала прозаическая лейкемия. Каролина навестила могилу Каролины Эдит Эдвардс в Суиндоне и принесла ей скромный букет в благодарность за подаренную личность, хотя она и была скорее взята без спросу, нежели подарена.

Когда они наконец приехали домой, было уже половина шестого, и Ханна с Джеймсом немедленно потребовали есть. Паола сидела за кухонным столом, с мрачным видом, но тут же встала и принялась откапывать в морозилке мини-пиццы. Каролина сказала ей угомониться, все-таки у нее выходной. Деваться бедняжке здесь было совершенно некуда. Иногда она выходила прогуляться, но, приехав в Англию из Барселоны, к сырым зеленым равнинам девушка еще не прикипела. Бывало, Каролина подвозила ее до автобусной остановки по пути в школу, и Паола проводила день, бродя по Ричмонду или Харрогиту, но обратно добираться ей было неудобно. Чаще всего она оставалась у себя в комнате. Пару раз Каролина давала ей денег на поездку в Лондон на выходные, у нее там была сотня с лишним знакомых испанцев. При мысли, что она не вернется, Каролину охватывал ужас. Паола — единственная, кого она хоть с натяжкой могла назвать другом, и потом, она тоже была здесь чужой. Джиллиан давно уехала, теперь она работала по волонтерской программе в Шри-Ланке, и Каролина начинала жалеть, что сама этого не сделала.

Ровена не понимала, зачем держать няню, и постоянно изыскивала способы выжить Паолу. «Детей весь день нет дома, — спорила она с Каролиной. — Если бы у тебя был маленький ребенок, тогда другое дело». За этим утверждением скрывался вопрос. Планировала ли она рожать?

Ровена не хотела разжижать кровь Уиверов подозрительной ДНК. («Дорогая, так чем именно занимался твой отец?» Отец Каролины Эдит Эдвардс был мясником, но такого удара Ровена не пережила бы, поэтому она проямлила что-то насчет бухгалтера.) Ребенок им был не нужен, у них уже был наследник, и Ханна сойдет за запасного. У них была полная семья: двое взрослых, двое детей, — дом о четырех углах, прочный, как донжон. Больше ни для кого нет места, нет места для ребенка размером с букашку, что рос у нее в животе. Джонатана наверняка разопрет от гордости.

Сколько раз она будет повторять одну и ту же ошибку? Смысл ведь в том, что ты можешь совершить в жизни одну большую ошибку, исправить ее и никогда не делать снова. И даже не важно, исправишь ты ее или нет, потому что она всегда будет преследовать тебя, куда бы ты ни пошла, что бы ты ни сделала, — всегда найдется угол, завернув за который ты увидишь на полу букашку, надрывающуюся от плача и засыпающую в слезах. Букашку в новом комбинезончике из «ОшКоша».

Волосы у Джона Бёртона редели, и на макушке намечалось подобие монашеской тонзуры. Когда Каролина заметила эту проплешину, у нее сердце сжалось от нежности. Она не уставала поражаться, насколько нелепа может быть страсть. Он стоял на коленях у алтаря, исполняя, как ей показалось, какой-то религиозный обряд, но, подойдя ближе, поняла, что он подметает пол с совком и веником. Увидев ее, он смущенно засмеялся:

— Дама, что убирает в церкви, уехала в отпуск.

— Куда? — Ей понравилось, что он сказал «дама» вместо «женщина».

— На Майорку.

— Вы ей платите?

— Да, конечно, — удивился он.

— Мне казалось, в церквях всегда полно женщин, которые из любви к Господу составляют букеты, чистят-полируют и тому подобное.

— Это что-то из прошлого, — сказал он. — Или из телевизора.

Каролина присела на переднюю скамью.

— Сигарету бы сейчас.

Он сел рядом, в руках у него по-прежнему были веник с совком.

— Не знал, что вы курите.

— Я и не курю. Разве что изредка.

На нем были викарские брюки, черные, безликие и дешевые, белая футболка и старый серый кардиган, который ей хотелось погладить, как будто он живой. Даже «в штатском» он был типичный викарий. У нее не получалось представить его в джинсах или костюме. Почти наверняка он

понятия не имеет о том, что она к нему чувствует. Признавшись, она оскорбила бы его добродетель. Конечно, она совсем его не знает, ну и что с того? Может, он ей вовсе не подходит (даже скорее всего), и нельзя забывать, что она замужем (с другой стороны, что это меняет?), но ведь неправда, что в мире есть только один предназначенный тебе человек? Если так, то шансы встретить его стремились бы к нулю, и, зная свою везучесть, даже столкнувшись с ним нос к носу, Каролина его не узнала бы. А что, если твоя судьба живет в трущобах Мехико-Сити или отбывает срок по политической Статье в Бирме или это один из миллионов людей, отношения с которыми для нее невозможны? Например, преждевременно лысеющий англиканский викарий сельского прихода в Северном Йоркшире.

Ей внезапно захотелось плакать.

— От нас уходит няня.

Боже, как она сейчас жалка. Что есть одна несчастная испанская няня в сравнении с войнами и нищетой стран третьего мира? Но у него было доброе сердце, в нем она и не сомневалась, и он сказал:

— Мне жаль.

Так сказал, словно ему действительно было жаль. А потом они еще посидели в тишине, глядя на алтарь и слушая, как летний дождь барабанит по старой шиферной кровле.

Джулия втащила в гостиную ведро с углем. Следом за ней прихрамывал Сэмми.

— Не могу поверить, что Виктор так и не провел центральное отопление, — выдохнула она, грохнув ведро на пол, отчего угольная пыль и маленькие кусочки угля блестящим гагатовым дождем осыпались на ковер.

Амелия нахмурилась:

— Я только что тут прибралась.

— Это напишут на твоей могиле, — сказала Джулия.

А Амелия сказала:

— Уж не ты ли?

И Джулия ответила:

— Черт, мне так хочется, аж зудит!

И Амелия спросила:

— Чего именно?

— Две недели принудительного воздержания с тех пор, как мы тут. Мне просто крышу сносит, честно. Дрочу каждую ночь.

— Джулия, ради бога, как ты можешь такое говорить, это отвратительно.

Амелия терпеть не могла это слово: кровельщики и каменщики использовали его постоянно, и парикмахерши тоже, а они ведь все-таки девушки. «Эй ты, дрочер!» — орали они друг другу на всю аудиторию.

— А как еще это назвать? — спросила Джулия.

— Не знаю, например, «удовлетворять себя».

Джулия покатила со смеху и заявила:

— Боже, Милли, только не говори, что ты этого не делаешь, это все делают, это нормально, я уверена, что ты занимаешься этим, думая о Генри. Хотя нет, ты думаешь не о Генри, ты думаешь о Джексоне! — Джулия пришла в полный восторг от своей догадки. Амелии захотелось вlepить ей пощечину. — Правда ведь, Милли? Ты мастурбируешь и думаешь о Джексоне!

— Джулия, ты отвратительна. Оскорбительно отвратительна.

Амелия знала, что покраснела под стать колготкам, — она специально надела их на тот случай, если Джексон заглянет, а то на похоронах Виктора

он же глаз с ее ног не сводил. Проснувшись утром, она почувствовала, что кровь у нее в жилах стала как теплый мед, и подумала, что Джексон наверняка скоро появится. Она позаимствовала у Джулии косметичку и подкрасилась, а волосы оставила распущенными, потому что так женственнее, а потом сварила кофе и разогрела подсохшие круассаны, которые Джулия вчера купила. Она нарвала в саду цветов (выискала среди сорняков) и поставила их в вазу, чтобы Джексон посмотрел на нее и увидел в ней женщину. Но конечно же, он не приехал, у нее никогда не было интуиции, ни женской, ни какой другой. Это были фантазии, и ничего больше.

— У Милли новый парень, бедный Генри, Милли запала на Джексона, — пропела Джулия.

Как будто ей снова было восемь лет. В каком-то смысле Джулии всегда будет восемь, так же как Амелии — одиннадцать, как в тот год, когда мир остановился.

— Джулия, сколько тебе лет?

— Меньше, чем тебе.

— Пойду отсюда, пока я тебя не отлупила.

Амелия сбрызнула щеки холодной водой из крана на кухне. Джулия в гостиной продолжала хихикать; еще немного — и Амелия оторвет ей голову. Но Джулия не унималась и последовала за ней на кухню:

— Милли, ты такая дерганая, не могу представить тебя с Генри в спальне.

Амелия тоже не могла представить себя с Генри, потому что никакого Генри, конечно, не было. Он был вымыслом, созданным из ничего, вызванным к жизни выматывающими придирками Джулии насчет безбрачия Амелии и страхом перед ее настойчивыми предложениями «свести» сестру с кем-нибудь. «Спасибо, у меня уже кое-кто есть, — раздраженно заявила она Джулии после очередного допроса о ее интимной жизни, — коллега с факультета». И назвала первое попавшееся мужское имя — Генри, кличку собаки соседа снизу, отвратительного маленького пекинеса с круглыми глазенками, которые, казалось, вот-вот выскочат из орбит. «Если бы Генри был собакой, то какой породы?» — традиционно поинтересовалась Джулия, и Амелия, не подумав, ляпнула: «Пекинесом», — «Бедняга Милли», — нахмурилась Джулия.

Постепенно этот вымышленный Генри обзавелся полноценной индивидуальностью. Он был лысоват, с брюшком, предпочитал пиво крепким напиткам, и когда-то, очень давно, у него была жена, которая умерла от рака и за которой он преданно ухаживал дома. Детей у Генри не

было, только кошка по имени Молли, которая отлично ловила мышей. Так Амелия узнала, что главное, когда врешь, — это детали.

Отношения у Генри с Амелией были степенные, романтические: театр, арт-хаусное кино, итальянские рестораны, сельские пабы и бодрящие прогулки на свежем воздухе. Они уже дважды проводили вместе выходные, один раз в Мендипских холмах, а второй — в Северном Девоншире. Амелия подробно изучила оба направления в интернете на случай, если Джулия проявит любопытство в отношении географии или истории, но та, естественно, поинтересовалась только едой и сексом («Ой, Милли, не прикидывайся скромницей»). Важно было не выставить Генри чересчур интересным, чтобы Джулии не захотелось познакомиться с ним, поэтому секс был «немного монотонным», но вместе с тем «приятным» — от этого слова Джулию передергивало. Недавно Амелия сообщила ей, что Генри обожает гольф, заведомо зная, что о гольфе Джулия уж точно не станет расспрашивать.

Генри имел такой успех у Джулии, что Амелия решила представить его коллегам. Он отлично нейтрализовал равно жалостливые и насмешливые взгляды, которые она обычно к себе притягивала. Она слышала, как другие преподаватели называли ее «старой девой», и знала, что некоторые считают ее лесбиянкой. При мысли о лесбиянках ее начинало подташнивать. Джулия как-то сказала, что занималась сексом с женщинами, просто бросила в разговоре как ни в чем не бывало, словно рассказывая о любимом супермаркете или недавно прочитанных книгах. Амелия всегда старалась сохранять невозмутимое лицо, потому что Джулия, само собой, обожала ее шокировать. Неужели Джулия готова спать с кем угодно? Даже с собакой?

— Зоофилия? — задумчиво произнесла Джулия. — Ну, только если бы пришлось.

— Пришлось? Для роли?

— Ну нет, например чтобы спасти тебе жизнь.

Стала бы Амелия заниматься сексом с собакой, чтобы спасти жизнь Джулии? Какая ужасная была бы проверка.

Для завсегдатаев преподавательской с Генри ее познакомила сестра. Все полагали, что раз она актриса, то ведет богемную жизнь, — обычно Амелию это раздражало, но иногда бываю кстати. Этот второй Генри жил в Эдинбурге, что делало его недоступным для знакомства и занимало ее на выходные: «Да вот лечу в Шотландию, Генри берет меня на рыбалку» (по ее представлениям, именно так проводят время в Шотландии). При этом

она думала о королеве-матери,^[97] такой нелепой в этом своем макинтоше и бродовых сапогах, как она стоит посреди мелкой бурой речки (где-нибудь на окраине Бригадуна,^[98] не иначе) и ловит форель на удочку. Амелия никогда не бывала севернее Йорка, да и то только для того, чтобы посмотреть на Джулию в пантомиме, в роли кошки Дика Уиттингтона^[99] (интерпретация, очевидно, предполагала, что у кошки непрерывная течка). Амелия представляла себе, что между Йорком и наводненными членами королевской фамилии шотландскими горами простираются закопченные земли, где ржавеют подъемные краны и заброшенные заводы и где живут преданные короной, но хранящие ей верность люди.^[100] Да и, разумеется, вересковые пустоши, бескрайние угрюмые просторы под мрачным небом, и по этим просторам шагают угрюмые, мрачные мужчины с намерением достичь своего родового гнезда, распахнуть двери и выбрать осиротелых, но твердых духом экономок.^[101] Или — еще лучше — угрюмые, мрачные мужчины ехали верхом, и мощные крупы их вороных скакунов лоснились от пота...

— Милли?

— Что?

— Ты меня не слушаешь, я говорила, что на часть денег, что мы выучим за дом, можно будет устроить себе отличный отпуск.

Джулия разводила огонь в камине, сворачивая листы газет на растопку. Амелия нахмурилась и включила телевизор. Поначалу Амелия предлагала Джулии смотреть каналы покультурнее, «Перформанс», или «Дискавери», или, в крайнем случае, «ТВ5», чтобы освежить французский (правда, в поисках «ТВ5» пришлось пролистать порно и спорт), но Джулия подавила эту идею в зародыше («Милли, отвянь»), так что теперь они коротали вечера у камина под комедийные сериалы семидесятых годов и нафталиновые драмы: «Бержерак», «Полдарк», «Дуракам везет»^[102] — создавалось впечатление, что их гоняют в эфире по кругу.

— Настоящее путешествие, — продолжала Джулия, — сафари в Африке или трекинг по Непалу, можно посмотреть храмы Мачу-Пикчу или сплавать в Антарктиду. Что скажешь, Милли?

Амелия никогда не путешествовала, потому что у нее никогда не было попутчика. Она ездила в отпуск только с Джулией: один раз в Португалию (это было мило) и один раз в Марокко (это был кошмар), поэтому, по ощущениям Амелии, она видела мир сквозь маленькое окошко; и все же при мысли о том, чтобы поехать куда-нибудь, открыть для себя мир, оказаться в горах, посреди океана, в каком-нибудь опасном, незнакомом

месте, вдали от покоя английской гостиной, у нее от страха кружилась голова и тошнота подступала к горлу.

— Сделаешь Генри сюрприз, — трещала Джулия, — съездите на выходные в Нью-Йорк или в Париж, остановитесь в каком-нибудь шикарном отеле, в «Георге Пятом» или в «Бристоле»...

— Смотри, у тебя все погасло.

«Генри» довольно часто приезжал в Оксфорд на выходные, и, если ее спрашивали, в понедельник утром Амелия сообщала, что они провели «чудный» уик-энд: съездили в Кливден, «шикарно» пообедали в Брее. Подробности интересовались немногие, но среди ее коллег укрепилось мнение, что с тех пор, как Амелия встретила Генри, она стала не такой колючей и едкой.

Версия Генри, предназначенная для работы, была менее лысая и пузатая, чем состряпанная для Джулии. Кроме того, он вел более активный образ жизни — рыбалка опять же — и решительно лучше зарабатывал («что-то с финансами, о боже, не спрашивайте, для меня это все китайская грамота»). Ей особенно нравилось расписывать удачу этого Генри перед Эндрю Варди, еще одним преподавателем «коммуникативных навыков» и единственным мужчиной, с которым у Амелии — в реальной жизни — был секс.

Амелия переспала с Эндрю Варди десять лет назад, потому что боялась так и умереть старой девой. Потому что смешно быть девственницей в тридцать пять лет на исходе двадцатого века. Потому что она не понимала, как превратилась в труп, толком и не пожив. Она предполагала, что ее затяжная девственность — следствие застенчивости и склонности смущаться по каждому поводу; секс пугал ее до чертиков (и, если начистоту, внушал смутное отвращение). В университете у нее была репутация особы строгих правил, но она всегда ждала, что какой-нибудь парень (или угрюмый, мрачный мужчина) пробьет оборону и развеет все сомнения, внеся в ее жизнь секс и страсть. Но никто — ни угрюмый, ни мрачный — ее не хотел. Иногда она думала, что, возможно, у нее какой-то неправильный запах или совсем нет запаха, ведь у людей все так же примитивно — разве нет? — как у котов, пчеломаток и мускусных оленей.

Пожалуй, еще любопытнее то, что, пусть никто не хотел Амелию, сама она тоже никого не хотела, если не считать героев романов девятнадцатого века, что выводило идею недостижимости на новый уровень. Даже Сильвия не была девственницей, до своего «обращения» она переспала с десятками парней. Если Сильвия могла найти себе парня, Сильвия, которая выросла в

гадку утку, а вовсе не в лебедя, то почему Амелия не могла? Долго-долго Амелия ждала, что появится тот, кто заставит ее сердце забиться быстрее, затуманит ей разум и сотрет мозги в порошок, и, когда этого не случилось, она решила, что, может быть, безбрачие ей предназначено самой природой, что она должна возрадоваться (втайне) своей вестальской непорочности, прекратить изводиться по поводу неразорванной плевры и считать ее трофеем, недоступным простым смертным мужчинам. (Однако ценность сего трофея, по общему мнению, весьма сомнительна.) Ей было суждено умереть благородной королевой-девственницей, новой Глорианой. [\[103\]](#)

Тогда у нее выдался тяжелый период, в основном из-за невозможности наладить «коммуникацию» с каменщиками, кровельщиками и парикмахершами и отчасти из-за тщеты бытия (вообще, конечно, любой, кто хоть чуть-чуть умеет думать, вечно бредет в экзистенциальном мраке), — так вот, когда она была наиболее слаба и уязвима, Эндрю Варди возьми да и скажи: «Знаешь, Амелия, если тебе вдруг захочется секса, я буду рад оказать тебе услугу». Без церемоний. Словно она корова, которую нужно осеменить. Или девственница, которую нужно дефлорировать. Неужели он по одному ее виду понял, что она чиста и непорочна? Как все-таки раньше красиво выражались. Кровельщики сказали бы «целка». Им, поди, и не попадались девственницы. И приличных слов для секса у них не было, только и знали, что «трахаться» (каждый божий час, если им верить). И парикмахерши не лучше.

Она взяла у Филипа, соседа с пекинесом, отросток папоротника, венерин волос, и принесла в колледж, чтобы оживить безотрадную обстановку в преподавательской. И один грязный старый козел, который вел себя в преподавательской, точно в библиотеке Лондонского джентльменского клуба, заявил: «Сколько все же чувственности в названиях растений. Венерин волос — как пушок на лобке девственницы, — что может быть восхитительнее?» Раздались смешки (в том числе и женские, уму непостижимо). Амелии захотелось разбить горшок с папоротником о его голову. «А пеннисетум мохнатый? — не унимался тот. — Только вдумайтесь, как звучит!» Отрезать бы ему его пеннисетум. Тут же заткнулся бы. Она уткнулась в книги, делая вид, что готовится к занятию (которого у нее не было), и пряча пунцовое от стыда и унижения лицо. К счастью, растение скоро завяло и погибло, и Амелия вовсе не искала в этом никакой метафоры, но, когда пару недель спустя Эндрю Варди проявил инициативу, она сама удивилась своему ответу.

Теперь, глядя на Эндрю Варди сквозь пропитанную духом быстрорастворимого супа и усталостью атмосферу преподавательской, она

недоумевала, как ей могло прийти в голову — мерзко вспоминать — раздеться в его присутствии, не говоря уже о том, чтобы соединиться интимными, нежными частями своей анатомии с его — уродливыми и пупырчатыми. Единственный ее мужчина — и он не был даже отдаленно привлекателен: изрытая угревой сыпью кожа и педерастические усики (и почему жена до сих пор не заставила его их сбрить?). Геом он не был, как раз наоборот, он был католиком, и у него было пятеро детей, а еще он был довольно маленького роста, по правде говоря чуть ниже Амелии, зато с ним бывало весело, а это уже что-то, и целых два года они обменивались циничными репликами за кофе, а иногда вели философские беседы за очередным несъедобным обедом в кафетерии. Эндрю был скрягой (как-никак, пятеро детей, заметил он) и предлагал Амелии заплатить за нее только в те дни, когда комплексный обед готовили и подавали первокурсники с факультета гостиничного менеджмента — за полцены, ибо риск умереть от пищевого отравления был в два раза выше.

Амелии льстило, что Эндрю Варди ценит ее общество, потому что, судя по всему, он был такой один, и так однажды, под занавес утомительного дня, когда в преподавательской оставались только они вдвоем, он произнес те самые сладкие слова обольщения (еще раз: «Знаешь, Амелия, если тебе вдруг захочется секса, я буду рад оказать тебе услугу»), и ей подумалось: а почему бы и нет?

Конечно, не сию секунду, не в преподавательской — какой срам, если бы он овладел ею посреди смятых газет и грязных кружек с остатками «Нескафе», а она бы всю дорогу переживала, что вот-вот заявится уборщица. Но нет, он просто взял свой рюкзак и сказал: «Пока, завтра увидимся», словно между ними не произошло ничего особенного.

До Эндрю Варди Амелия представляла, что секс будет (так или иначе, бог уж знает как) смешением мистического и грубого плотского начал, смутным жарким переживанием, которое выйдет за пределы механических движений. Чего она не представляла, так это того, что секс будет банальным, скучноватым и по-прежнему будет внушать смутное отвращение.

Она набралась храбрости и пригласила его «как-нибудь вечером на чашку кофе». Она была вполне уверена, что он понял намек, но, если бы, кроме кофе, ничего не произошло, она не выглядела бы полной дурой. Она купила женский журнал, к которому прилагался буклет «Как свести его с ума в постели», и попыталась (безуспешно) выучить пару советов оттуда наизусть. У нее было такое чувство, будто она готовится к экзамену,

который непременно провалит. Неужели кому-то нравится, когда на соски льют горячий воск? Он что, будет это делать? Конечно нет. «Раздевайся медленно, — советовала книжица. — Мужчины обожают стриптиз». Амелия, скорее, надеялась, что удастся как-нибудь провести всю процедуру в одежде. Тем не менее она побрила ноги и подмышки, несмотря на то что всю жизнь не могла понять, что плохого в волосах на теле, и покрасила (неудачно) ногти на ногах, приняла душ и побрызгалась чем-то французским из забытого Джулией флакона. Она будто готовила себя к жертвоприношению. Достала припасенную бутылку дорогого бордо и купила фаршированные оливки и арахис, точно устраивала вечеринку «Таппервер».^[104] Она однажды была на вечеринке «Таппервер», по приглашению знакомой с факультета косметологии и парикмахерского искусства, и купила очень полезную вещь — дозатор для хлопьев. Для нее это был единственный «выход в свет» за последние пять лет.

Оливки с арахисом в буклете не упоминались, зато там был вариант с попкорном, более уместный, по мнению Амелии, в порнофильме, а не в обычном женском журнале. Так и не подумав, что секс предназначен для продолжения рода, что это всего-навсего соединение половых органов самца и самки с вполне рациональной целью. Уж точно не с подачи авторов «Как свести его с ума в постели», для которых смысл секса, похоже, был в затыкании всех отверстий подручными предметами.

Амелия ждала пять вечеров подряд. На шестой вечер она начала думать, что ослышалась или что он предложил «оказать услугу» в каком-то другом смысле: одолжить книгу или программу для компьютера. В преподавательской они не упоминали ни о кофе, ни о сексе, лишь обсудили, как бы притвориться, что кровельщики усвоили всю программу курса, чтобы побыстрее сбить их с рук. Она перестала готовиться каждый вечер, ноги у нее заросли щетиной, а все «советы» вылетели из памяти, и, конечно же, по закону подлости Эндрю Варди появился на пороге, когда она — в одежде что-не-жалко — красила прикроватную тумбочку, которую купила на аукционе.

Ни цветов, ни шоколада, ни ухаживаний — хоть каких-то ухаживаний она все же ожидала, — и, когда она спросила: «Выпьешь кофе?» — он сально ухмыльнулся, и она поставила на стол хорошее вино только потому, что знала, что не сможет пройти через это в трезвом уме. Она выложила оливки с арахисом на стеклянные тарелочки и поставила на журнальный столик. Другие тоже так делали? Другие женщины, готовясь принять любовника? Разве они не умащались душистыми маслами и благовониями и не расчесывали волосы, чтобы лечь на шелковые простыни и подставить

подобные плодам граната перси поцелуям возлюбленного? Точно не закуски расставляли?

Как только они сели на диван, он принялся целовать ее; губы у него были сухие и потрескавшиеся. На нем была та же одежда, которую он надевал в колледж, и от него пахло затхлостью. Потом он стянул с Амелии заляпанную краской футболку и ухватился за ее груди, разминая их, как куски пластилина, и одновременно расстегивал свои брюки, и она подумала, зачем было зубрить какие-то советы для такой прелюдии. Прижатая к диванным подушкам, она не видела, чем он там занят, и, когда до нее дошло, что он надевает презерватив, она смутилась до невозможности (смешно, конечно), при этом часть ее хотела, чтобы он немедленно остановился и обсудил с ней католицизм и этические проблемы контрацепции, — в конце концов, у него пятеро детей, у него что, для жены одни правила, а для любовницы — другие (она не без дрожи применила к себе это слово)? И вообще, неужели он правда верит в непогрешимость папы, она часто задавалась вопросом, как разумный человек (Сильвия, например) может верить в такую чушь, но момент для догматических споров был упущен, потому что он уже пристраивался у нее внутри (ощущения были намного более гладкие и холодные, чем она ожидала), и она подавила инстинктивное желание оттолкнуть его, потому что все это было так неудобно и неестественно. Они немного покатались по дивану, разбросав арахис и опрокинув вино (какая небрежность с его стороны), а потом он вдруг испустил протяжный животный звук, как телящаяся корова, и в следующую секунду его обмякший член выскользнул из нее и дохлой золотой рыбкой шлепнулся на ее бедро.

Амелия посмотрела на потолок и увидела трещину, которой прежде не замечала. Она всегда там была или это дом просел? Она посмотрела на пол, на разбросанный арахис и огромное винное пятно на светлом ковре, как блеклая кровь, и подумала, смогут ли его вывести в химчистке.

Эндрю Варди собрал себя и свои вещички в кучку; на плече его пиджака красовалась засохшая белая пена, в которой Амелия заподозрила младенческую отрыжку. Внутри у нее все опустилось. «Извини, Амелия, пора бежать, — сказал он, как будто она умоляла его остаться. — Обещал Верни купить молока». Очевидно, ее втиснули в список покупок. Пинта молока и быстрый перепах. Итак, она проводила его до двери, где он чмокнул ее в щеку и сказал: «Это было просто обалденно», а потом забросил себе в рот оливку, точно показал трюк на вечеринке, и ушел! Чуть ли не перепрыгивая через ступеньки, яростно облаиваемый откуда-то снизу пекинесом Генри. На диване было еще одно пятно, более темное, и лишь

через несколько секунд Амелия поняла, что это не бордо, а ее собственная кровь. У нее подкосились колени, и она мешком осела на пол. Она чувствовала себя оскверненной. Услышав, как отъезжает замызганный детьми «пассат» Эндрю Варди, она разрыдалась.

Она хотела Джексона. Отчаянно. Да, она думала о нем, лежа в постели и удовлетворяя себя, боже, какое дурацкое выражение. «Мистер Броуди спасет тебя», — сказала Джулия, когда заявила, что он немецкая овчарка. Амелии хотелось, чтобы Джексон ее спас, ей хотелось этого больше всего на свете. Джексон являл собой надежду, обещание и покой, думать о нем было все равно что держать в руке прогретую солнцем гальку, вдыхать запах роз под дождем, предвкушать возможность перемен. Может, просто сказать ему: «Джексон, если вам вдруг захочется секса, я буду рада оказать вам услугу»?

Она принялась раздеваться, чтобы лечь в постель. Было рано, слишком рано, чтобы спать. Небо за окном еще не потемнело, и она вспомнила, как в детстве ей нравилось, что летом нужно было ложиться засветло, потому что она боялась темноты. Это было до того, как исчезла Оливия. А потом ощущения безопасности не было уже ни при свете, ни в темноте.

Она рассматривала свое обнаженное тело в потрескавшейся амальгаме мутного зеркала на маленьком шифоньере Сильвии. Ее плоть напоминала творожный сыр, под кожей перекачивались валики жира, как у человечка с рекламы шин «Мишлен», живот подворачивался складкой, груди отвисли под собственной тяжестью — она выглядела так, будто родила с дюжину детей, как древний символ плодородия, вырезанный из камня. Но ведь в ней не было ничего плодородного. Детородная пора оставалась для нее позади, ее матка начинала усыхать. «Я еще успею ребеночка сварганить», — заявила вчера Джулия в своей обычной отвратительной манере. У Амелии на это времени уже не было, и скоро она станет совершенно бесполезна для этой планеты. Никто никогда не считал ее привлекательной, никто так и не захотел ее, ее не хотел даже Виктор — собственный отец не совратил ее, потому что она была слишком уродлива...

Ее мысли прервал страшный протяжный крик, словно Джулию потрошили заживо, вопль крайнего ужаса. Амелия схватила халат и помчалась на первый этаж.

Джулия лежала на полу в углу кухни, и Амелия вначале подумала, что с ней случилась беда, но потом разглядела, что сестра сжимает в объятиях

Сэмми. Его глаза помутнели, — очевидно, пес уже угасал, но, услышав встревоженный голос Амелии, слабо стукнул хвостом по полу.

— Я вызову ветеринара? — спросила Амелия, но Джулия, зарывшись лицом в собачью шею, глухо ответила:

— Уже слишком поздно. Думаю, с ним случился удар.

— Тогда нужно вызвать ветеринара.

— Нет, Милли, не нужно, он умирает, он старый пес. Не надо его тревожить.

Джулия поднесла его лапу к губам и поцеловала. Она шептала ласковые слова в ухо умирающему псу, целовала его в уши, в нос, в пасть, терлась лицом о пушистую белую морду. Амелия ненавидела сестру за то, что та так уверена в своей правоте.

— Просто погладь его, — сказала Джулия, но Амелия копалась в «Желтых страницах» в поисках круглосуточной ветеринарной службы, поэтому пропустила момент, когда собака умерла, и поняла, что все кончено, только когда Джулия встала с пола, вся в шерсти, с помятым лицом. Наверное, она так баюкала пса не один час.

Она не могла этого вынести. Она позвонила Джексону, потому что ей хотелось, чтобы он прекратил ее страдания. Никто другой, только Джексон. Ей хотелось, чтобы Джексон взял ее на руки и утешил, как Джулия утешала собаку. (*«Пожалуйста, Джексон, приезжайте, вы мне нужны».* Невероятно, что она произнесла эти страстные, отчаянные слова. Но она чувствовала страсть. И отчаяние.) Чего ей не хотелось, так это чтобы он появился на пороге с таким задолбанным видом (отлично, она уже говорит, как кровельщики) и уж тем более в компании ребенка. *Своего* ребенка. У нее и в мыслях не было, что у него есть дети, она никогда его не спрашивала. А жена? Об этом она и спросила, едва он переступил порог, набросилась с обвинениями как чокнутая; видок у нее действительно был безумный: на голове черт-те что, лицо красное от слез, груди болтаются туда-сюда под халатом. «Я и не знала, что вы женаты, мистер Броуди». Она выплюнула в него эти слова, как будто он ее предал. Девочка выглядела расстроенной, и Джексон разозлился еще больше, потому что Амелия расстраивала его дочку. Ситуацию спасла Джулия: «Извините, мистер Броуди, мы сегодня сами не свои, боюсь, бедный Сэмми умер». Потом было совсем грустно. Джулия все подливала бренди, а девочка проявляла несколько нездоровый интерес к мертвой собаке, гладила шкурку, приговаривая: «Бедный мертвый песик», пока Амелии не захотелось вlepить ей пощечину, потому что это была не ее собака, — хотя, вообще-то,

это была собака Виктора. Джексон объяснил девочке, что собака теперь счастлива в собачьем раю, а потом Джулия помогла Амелии подняться наверх и лечь в постель, и там она и лежала с тех самых пор, тихо, но от этого не менее безобразно рыдая, и слезы все не кончались, потому что для них было слишком много причин.

Она плакала просто потому, что была несчастна (такое, разумеется, время от времени позволено всем), оплакивая себя и свою бессмысленно иссякшую маленькую жизнь. Это правда было выше ее сил. Оплакивая Виктора, и Оливию, и Розмари, и Плута (который умер через два года после исчезновения Оливии). Она плакала, потому что единственным ее мужчиной был Эндрю Варди, и потому что Моцарт умер молодым, а Сэмми умер от старости, и потому что она была толстой уродиной и должна была учить кровельщиков, и ей никогда не обрести покой в Джексоновых объятиях.

Она плакала, потому что не верила в Иисуса и собачий рай и потому что никто никогда не будет лежать с ней в постели воскресным утром и читать газеты или массировать ей спину и спрашивать: «Ты чего-нибудь хочешь, дорогая?» И потому что не было никакого счастья, одна пустота. И потому что ей хотелось, чтобы ей было шестнадцать и у нее были длинные блестящие волосы (каких у нее никогда не было), ей хотелось нетерпеливо выглядывать из окна на втором этаже и слышать, как мать кричит снизу: «Приехал!» — и тогда она легко сбежала бы по лестнице и села в машину, за рулем которой сидел бы ее красивый парень, и они уехали бы за город и занялись жарким и невнятным сексом, а потом он отвез бы ее домой, где ее ждала вся семья. Она бы вошла, и Виктор приветствовал бы ее грубоватым отцовским кивком, упрямый подросток Джулия не обратила бы на нее внимания, а стройная первокурсница Сильвия покровительственно улыбнулась бы. Где-нибудь, может быть в гостевой спальне, угадывались бы неясные очертания спящей пятилетней Аннабель. И Розмари, ее мать, спросила бы у нее заговорщически, как женщина женщину, хорошо ли она провела время, а потом предложила бы горячего молока с медом (чего в реальной жизни та точно никогда не делала), и, может быть, перед тем, как провалиться в сладкий, спокойный сон шестнадцатилетней красавицы, Амелия заглянула бы к восьмилетней Оливии, спящей в безопасности в своей кровати.

Посреди ночи к ней в спальню вошла Джулия и легла рядом, обняв ее так, как обнимала умирающего Сэмми. Она повторяла: «Все хорошо, Милли, все хорошо», и эта ложь была так велика и прекрасна, что с ней и спорить не стоило.

— Господи, Джексон, что с тобой случилось?

Джексон уловил в голосе Деборы Арнольд те же нотки упрека, что и у Джози.

— Спасибо, мне уже намного лучше. — И он прошел в святая святых, где его ждала Ширли Моррисон.

Увидев его, она откровенно поморщилась (а она ведь медсестра, значит, видок и впрямь не очень). Под глазом у него красовался великолепный фингал, трудами Дэвида Ластингема (вот ублюдок), и, судя по всему, удар по голове и ночь, проведенная без сознания под открытым небом, не добавили ему привлекательности.

— Все не так плохо, как кажется, — сказал он Ширли Моррисон, хотя, пожалуй, именно так плохо и было.

Ширли Моррисон сидела в позе «лотос». У нее была прямая спина и тонкое тело танцовщицы. Ей было сорок, но можно было дать и тридцать, пока не помотришь в глаза и не увидишь, что она пережила столько, что хватило бы для нескольких жизней. Он знал, кто она, — она не сменила фамилию; это случилось, до того как Джексон перебрался в Кембридж, но, когда он попросил Дебору выяснить насчет нее, та тут же сказала: «Ширли Моррисон — это не сестра Мишель Флетчер? Убийцы с топором?»

— ...Она просто сидела на полу, с топором в руках. Не знаю сколько. По заключению патологоанатома, к тому моменту Кит был мертв уже около часа.

Ширли Моррисон обхватила чашку с кофе обеими руками, словно пытаюсь согреться, хотя в кабинете Джексона было жарко, как в аду, а кофе давно остыл. Она уставилась в пространство, и у Джексона сложилось впечатление, что она мысленно просматривает отчет о вскрытии Кита Флетчера.

— Когда я вошла, — продолжала Ширли, — она улыбнулась мне и сказала: «А, это ты, Ширли, я так рада, что ты приехала, я испекла тебе шоколадный торт». Я сразу поняла, что у нее поехала крыша.

— Защита ссылалась на временное помешательство, — заметил Джексон.

Дебора собрала ему факты, разбавив их сплетнями. Мишель Роуз Флетчер, урожденная Моррисон, восемнадцати лет, осуждена пожизненно за, по словам уважаемого судьи, «хладнокровное предумышленное убийство своего супруга, ни в чем не повинного человека». Джексон не верил в невинность кого бы то ни было, за исключением животных и детей, причем не всех детей. Он предложил ей еще кофе, но она помотала головой, точно отгоняя насекомое.

— У Мишель всегда все должно было быть под контролем. До фанатизма доходило. Но я все равно очень ее любила, она была моей старшей сестрой, понимаете?

Джексон кивнул. Он понимал, что значит старшая сестра. У него самого была старшая сестра, Нив.

— Ей нужен был идеальный порядок во всем. Всегда и во всем. Я понимаю почему, я хочу сказать, мы ведь росли... — Ширли Моррисон пожала плечами, подыскивая слово. — В сущем хаосе. Наша мать и с собакой не могла управиться, не говоря уже о доме и детях. Папа пьянствовал, а у мамы все из рук валилось. Для Мишель было очень важно не стать такой, как они. Но ребенок ее доканывал. Младенцы-то не поддаются контролю.

— Значит, по-вашему, она страдала от послеродовой депрессии?

Джексон вспомнил, как Джози после рождения Марли дни напролет плакала, оттого что была несчастна, а Марли плакала по ночам от колик. Джексон чувствовал себя совершенно бесполезным, потому что не мог помочь ни той, ни другой. А потом все вдруг прекратилось, солнце вышло из-за туч, и Джози посмотрела, как Марли мирно спит у себя в колыбельке, засмеялась и сказала Джексону: «Такая миленькая. Давай оставим ее у себя?» Давным-давно, когда они были счастливы.

Ширли Моррисон взглянула на него, мол, он-то что знает о послеродовых депрессиях, потом пожала плечами:

— Может быть. Вероятно. Она совсем не спала, а от недосыпа крыша едет. Но они все хотели ее крови: пресса, семья Кита. Он не сделал ничего плохого, не бил ее. Хороший был парень, добродушный такой. Мне он нравился. Он всем нравился. И он обожал Таню.

— У Мишель были синяки на лице, — вставил Джексон.

Ширли без выражения посмотрела на него:

— Синяки?

— Так записано в отчете офицера, производившего арест. Почему защита это не использовала?

— Не знаю.

У Ширли были изящные, дочерна загорелые ступни, надо полагать, она много ходила босиком. В индейских сандалиях из тисненой кожи они смотрелись особенно хорошо. Джексону нравились женские ноги, не в фетишистском смысле (он на это надеялся) и только не уродливые, — по какой-то таинственной причине у красивых женщин часто бывают уродливые ступни. Просто красивые ступни казались ему привлекательными. (Он, кажется, начал оправдываться.) У Николы Спенсер, к примеру, были большие ноги. Сейчас она была в ночном рейсе в Копенгаген, поди, бог знает чем занималась.

— Запах стоял невероятный, ужасный, это мне больше всего запомнилось, просто... тошнотворный. Таня сидела в манежике и прямо заходила от крика, я ни до того, ни после не слышала, чтобы ребенок так кричал. Я детская медсестра, — добавила она, — в отделении интенсивной терапии.

Джексон это уже знал — позвонил в больницу и спросил: «Так в каком отделении Ширли Моррисон?» — и ему сказали. Получить информацию проще, чем кажется большинству людей. Задайте вопрос — получите ответ. Не на важные вопросы, понятно, не о том, кто убил Лору Уайр или где находятся останки Оливии Ленд. Или почему женщина, которую он когда-то обещал любить и беречь до последнего вздоха, решила увезти их единственного ребенка на другой конец света. Вот так взяла и решила. («Да, Джексон, взяла и решила».)

— Первым делом я взяла Таню на руки, но она все равно орала. Она была грязная, бог знает когда ей в последний раз меняли подгузник, и вся забрызгана кровью. — Ширли Моррисон запнулась и на мгновение потеряла самообладание, вспомнив эту картину и все, что с ней было связано. Она смотрела в окно, но ее взгляд был обращен не на улицу и не в настоящее. — На ней был новый комбинезончик, которые я ей купила. «ОшКош». Я работала в магазинчике недалеко от дома, после школы, по субботам. Мы с Мишель всегда работали, иначе у нас бы ничего не было. Помню, я подумала, какой он дорогой, этот комбинезон, и что кровь никогда не отстирается. Моя сестра только что убила моего зятя, а я думала про выведение пятен.

— При сильном стрессе происходит диссоциация, чтобы человек не сошел с ума.

— Мистер Броуди, вы считаете, что я этого не знаю?

Ногти на ногах Ширли Моррисон были покрыты светлым лаком, а на одной лодыжке она носила тонкую золотую цепочку. Джексон помнил времена, когда браслеты на лодыжках носили только распутные девицы и

проститутки. Когда Джексон был маленький, на их улице жила проститутка. Она подводила глаза изумрудно-зеленым и ходила в красных туфлях на шпильке, и у нее были белые ноги с просвечивающими венами. Носила ли она браслет на лодыжке? И как ее звали? Джексон обычно в панике пробегал мимо ее дома, боясь, что она выйдет и схватит его: мать сказала ему, что эта женщина — «прислужница Сатаны», что сбило его с толку, потому что Сатаной звали собаку — здорового ротвейлера их соседа по огородному участку.

Джексон уже давно не вспоминал про ту улицу, про мрачный ряд домов и проходы-туннели, ведущие в переулок. Когда Джексону исполнилось девять, они переехали на улицу классом повыше, где не разгуливали, дымя сигаретами, шлюхи. Интересно, Ширли Моррисон замужем? У нее было кольцо на пальце, но не обручальное и не такое, какое дарят на помолвку. Серебряное колечко то ли с кельтским, то ли со скандинавским орнаментом — что бы это значило?

— Когда я взяла Таню на руки, Мишель засмеялась и сказала: «Любит она поголосить, правда?» Вот это — настоящая диссоциация.

— У нее должна была быть хоть какая-нибудь причина, чтобы убить его, — размышлял Джексон. — Даже если это не было спланировано. Значит, что-то ее спровоцировало.

Казалось, из кабинета выкачали воздух. Еще не перевалило за полдень, но солнце уже палило вовсю. Светло-каштановые волосы Ширли были небрежно собраны наверх, и тонкие волоски у нее на загривке потемнели от пота. Что, если пригласить ее на ланч в уютный паб с садом или, может, купить по сэндвичу и прогуляться вдоль реки? Это не было бы непрофессионально, просто они вынесли бы встречу за пределы офиса. Кого он пытается обмануть? Его мотивы не имеют с профессионализмом ничего общего.

В случае смерти Джози Джексон получил бы полную опеку. Марли не увезли бы на другой конец света. («Во „Властелин колец“», [\[105\]](#) — сообщила она с восторгом, словно Бильбо с Гэндальфом и вся честная компания живут в Новой Зеландии и ждут не дождутся, когда же она к ним присоединится. Книги она не читала, но зато видела фильмы на DVD; Джексон считал, что для восьмилетнего ребенка они слишком страшные, но Дэвид Ластингем, как выяснилось, был иного мнения.)

Джози не сдержала ни одного из данных когда-то обещаний — любить и почитать его, хранить ему верность, — а он так отчетливо помнил, как дрогнул у нее голос на словах «пока смерть не разлучит нас». У них была традиционная церемония. Теперь же она планировала свадьбу на

тропическом пляже с маорийским госпел-хором и самодельными клятвами. Она собиралась выйти замуж за этого ублюдка и «начать новую жизнь».

Джексон раздумывал, способен ли убить Джози. Эрудирован в этом вопросе он был лучше многих — знал все возможные способы. Но загвоздка не в том, как убить, а в том, как остаться безнаказанным. Он не стал бы сидеть полдня с топором на коленях. Как там поется в песенке про Лиззи Борден?^[106] «Лиззи хватъ за рукоять, сорок раз прибила мать». Если бы он убил Джози, это было бы «предумышленное хладнокровное убийство»: пожар, взрывчатка, огнестрельное оружие.

Предпочтительнее снайперская винтовка Л96-А1 с оптическим прицелом «Шмидт и Бендер», чтобы можно было находиться как можно дальше, — он не смог бы убить ее с близкого расстояния, задушить или зарезать, не смог бы стоять рядом и смотреть, как ее неверное сердце перестает прокачивать кровь, как гаснут ее глаза. Яд тоже не пойдет. Яд — удел психопатов и сумасшедших викторианок. Действительно ли его хотели ограбить прошлым вечером? У него ничего не пропало: бумажник, часы, машина — все на месте, но опять же он ведь врезал тому парню прежде, чем тот смог что-нибудь взять. По опыту Джексона, уличные грабители обычно не пытаются раскроить жертве череп. «Тут много всякого сброда ошивается, сэр», — прокомментировал констебль («детектив Лаутер, сэр»), который брал у него показания. Полиция прислала детектива, хотя в таких случаях обычно ограничивались участковым. Джексон полагал, что должен быть польщен. Он помнил детектива Лаутера, когда тот еще был рьяным новобранцем. «В этом районе сейчас всплеск ограблений, инспектор», — сказал Лаутер. «Я теперь просто мистер Броуди», — сказал Джексон. Забавно, он никогда не был «мистером Броуди» — в шестнадцать он пошел в армию, а до того был просто Джексоном и иногда «Броуди!», если учителем был мужчина. Потом он стал «рядовым Броуди» и так далее вверх по званиям, пока не демобилизовался и не начал заново «констеблем Броуди». Он до сих пор не разобрался, нравится ли ему быть «просто мистером Броуди».

«У вас есть враги, сэр?» — с надеждой спросил детектив Лаутер. «Да нет вроде», — ответил Джексон. Разве что все знакомые.

У Джексона уже рубашка прилипла к спине. Слишком жарко, чтобы сидеть в офисе.

— Я не знаю, что ее спровоцировало, — сказала Ширли. — Она просто обезумела.

Всегда есть причина. Защита могла бы использовать кучу доводов: приступы психоза, недостаток сна, подавленность из-за ребенка, трудное

детство, самозащита (как насчет синяков у нее на лице?).

— В суде, — заметил Джексон, — Мишель сказала, что Кит разбудил ребенка. «Она спала, а Кит разбудил ее» — из всего, что она сказала, это больше всего напоминает мотив.

Джексон мог себе представить, какое впечатление это произвело на судью. С таким же успехом она могла просто признать себя виновной. Мишель Флетчер не сбежала и ничего не выдумала, она просто ждала, пока ее найдут. Найдет собственная сестра.

Если Мишель отбыла две трети срока, то, получается, она вышла на свободу в восемьдесят девятом, в двадцать восемь лет. Столько же было бы сейчас Лоре Уайр, останься она в живых. Джексон готов был поспорить, что Мишель была образцовой заключенной, к восемьдесят пятому — в открытой тюрьме, наверняка навестывала с экзаменами, чтобы начать «новую жизнь», когда освободится. Как Джози. Начать все с нуля, стереть прошлое. Чем сейчас занимается Мишель? Ширли Моррисон, само собой, не знала. За этим она сюда и пришла.

— Я обещала Мишель позаботиться о Тане, — сказала Ширли. — И я сдержала бы слово, но мне было всего пятнадцать, и социальная служба решила, что наши родители не подходят на роль опекунов — а так оно и было, — и передали опеку родителям Кита. Но они были не намного лучше. В последний раз я видела сестру в зале суда, когда ей вынесли приговор. Она отказалась с нами встречаться, отклоняла все заявки на свидания, отказывалась читать письма — мы ничего не могли поделать. Я еще могла понять, почему она не хочет встречаться с родителями, — они оба умерли, так больше ее и не увидев. Но чтобы отказаться от встреч со мной... я хочу сказать, мне было плевать, что она убила Кита, она по-прежнему была мне сестрой, и я ее любила. — Ширли пожалала плечами и добавила: — Любой способен на убийство в определенных обстоятельствах.

Она снова уставилась вдаль, в мир по ту сторону окна, и Джексон подумал, что мог бы сейчас сказать: «Знаю, я и сам убивал», но ему не хотелось затевать этот разговор в половине двенадцатого утра в понедельник при такой температуре, поэтому он промолчал.

— Нам сообщили, когда она вышла, — продолжала Ширли, — но она так и не подала весточки. Я понятия не имею, куда она уехала и чем сейчас занимается. В конце концов, она создала себе новую жизнь, а свою старую оставила нам. «Убийство» — это как клеймо, правда? Паршиво это. Я хотела поступить в колледж, стать врачом, но после всего, через что мы прошли, это было невозможно.

— И теперь вы хотите, чтобы я отыскал вашу сестру?

Ширли рассмеялась, как будто он сморозил глупость.

— Ну нет. Зачем мне искать Мишель, если она ясно дала понять, что не хочет этого? Я ей больше не нужна. Я не собираюсь искать Мишель, я хочу найти Таню.

Бинки накрыла чай в саду. В окружении этих буйных зарослей за чайным столом больше был бы к месту мачете, нежели избыточный арсенал потемневших от времени ножей для масла и ложечек для варенья, являвшихся частью Бинкиной сложной чайной церемонии.

— Дарджилинг, — объявила Бинки, разливая серую бурду, простившуюся с чайной плантацией лет пятьдесят назад и разившую старыми носками. Чашки, судя по всему, отмыть уже не было шансов. — Сегодня к нам присоединится гость, — объявила она тоном ведущей рейтингового ток-шоу, — мой внучатый племянник Квинтус.

Матерь божья, как же он живет с таким имечком?

— В самом деле? — удивился Джексон; Бинки никогда не говорила, что у нее есть семья.

— Я его едва знаю. — Она пренебрежительно махнула рукой. — Мы с племянником никогда не были близки, но, кроме этого мальчика, у меня никого нет.

Неужели Бинки Рейн когда-нибудь с кем-то была близка? Трудно представить, что в самом деле был некий доктор Рейн, который делил с ней ложе и стол. Конечно, она не могла быть вечной старухой, но с трудом верилось, что она была юной цветущей женушкой, покорной сексуальным прихотям «Джулиана», — черт, Джексон, выбрось эту хрень из головы. Он был настолько смятен отвратительной картиной, нарисованной ему воображением, что опрокинул свой чай, — хотя вряд ли для скатерти, ставшей палимпсестом бесчисленных предыдущих чайных аварий, имело значение еще одно пятно.

— Что-то не так, мистер Броуди? — поинтересовалась Бинки, промокнув чайную лужу подолом юбки, но не успел он ответить, как из дальнего конца сада прозвучал странный звук, будто клич охотничьего рожка, возвестивший о прибытии Квинтуса Рейна.

Бинки сказала «мальчик», и Джексон ожидал увидеть подростка, но Квинтус оказался внушительным дядькой за сорок, с крупными невыразительными чертами лица и буйной шевелюрой. Сложен он был как регбист-нападающий, но мускулы давно превратились в жир, и, судя по его виду, он вряд ли осилил бы драку за мяч. На нем были свободные летние

брюки и рубашка в бело-голубую полоску, с белым воротником и розовым галстуком, через плечо перекинут темно-синий пиджак. Разрежь его пополам — и увидишь внутри надпись «Тори».

— Вырос в Херефордшире, — буркнула Бинки Джексону, словно это многое объясняло.

Чем Квинтус был интересен, по крайней мере Джексону, так это солидным куском пластыря на носу, который по виду был травмирован именно так, как и должен быть травмирован нос, принявший на себя удар головой в обмен на удар пистолетом.

Но с какой стати человек, которого он никогда раньше не видел, с которым его не связывали никакие отношения, вздумал на него напасть? Увидев Джексона в саду двоюродной бабки, Квинтус, похоже, был раздосадован хуже некуда. Сама Бинки счастливо проигнорировала тот факт, что распивала чай с двумя враждебно настроенными избитыми мужчинами, и продолжала вещать о Шпульке.

Похоже, Квинтус не часто забегал к престарелой двоюродной бабке, но ведь у мальчика была такая напряженная жизнь: в раннем детстве его отправили в мэтрополию (метрополию), чтобы воспитать истинным джентльменом, — Клифтон, Сэндхерст,^[107] офицерский чин в Королевском уланском полку (Джексону показалось, что он уловил в его голосе резкие офицерские нотки), потом «срок в копиях», а теперь какой-то мутный бизнес в Лондоне, занимавший все его время.

— В копиях? — с сомнением переспросил Джексон, выуживая из чашки кошачий волос.

— В Африке, — объяснила Бинки.

— В Африке?

— В Южной Африке. В алмазных копиях. Надзирал за нэграми (неграми).

Бинки ушла в дом заварить свежий чай со словами:

— Вам двоим есть о чем поговорить, мистер Броуди. Ведь вы оба люди военные.

Джексон уже давно не думал о себе как о военном; он сомневался, что вообще когда-нибудь так о себе думал.

— Какой полк? — рявкнул Квинтус.

— Пехота. Полк принца Уэльского, — лаконично ответил Джексон.

— Звание?

Это еще что? Игра «У кого длиннее?» Джексон передернул плечами:

— Рядовой.

— М-да-а-а, мог бы и сам догадаться, — заявил Квинтус. Он растянул «а» так, что хватило бы на несколько м-дей, и еще бы осталось.

Джексон не дал себе труда объяснить, что, придя в армию рядовым, ушел он в звании уоррант-офицера первого ранга военной полиции. Он не собирался заниматься с этим Квинтусом фаллометрией. Джексону предлагали офицерские погоны перед тем, как он демобилизовался, но он знал, что никогда не почувствует себя в своей тарелке по другую сторону, обедая в офицерской столовой вместе с ублюдками вроде Квинтуса, считающими Джексонов полными отморозками.

— Могу показать татуировки, — предложил Джексон.

Квинтус отказался, да и ладно, татуировок у Джексона все равно не было. А у Ширли Моррисон была татуировка, чуть ниже шеи, черная роза на пятом позвонке. Интересно, а есть у нее другие, в менее доступных взгляду местах?

Квинтус вдруг подвинул свой стул ближе к Джексону — может, собрался поделиться секретом? Но он произнес зловещим голосом:

— Я твою игру раскусил, Броуди.

Джексон сдержал смех. За свою военную карьеру он (без особого энтузиазма) прошел две войны, и, чтобы его напугать, требовалось нечто посерьезнее, чем парень вроде Квинтуса, бряцающий саблей. Квинтус не продержался бы и трех раундов против кролика.

— О какой именно игре речь, мистер Рейн? — поинтересовался Джексон, но ответа так и не получил, потому что именно в этот момент самый драный и грязный кошка решил, что пора метить территорию и выбрал ногу Квинтуса в качестве одного из форпостов.

Джексон спустился к реке и сел в тени. В кармане у него лежал сплюснутый сэндвич из «Прет-а-манже», и он разделил его со стайкой прожорливых уток. По реке шла бесконечная вереница плоскодонок, в большинстве своем с туристами, которых катали студенты (или на вид студенты) в соломенных канотье и блейзерах в полоску, юноши — в фланелевых брюках, девушки — в неудачного кроя юбках. Туристы были самые разные — японцы, американцы (меньше, чем раньше), множество европейцев, несколько неустановленных персонажей (пожалуй, какая-то Восточная Европа) и северян, которые в апатичном Кембридже выглядели иностраннее японцев. Все они, казалось, были вне себя от восторга, словно приобщались к чему-то подлинному, — ну разумеется, местные жители, все как один, проводят свой досуг, катаясь на лодочках и поедая булочки со сливками и джемом под бой грантчестерских курантов, возвещающих три

часа пополудни. Вот сволочуги, как сказал бы его отец.

— Мистер Броуди! Эй, мистер Броуди!

Ну что ж ты будешь делать, устало подумалось Джексону, неужели от них нигде нет спасения? Они катались по реке, чтоб их тридцать раз. Джулия отталкивалась шестом, а Амелия взирала на нее сквозь темные очки из-под обвисших полей большой панамы, которая, надо полагать, видала лучшие дни на голове ее матери. Как будто напрямиком из больницы после особо сложной подтяжки лица.

— Прекрасный день! — прокричала Джексону Джулия. — Мы собираемся в Грантчестер выпить чаю, присоединяйтесь. Вы должны поехать с нами, мистер Броуди.

— Ничего подобного.

Нет, должны, — бодро заявила Джулия. — Залезайте. Не будьте таким брюзгой.

Джексон со вздохом поднялся с травы и помог подтянуть лодку к берегу. Он неуклюже забрался на борт, и Джулия засмеялась:

— Моряк из вас никакой, а, мистер Би?

Почему они до сих пор в Кембридже? Разъедутся они уже когда-нибудь по домам или нет? Амелия с другого конца лодки едва заметно кивнула ему, не глядя в глаза. В последнюю их встречу она была сама не своя из-за смерти собаки (*«Пожалуйста, Джексон, приезжайте, вы мне нужны»*), И выглядела жутко: в старом халате и накрашенная. Прежде он ее с макияжем не видел — и слава богу, потому что красилась она явно в темноте, да еще и волосы не собрала, и они свисали на плечи сухими лохмами. Все женщины рано или поздно становятся слишком старыми, чтобы носить распущенные волосы, даже красивые женщины с красивыми волосами, но ни Амелия, ни ее волосы никогда не были красивыми.

Джексон подумал, что лучше вести себя так, словно бы прошлым вечером ничего не случилось. А что же случилось прошлым вечером? *«Я и не знала, что вы женаты, мистер Броуди»* — что, черт возьми, это было? Она его что, в измене уличила? Но он никогда не давал Амелии Ленд ни малейшего повода думать, будто между ними что-нибудь есть. Неужели она в него влюбилась? (Боже, пожалуйста, только не это.) Стэн Джессоп был влюблен в Лору Уайр. Опасное это дело. А звучит так безобидно.

— Боже ж мой, что с вами случилось, мистер Броуди? — Джулия близоруко разглядывала его физиономию. — Вы с кем-то подрались!

Амелия впервые посмотрела на него, но, когда он поймал ее взгляд, тут же отвернулась.

— Как увлекательно, — сказала Джулия.

— Ничего особенного, — ответил Джексон. (Просто кто-то пытался меня убить.) — Какой сегодня день?

— Вторник, — выпалила Джулия.

Амелия пробурчала что-то похожее на «среду».

— В самом деле? — повернулась к ней Джулия. — Оюшки, как времечко-то летит!

(Оюшки? Ну, кто так говорит? Кроме Джулии?)

— Я всегда думала, — продолжала Джулия, — что цвет среды — фиолетовый. — Она пребывала в исключительно благодушном настроении. — А вторники — желтые, конечно же.

— Вовсе нет, — буркнула Амелия, — вторники зеленые.

— Не говори глупостей. В общем, сегодня — фиолетовый день, и он как нельзя лучше подходит для чая во «Фруктовом саду». В детстве мы часто туда ходили. До Оливии. Правда, Милли?

Амелия снова погрузилась в молчание и в ответ только неопределенно махнула рукой. Впервые с тех пор, как Джексон познакомился с сестрами, они оделись по погоде. Амелия была в мешковатом хлопчатобумажном платье и безобразных спортивных сандалиях. Ей бы нормально постричься и одеться поприличнее, она бы похорошела на сто процентов. На Джулию, по крайней мере, было приятно смотреть, и она мастерски орудовала шестом. На ней был узкий топ, который больше подошел бы школьнице, но он открывал взору ее аккуратные, твердые бицепсы (явно ходит в спортзал), и у нее были трицепсы в отличие от Амелии, которая, расправив свои дряблые мышцы, вполне могла бы парить над верхушками деревьев. Несмотря на солнце, Амелия оставалась все такой же бледной и тусклой, в то время как Джулия приобрела оттенок жареных кешью. Он смотрел, как она управляет с шестом, зажав сигаретку в углу накрашенного рта, и подумал, что она молодчина, и удивился, осознав, что начинает испытывать к Джулии подлинную симпатию. И кстати, «молодчина» — это ее слово.

— Мистер Броуди, вы пялитесь на мою грудь.

— Ничего подобного.

— И не думайте отрицать.

Вдруг Джулия ахнула удивленно, и Джексон обернулся посмотреть, что же она увидела. Из реки на берег выходил мужчина средних лет — совершенно голый, тощий и загорелый с головы до пят. Нудист? Или они теперь называют себя натурастами? Мужчина вытерся полотенцем, улегся на берегу и как ни в чем не бывало принялся читать книгу.

— Ух ты! — Джулия рассмеялась. — Вы это видели? Ты видела, Милли? Мистер Броуди, это законно?

— Вообще-то, нет.

— Вот было бы здорово, — заявила Джулия, — просто сбросить одежду и нырнуть. Раньше неоязычники плавали нагишом в пруду Байрона. А вы могли бы так, мистер Броуди? Раздеться и прыгнуть в реку?

Джулия облизала верхнюю губу своим розовым кошачьим язычком, и Амелия неприятно прихрюкнула. Джексон вдруг вспомнил, как Бинки Рейн назвала сестер Ленд «дикими». С трудом верилось, что Амелия когда-нибудь была «дикой», вот Джулия — да, определенно. Он не прочь бы поплавать с ней нагишом.

— Что за книгу он читал? — спросила Джулия, и Амелия, которая и виду не подала, что заметила голого мужчину, ответила:

— «Начала математики». ^[108] — И бросила на Джексона свирепый взгляд.

— Еще чаю, мистер Броуди? — поинтересовалась Джулия и подлила ему чаю, не дожидаясь ответа. — «А есть ли к чаю мед у нас?» ^[109] Да, точно остался, намажем-ка его на булочки. Милли, тебе намазать булочку медом?

По крайней мере во «Фруктовом саду» подавали хороший чай, не то что у Бинки. Джулия держала чашку, манерно оттопырив мизинец, на котором серебряным колечком белел тонкий шрам. Она поймала взгляд Джексона.

— Отрезала, — беззаботно пояснила она.

Амелия хрюкнула.

— Случайно, — добавила Джулия.

Амелия снова хрюкнула.

— Милли, будешь продолжать в том же духе, превратишься в свинью.

Джексона осенило: он спросил Бинки Рейн про сестер Ленд, но не спрашивал сестер Ленд про Бинки Рейн.

— Бинки Рейн, помните такую? Ваша соседка, соседка Виктора.

Джулия смотрела непонимающе.

— Кошки, — добавил Джексон.

— Я была в хоре, ^[110] — ответила Джулия, — но продержалась всего пару недель, слегла с бронхитом. Страсть как обидно, тур был первоклассный.

— Нет, — терпеливо объяснил Джексон, — Бинки Рейн, она держит кошек.

— Та старая ведьма, — вдруг сказала Амелия, и Джулия вспомнила:

— А, так вы про нее. Мы к ней и близко не подходили.

— Подходили, — возразила Амелия. — А потом перестали.

— Почему? — спросил Джексон, но Амелия снова была в ступоре.

— Сильвия нам запретила, — ответила Джулия. Она нахмурилась, вспоминая подробности. — По-моему, это было после Оливии. Она сказала, что сад проклят и что если мы пойдем туда, то превратимся в кошек. Что все ее кошки — это люди, которые вошли к ней в сад. Сильвия всегда была со странностями. Неужели миссис Рейн еще жива? Ей, должно быть, уже лет триста.

— Почти, — отозвался Джексон.

Неоспоримо приятно было растянуться в шезлонге под деревьями. Гул насекомых и туристов навевал сон, и Джексону ничего так не хотелось, как закрыть глаза и отключиться, но Джулия продолжала щебетать про неоязычников, и Витгенштейна, и Рассела.^[111]

— Компания снобов правого толка, — вставил Джексон.

— Ой, не надо только все портить своим северным социализмом, бросила Джулия.

Амелия по-прежнему была погружена в себя и отвечала исключительно односложно.

— Брук разгуливал нагишом, — сообщила Джулия. — Возможно, нудизм — кембриджская традиция.

— Руперт Брук был протофашистом, — вдруг заявила Амелия откуда-то из-под шляпы, и Джулия сказала:

— Ну, он уже умер и стихи писал отвратительные, так что он свое получил.

А Амелия сказала:

— В жизни не слышала более поверхностного довода.

А Джулия сказала... Но к тому времени Джексон уже спал.

Джексон вернулся за машиной, которую оставил у дома Бинки. Впритык к «альфе» стоял золотистый «лексус» (и кто покупает такие тачки, тем более такого цвета?). «Лексус» наверняка принадлежал Квинтусу. Джексон понятия не имел, что между ними произошло. Ведь не Квинтус же, в самом деле, на него напал?

Он ехал вниз по Сильвер-стрит, слушая «Ад среди телят» Гиллиан Уэлч.^[112] С каждым днем Джексон выбирал все более депрессивную музыку, хотя куда уж депрессивней. Он направлялся в «Орел»^[113] на встречу со Стивом Спенсером, хотя, в общем-то, ничего нового про Ниолу

не разузнал, и его мысли все еще были заняты Квинтусом, когда он врезался в зад «форду-гэлакси», остановившемся на светофоре у булочной «Фицбиллиз» на Трампингтон-стрит.

Перед «альфа-ромео» пострадал намного больше, чем тыл «форда-гэлакси», но все могло закончиться не в пример печальнее, если бы Джексон не сбавил скорость перед светофором. Водитель «гэлакси», однако, этого не оценила: она выскочила из машины и принялась орать на Джексона, обвиняя его в том, что он чуть не убил ее детей. В заднее стекло «гэлакси» глазели три любопытные мордахи. Когда подъехала дорожная полиция, женщина стояла посреди дороги, тыча пальцем в наклейку «Ребенок в машине» на заднем стекле.

— Тормоза отказали, — сказал Джексон старшему из полицейских.

— Врет! Все он врёт! — визжала женщина.

— Черт, Джексон, — вздохнул полицейский, — ты их что, специально выбираешь?

От удара у Джексона в голове все как-то разболталось, а зуб превратился в кинжал, прорезающий десну. Новых злоключений ему не вынести.

Полицейские попросили Джексона подышать в трубку, составили протокол и отправили «гэлакси» с ее разъяренной водительницей восвояси. Потом вызвали эвакуатор и увезли машину Джексона в полицейский гараж, где ее осмотрел механик. Старший патрульный был должен Джексону десятку, которую занял у него на Дерби три года назад, — теперь они, пожалуй, в расчете.

— Тормоза отказали, — сказал Джексон в сотый раз.

Авария его доконала. С ним и раньше случались заносы и столкновения — но сам он никогда ни в кого не врезался. Он вспоминал, как беспомощно вкатился в зад «гэлакси», не в силах отвести взгляда от знака «Ребенок в машине».

— Наверное, тормозная жидкость вытекла, — сказал он механику.

— Еще бы не вытекла, — подтвердил механик, — у вас же офигенная дыра в бачке. Похоже, вы кому-то сильно не нравитесь.

— Твою ж налево, — бодро сказал один из полицейских, — придется попотеть.

— Спасибо.

Возможно, следует рассказать о Квинтусе Рейне рьяному молодому детективу Лаутеру, который брал у него показания в больнице.

Патрульные подбросили его до дому. Подпортил он, конечно, району репутацию, да. Было девять вечера, в воздухе стоял густой запах барбекю. Телефон наверняка ломился от сообщений Стива Спенсера, недоумевавшего, что случилось. Джексон избегал мыслей о том, что еще больше испортить день невозможно, и был вознагражден зрелищем, которое внезапно изменило все к лучшему. На его крыльце сидела Ширли Моррисон с двумя бутылками холодного нива в руках.

— Я подумала, вам понадобится медсестра, — заявила она.

Позже, намного позже, когда уже занималась заря и вступил рассветный хор, уже в четверг (синий для Джулии и оранжевый для Амелии), Джексон повернулся, посмотрел на спящую Ширли и припомнил, почему не должен был с ней спать. Ах да, она клиентка. Этика. Очень мило, Джексон. Пожалеет ли он, что нарушил правила? Дело не в том, что она клиентка и на серьезные отношения он не рассчитывал. Они столкнулись, сойдя со своих орбит, вот и все. (Хотя было приятно думать, что это нечто большее.) Это было стихийно и замечательно, но он не видел для них будущего. Джексона беспокоило вовсе не это, а то, что, когда Ширли рассказывала ему свою ужасную историю, она почти все время смотрела вверх и вправо.

На церковном кладбище было очень жарко, пот лил с Тео градом, и он представлял, как весь жир у него внутри тает на солнце. Несмотря на то что церковь Литтл-Сент-Мэри в самом сердце Кембриджа — мимо не пройдешь, — среди могильных плит и полевых цветов Тео никогда не встречал ни единой души, ни живой, ни мертвой. Лора говорила, что часто приходила сюда заниматься, сидела на траве, разложив вокруг учебники, поэтому он поставил здесь скамейку с табличкой «Лоре, которая любила это место» и, сидя на этой скамейке, необъяснимым образом чувствовал себя ближе к дочери. Для Тео это было одно из стояний крестного пути, одно из мест, связанных с Лорой; она покоилась на городском кладбище на Ньюмаркет-роуд, но усыпальницей ей служил весь Кембридж.

На серой песчаной почве, из мертвецов, чей прах рассеяли здесь родные, зеленела ромашковая лужайка. На могиле Лоры на безликом муниципальном кладбище Тео посадил подснежники, ее любимые цветы. Тео думал про кладбищенские деревья: добрались ли их корни до Лоры, обвивают ли ее ребра, сворачиваются ли вокруг щиколоток, сжимают ли запястья.

Джексон встречался в Лондоне с Эммой. Тео мало что о ней помнил: вроде у нее был роман со взрослым мужчиной и вся история как-то плохо закончилась. Джексон сказал, что Эмма работает на Би-би-си. Тео никогда не думал о том, чем бы занималась Лора, если бы была жива. Для нее будущего не было, даже в воображении; ее жизнь имела четкие рамки: с 15 февраля 1976-го по 19 июля 1994-го. Результаты экзаменов пришли через три недели после того, как она умерла, — странный постскрипtum. Тео вскрыл большой коричневый конверт, адресованный Лоре Уайр, и увидел, что она получила четыре «А» — высшие оценки. Ему не пришло в голову отказаться за нее от места в университете, и через неделю после начала осеннего семестра позвонили из администрации в Абердине: «Скажите, пожалуйста, я могу поговорить с Лорой Уайр?» — и Тео ответил: «Нет, извините, не можете» — и разрыдался.

Тео страдал от жары. Лорина скамейка стояла на самом солнцепеке у церковной стены. Он чувствовал, как пот собирается между жировыми складками на спине. Неудачный он выбрал день. У Тео была аллергия

практически на все здешние растения, но он предусмотрительно вооружился солнечными очками и зиртеком и надеялся продержаться в битве с буйной флорой Литтл-Сент-Мэри подольше, однако у него уже текло из носа и глаза слезились, и он понял, что пора. Он с трудом встал на ноги. «Пока, милая», — сказал он, потому что она была повсюду. И нигде.

В «Христовых землях» рабочий на маленьком тракторе-косилке подстригал траву. Слезы заливали глаза, Тео почти ничего не видел. Платок, который он прижимал к носу, уже промок. Люди косились на него, но он брел дальше, не обращая внимания. На автовокзале на Драммонд-стрит ревели, как механические звери, автобусы, и Тео мог поклясться, что чувствует во рту привкус выхлопных газов. Кому пришло в голову построить автовокзал рядом с зеленой зоной? Хрипы у него в груди заглушали газонокосилку. Все-таки аллергия на лето — это дикость. Валери никогда не жалела его, она считала аллергию и астму проявлением слабости характера. Пока Лоре не исполнилось четырнадцать, у них в доме не было животных, но потом она так сильно захотела собаку, что он наконец сдался, и они поехали в собачий приют и вернулись домой с Маковкой. Ей было всего несколько месяцев; кто-то выбросил ее на ходу из машины. Надо быть чудовищем, чтобы так обойтись с живым существом. Лора сказала, что «укутает» Маковку любовью и все исправит. И Тео постепенно привык к собачей шерсти до того, что мог даже взять Маковку на колени и погладить. Он тоже любил эту собаку и очень переживал, когда ее сбивала машина. А это было лишь маленькое предупреждение о том, что ждало его впереди.

Тео чувствовал, как сжимается грудная клетка. Он начал задыхаться и полез в карман за вентолином. В обычном кармане его не было. Он проверил все остальные и вдруг четко увидел свой ингалятор на столике в коридоре — он хотел переложить его из одного пиджака в другой. Кулаком в сердце ударила паника. Ноги подкашивались, и он едва доковылял до скамейки в Розовом саду памяти принцессы Дианы, стараясь сохранять спокойствие, стараясь сдержать ужас. Солнечный день почернел по краям, перед глазами Тео плясали пятна. Он почувствовал тянущую боль в груди: неужели сердечный приступ?

Он хватал ртом воздух. Надо дать кому-нибудь знак, что ему нужна помощь, что он не просто толстяк, потеющий на скамейке, а умирающий толстяк. Паника сдавливала грудь, не давая вздохнуть. Он слышал, с каким страшным шумом борется за каждый вздох. Неужели никто больше не слышит?

И это пройдет, подумал он, но оно не проходило. Он ожидал от себя смирения и покорности судьбе, гипоксия должна была настроить его на близкую смерть, но тело продолжало бороться каждым нервом и каждой жилкой. Нравилось ему это или нет, без боя он не сдавался.

Перед ним возник темный силуэт, заслонивший собой солнце, и он подумал, что это Лора пришла забрать его домой. Он хотел произнести ее имя, но не мог ни говорить, ни видеть, ни дышать. Она что-то говорила ему, но слова звучали словно из-под воды. Она коснулась его руки, и пальцы ее были холодны как лед. Он услышал: «Вам помочь?» Слова прибоем шумели и грохотали в ушах. Часть его пыталась ответить: «Нет, я в порядке», потому что он не хотел никого беспокоить, но вторая, более сильная и настойчивая, над которой он был не властен, цеплялась скрюченными пальцами за воздух, показывая, что он в отчаянии. Теперь он слышал и другие голоса. Кто-то сунул что-то ему в рот, и через мгновение он понял, что это ингалятор.

Потом темнота. Потом «скорая», где он почувствовал тошноту и слабость и необычайно кстати пришлась кислородная маска. Фельдшер приподнял ее, чтобы он мог говорить, и Тео спросил, сердечный ли это приступ, а фельдшер покачал головой и сказал: «Я так не думаю». А потом он уснул.

Он проснулся в больничной палате. На соседней койке лежал старик, опутанный трубками. Тео осознал, что и сам опутан трубками. Когда он снова проснулся, старика уже не было, а проснувшись в третий раз, Тео обнаружил, что он уже в другой палате и сейчас время посещения: народ сновал туда-сюда с журналами, фруктами и пакетами с одеждой. Тео повернул голову, следя за людским потоком, и увидел девушку, сидящую у его постели. Он сразу понял две вещи: во-первых, это попрошайка с яично-желтыми волосами и, во-вторых, она и помогла ему в «Христовых землях». Не Лора.

Она пришла и на следующий день, осторожно присела на краешек стула, как будто боялась, что он не выдержит ее веса, хотя тонка была, как палка. Она не принесла ни журнала, ни фруктов — ничего из того, что приносили другие посетители, вместо этого она что-то всунула в его сжатую ладонь, и когда Тео разжал ее, то увидел гальку, гладкую и еще хранящую тепло ее сухой чумазой руки, отчего камешек казался каким-то интимным подарком. Уж не дурочка ли она? Для этого, конечно, есть более политкорректный термин, но Тео не мог его вспомнить. Разум его был словно в тумане — он решил, что это от лекарств.

Она не была расположена поболтать, но это и к лучшему, потому что он тоже не был расположен. Хотя она сказала ему, что ее зовут Лили-Роуз, и он сказал: «Красивое имя». И она улыбнулась пугливо и ответила: «Спасибо, оно — мое собственное». Странный, конечно, ответ.

Вошла сестра, чтобы измерить ему температуру. Она сунула Тео в рот термометр и улыбнулась Лили-Роуз: «Думаю, твоего отца завтра выпишут», и Лили-Роуз сказала: «Здорово», а Тео ничего не сказал, потому что во рту у него был термометр.

Вечером пришел Джексон. Тео был тронут: похоже, детектив искренне за него волновался. «Ты уж побереги себя, великан», — сказал он и похлопал Тео по руке, и тот почувствовал, как на глаза навернулись слезы, потому что до него давно уже никто не дотрагивался, кроме как с медицинскими целями. Если не считать холодного прикосновения желтоволосой девушки. Лили-Роуз. Джексона, судя по всему, снова избили. Тео спросил: «Джексон, ты в порядке?» — и Джексон поморщился от боли и ответил: «Смотря, что называть „в порядке“, Тео».

Она под локоть довела его до такси, будто смогла бы его поддержать, начни он падать, — да у бедняжки вряд ли хватило бы сил поддержать цветок люпина. Водитель и медсестра помогли Тео сесть в машину.

Сестра оставила дверцу открытой для Лили-Роуз. Ее собака запрыгнула внутрь, но, поняв, что хозяйка не едет, выскочила обратно. Тео хотел оставить ей свой адрес и номер телефона, но у него не оказалось бумаги. Лили-Роуз сказала: «Вот, возьмите» — и дала ему маленькую белую карточку; и, только написав адрес и телефон, он перевернул бумажку и обнаружил, что это визитка Джексона. Он озадаченно посмотрел на девушку и спросил: «Ты знаешь Джексона?» А она ответила: «Кого?» — но тут сестра захлопнула дверцу такси, и водитель откатил от тротуара. Медсестра с Лили-Роуз махали ему вслед. Тео помахал в ответ и подумал, до чего нелепо, ведь, когда он решил, что она поедет с ним, сердце ёкнуло от радости.

Его не было всего два дня, но дом уже казался ему чужим. Ингалятор по-прежнему лежал на столике в коридоре. В комнатах пахло затхлостью. Тео открыл все окна и подумал, что надо бы купить ароматизированную свечу, подороже, не из тех, что пахнут дешевым ванилином и освежителем воздуха. Он поднялся на второй этаж, в спальню для гостей, или «штаб расследования», как говорил Джексон, и, впервые увидев комнату со

стороны, понял, насколько жутко и мрачно все это выглядит.

Он сел за компьютер и на сайте магазина канцтоваров заказал картонные коробки, красивые, с цветочками, и подумал, что сложит в них все, аккуратно подпишет, а потом, возможно, попросит Джексона помочь ему отнести их на чердак. Потом сходил на Tesco.com и заказал продукты, но не из раздела «Мои предпочтения», поскольку знал, что его предпочтения — замороженные чизкейки, мороженое, слоеные булочки и сливочные йогурты — для него смертельны, вместо этого он создал новый список покупок: обезжиренное молоко и овсяные хлопья, овощи и фрукты, цельнозерновой хлеб и большие бутылки «Эвиан» — и подумал, что список сиротский. Нельзя сказать, что Тео чувствовал себя лучше или бодрее или что он поверил в будущее, но он все время думал о том, как цеплялся за жизнь, когда ее у него отнимали, как он боролся со смертью в «Христовых землях». У Лоры не было шанса бороться, но у него-то был, и, может быть, это что-то значило, хотя он и не знал, что именно.

Он уже собрался расплачиваться, как вспомнил еще кое о чем, и открыл страничку кормов для животных, где заказал шесть банок «собачьего корма высшего качества». Просто на всякий случай. Он расплатился и выключил компьютер.

И стал ждать.

Она еще никому не говорила. Уже четыре месяца, но заметно не было. Вот что значит хороший пресс. Она сходила на ультразвук — все было «в норме»: она не ждала ни близнецов, ни инопланетянина. Когда акушерка, надменная курица с поджатыми губами, спросила о «предыдущих беременностях», Каролина решила было соврать, но ложь бы все равно раскрылась, поэтому она просто сказала: «Двадцать пять лет назад ребенка усыновили» (что было правдой). Она видела, что акушерка складывает в уме цифры: двадцать пять лет назад «Каролине Эдит Эдвардс» было двенадцать. Тетка подняла одну бровь, и Каролине захотелось сказать: «Отвали, сука», но она сдержалась, потому что это были бы слова Мишель, а не Каролины Эдит Эдвардс.

Каролина обсудила бы риск, связанный с беременностью в сорок три года, но не могла же она сказать: «Вообще-то, я на шесть лет старше, чем вы думаете». Кроме того, ребенок обосновался прочно, чувствовалось, что он внутри как дома, вполне здоров и целеустремлен.

Она попыталась представить, как объявит Ханне и Джеймсу, что у них будет сестричка (или братик, но она была уверена, что это девочка); она прямо-таки видела, как отвращение и ревность на их лицах сменяются хитрыми заговорщическими улыбочками в предвкушении мерзостей, которые они смогут с ним сотворить. Каролина положила руку на живот, защищая малыша, и почувствовала холодный гель, который курица-акушерка не позаботилась стереть. А Джонатан, как она скажет Джонатану? «Дорогой, знаешь, ты скоро снова станешь папой»? И его разопрет от гордости, мол, семья-то не подкачало, но для него это будет не ребенок, не человек, а очередная вещь, как новый трактор «джон дир» или гнедой мерин пони-класса для выездки, которого он купил Ханне и который был для нее слишком велик, так что, если повезет, она с него свалится и свернет себе шею. (Нельзя думать такие вещи, вдруг это повредит ребенку.) Обучение выездке — новая воспитательная идея Ровены: «Учиться *управлять* никогда не рано», — заявила она за «ланчем», который пригласила Каролину разделить с ней в «моем уютном маленьком коттедже», в том смысле, что не в «огромном домище, который ты у меня отняла». Выездка. Апофеоз английского педантизма. Джемима, разумеется,

была в этом деле профи.

— Ты ведь не обидишься, что я тебя об этом спрашиваю, дорогая? — Ровена наклонилась к ней над остатками бланшированной лососины, которую наверняка приготовила не сама, она у себя в кухне и нож для хлеба бы не нашла. — Как же мне выразиться...

Поймав отстраненный, почти как у провидицы, взгляд ее голубых глаз, Каролина подумала, что больше не вынесет.

— Не залетела ли я? — услужливо подсказала она, и Ровена вздрогнула от неловкости за лексикон невестки. — Нет, не залетела. — Во лжи Каролина не знала себе равных.

— Ты уверена?

— Да.

И она увидела, как Ровена прячет улыбку облегчения.

— Выпьем кофе в саду?

Она впервые была на службе в церкви Святой Анны, впервые слушала его проповедь. В белом накрахмаленном воскресном стихаре, он был сам на себя не похож. Кто же это его так отбелил и накрахмалил? Поди, какая-нибудь наемная «дама». Он мало говорил о Боге, за что Каролина была ему признательна, и перескакивал с одного предмета на другой, но общий смысл проповеди сводился к тому, что люди должны быть добрее друг к другу, и Каролина подумала, что вполне с этим согласна, и десять человек прихожан, считая Каролину, как один, радостно кивали, а когда служба закончилась, все пожали друг другу руки, что показалось Каролине очень по-квакерски. В тюрьме она постоянно ходила на службы, просто ради смены декораций, и капелланы всегда были с ней особенно вежливы, возможно, из-за того, что она совершила. Чем хуже преступление, тем больше ты нравишься капелланам, если появляешься в часовне. Одна заблудшая овца и все такое.

Он стоял у дверей, и пожимал каждому руку, и, конечно же, для каждого находил доброе слово. Она позаботилась о том, чтобы выйти из церкви последней, и почти надеялась, что он пригласит ее на чашку кофе или даже пообедать, но он не пригласил, а сказал только: «Хорошо, что вы пришли, Каролина», словно она была новообращенной, и она расстроилась, какая глупость, но улыбнулась и ответила что-то невпопад, а потом вышла во двор, думая, вдруг он последует за ней, но он вернулся внутрь.

Она никогда ни в кого не была влюблена после Кита, но та любовь была просто подростковым сумасшествием, которое, при нормальных обстоятельствах, закончилось бы безразличным разводом. Было здорово

снова влюбиться. Она чувствовала, что к ней вернулась часть утраченной личности. Конечно, она любила букашку. Таню. Но то была другая любовь, безусловная. Тогда она не любила ее, во всяком случае не понимала этого — она научилась любить ее потом, в годы разлуки. И, несмотря на то что любовь пришла к ней слишком поздно, она все равно помогала заполнить все те пропущенные годы. Любовь, обращенная в прошлое. Для Тани, конечно, все было по-другому. Она не знала, как мать ее любила, если только Ширли ей не говорила («Твоя мама очень-очень тебя любила, но она не могла с тобой остаться»). Она заставила Ширли пообещать, что та будет считать ее умершей и позаботится о букашке. Ширли она тоже любила безусловной любовью, иначе она не сделала бы того, что сделала. Не начала бы заново. Она и Ширли так сказала: «Забери Таню, пусть у нее будет новая жизнь, стань ей матерью, раз я не могу». Разве что, принимая во внимание обстоятельства, излагала она не так четко...

— Я думал, вы поспешите назад в свой прекрасный дом.

Вид у него был веселый. Он снял стихарь и надел старый серый кардиган. Кардиган поверх (давайте называть вещи своими именами) платья — наряд чересчур женский, и она подумала невзначай, интересно бы взглянуть, что там у него под этими черными юбками, и была приятно удивлена, обнаружив, что с радостью упала бы на колени в траву и отсосала ему досуха прямо на кладбище; чего ей действительно хотелось, так это заботиться о нем, помогать во всем, готовить омлет с тостами и чай, массировать спину, читать ему вслух английских классиков. Она определенно спятила.

— Я беременна.

— О, поздравляю. Это чудесно. — Он всматривался в ее лицо, ища подсказку. — Разве нет?

— Да. — Она рассмеялась. — Это чудесно. Пожалуйста, не говорите никому.

— Боже правый, конечно не скажу.

Как она могла влюбиться в человека, который говорит «боже правый»? Да запросто.

Она поймала его в прицел. Проследила за ним по гребню холма и вниз, до пустых загонов для ягнят у подножия, где он остановился отдохнуть, облокотившись о деревянные ворота, повесив ружье на руку. Зеленые резиновые сапоги, синий «барбур», собаки вертятся у ног — набор штампов. Он называл Мег и Брюса «подружейными собаками», но от них не было никакого толку. Наверняка он вышел пострелять кроликов. Какое

он имеет право убивать кролика? Почему его жизнь более ценна, чем кроличья? Кто так решил? Она взвела курок. Его голова станет прекрасной мишенью. С такого расстояния она с легкостью попала бы ему точно в затылок. Голова разлетелась бы, как тыква, как дыня или репа. Пиф-паф. Конечно же, она не стала бы этого делать, она за всю жизнь никого не убила, даже насекомого, по крайней мере умышленно. Он снова отправился в путь, ушел с поля, обогнул лесок и скрылся из виду. Каролина посмотрела на часы: время пить чай.

Джексон запил пару таблеток ко-кодамола скверным кофе. Он ждал, пока Никола и остальной экипаж выйдут из самолета. Семь утра — нет хуже времени, чтобы торчать в аэропорту. Если его не прикончит неизвестный убийца, то уж собственный зуб — точно..

Самолет уже изрыгнул из себя замызганных, ошалело озирающихся по сторонам пассажиров. Джексон не бывал в Малаге. Раньше Джози каждый год вытаскивала его в дорогой отпуск, они снимали виллы — «виллы с бассейнами» в «райских уголках» на Корсике, Сардинии, Крите, в Тоскане. Теперь же все слилось в единое средиземноморское воспоминание: Марли, скользкая от солнцезащитного крема, в надувных нарукавниках, плещется на мелком краю; Джози читает, развалившись в мягком кресле, пока сам Джексон нарезает круги в бассейне, и его темный силуэт скользит под слоем голубой воды, как беспокойная, одержимая акула.

Наблюдение за Николой — попытка замещения. Джексон хотел бы не думать какое-то время о том, что его пытаются убить (но, как ни крути, о таком трудно забыть).

А теперь еще и эта история с Таней. О чем же ему солгала Ширли? Уолтер и Энн Флетчер, родители Кита, после убийства сына переехали в Лоустофт и, судя по всему, посредственно справлялись с заботой о своей единственной внучке. Ширли пыталась, по ее словам, поддерживать связь с племянницей, но Флетчеры велели ей держаться от них подальше. «Я сестра женщины, убившей их единственного сына, — сказала она, — так что их можно понять». В двенадцать лет Таня начала убегать из дому, а когда ей исполнилось пятнадцать — перестала возвращаться. «Я искала ее повсюду, но она ускользала, как песок сквозь пальцы».

Джексон добавил Таню в мрачную таблицу, которую вел в голове. Если предположить, что она жива, то сейчас ей двадцать пять. Оливии Ленд было бы тридцать семь. Лоре Уайр — двадцать восемь, Керри-Энн Брокли — двадцать шесть. Он надеялся, что Таня проживает свое будущее, что ей действительно двадцать пять лет и ее дни катятся вперед без остановки, в отличие от дней невинных душ — Керри-Энн, Оливий и Лор. И Нив. Старшей сестры Джексона, которой на этой неделе исполнилось бы пятьдесят.

Экипаж самолета вошел в терминал, катя за собой аккуратные чемоданчики с логотипом авиалинии. Они энергично шагали по залу, думая только о том, как бы поскорее добраться домой и начать заслуженный выходной. Если бы сейчас кто-нибудь вздумал преградить им путь и попросить порционный виски или вторую булочку, они бы просто сбили несчастного с ног и проехали по нему чемоданами. Все бортпроводники были женщинами, ни одного мужика — все равно маловероятно, чтобы Никола завела роман со стюардом, поди найди среди них гетеросексуала. Шляпки на стюардессах — как будто снятые с воспитанниц Сент-Триниана.^[114] Никола шла позади, в компании второго пилота. На вид ему было за тридцать, привлекательный (как и полагается пилоту), но ростом не намного выше Николы. Он что, прикоснулся к ней? Командир экипажа — постарше и посolidней, чем второй пилот, — обернулся и что-то сказал, и Никола рассмеялась. Это уже кое-что, на памяти Джексона она смеялась впервые.

Джексон проводил их из терминала до парковки. Никола с командиром экипажа припарковались рядом (неспроста, подумал Джексон), но распрощались они вполне безразлично: ни поцелуев, ни прикосновений, ни многозначительных взглядов. Ни намек на адюльтер. Никола забралась в машину, дала по газам в лучших традициях «Формулы-1» и была такова. Джексон последовал за ней на менее суицидальной скорости. Взамен «альфы» он взял напрокат «фиат-пунто». Этот «пунто» был оранжевого цвета и бросался в глаза. Женская тачка. Его собственную до сих пор изучали в полицейском гараже криминалисты. «Полиция очень серьезно относится к диверсиям, мистер Бродди», — заявил ему новый (во всяком случае, незнакомый) старший детектив, и Джексон ответил: «Понимаю». Он не стал рассказывать им о Квинтусе. Едва ли они тут чем-то смогут помочь.

Накануне вечером он заехал к Бинки, чтобы посмотреть, не там ли Квинтус, но, когда он позвонил в дверь, никто не ответил. «Лексуса» тоже не было. Может, Квинтус повез Бинки покататься или пригласил на ужин? Возможно ли такое в принципе?

Он потерял Николу в считанные минуты и позже, остановившись на благоразумном расстоянии от лужайки перед ее крыльцом, увидел, что она уже переделалась в джинсы и толстовку и энергично обрабатывает газон электрокосилкой. Джексон вспомнил Дебору: она с таким же рвением обычно барабанила по клавиатуре. А Джози с таким рвением делала вообще все, пока Дэвид Ластингем не устроил ей степфордскую

лоботомию. Никола по-прежнему была в полной боевой раскраске, что с домашней одеждой смотрелось странновато. Ее жесты были красноречивы, но лицо оставалось непроницаемой маской.

Нужно было что-нибудь купить для Тео — цветы, фрукты, хорошую книгу, — но он не подумал заранее, а теперь уже поздно. На больничной койке Тео казался меньше, не столько человеком-горой, сколько маленьким осиротелым мальчиком. Джексону хотелось хоть немного поднять ему настроение. Он рассказал, что ездил в Лондон поговорить с Эммой, но Тео, видно, неважно соображал из-за лекарств и не проявил особого интереса, зато спросил у Джексона, в порядке ли он (хороший вопрос, учитывая, кто кого навещает), на что Джексон ответил: «Смотря, что называть „в порядке“, Тео».

Джексона всерьез беспокоило то, что даже если он найдет человека в желтом свитере для гольфа (пусть шансов и немного), это ни черта не облегчит боль Тео, на самом деле ему станет еще хуже, потому что тогда дело наконец будет закрыт, а Лора так и останется мертва.

Джексон прошел по перегретым коридорам больницы от приемного отделения до детской интенсивной терапии. Он прошел в отделение беспрепятственно: дежурная медсестра узнала его и ничего не спросила. Что ему, кстати говоря, не понравилось — нельзя в такие места пускать всех без разбору.

Джексон смотрел на Ширли сквозь стеклянную стену, как сквозь одностороннее зеркало, потому что на него никто не обращал внимания. На Ширли был голубой хирургический костюм. Джексон считал, что нет ничего сексуальнее, чем женщина в хирургической форме, — интересно, он один так думает или все мужики? Может, есть опрос общественного мнения на эту тему? Ширли склонилась над инкубатором и осторожно подняла восково-бледного малыша. К его тельцу было подсоединено множество трубок и датчиков, отчего он казался странным, хрупким существом с другой планеты.

— Секундочку, я передам, что вы пришли, — сказал молодой медбрат-австралиец.

(Кто же остался в Австралии, если они бог знает зачем все перебрались сюда?)

К Ширли подошел доктор, тронул ее за плечо и что-то сказал. В этом жесте было что-то неуловимо интимное, и по тому, как она к нему повернулась, и по ее улыбке Джексон понял, что они спят друг с другом.

Они оба смотрели на ребенка. Джексон чувствовал себя вуайеристом вдвойне. Узнавшая его медсестра (как же ее зовут? Элейн? Эйлин?) подошла и встала рядом:

— Трогательно, правда?

— Трогательно? — Джексон не понял, что «трогательного» в этой сцене. Женщина, с которой он недавно всю ночь занимался необузданным сексом, теперь с другим любовником воркует над больным ребенком.

— Ну, на самом деле грустно, — сказала Элейн/Эйлин. — Они не могут иметь своих детей.

— Они? Они *вместе*? Ширли Моррисон и этот доктор?

Элейн/Эйлин нахмурилась:

— Да, профессор Уэлч — ее муж. Он заведует педиатрией.

— Они *женаты*?

— Да, инспектор Броуди. Вы собираете о Ширли сведения?

— Мистер Броуди. Я ушел из полиции два года назад, Эйлин.

— Элейн.

— С чего вы решили, что я собираю о ней сведения?

Элейн пожала плечами:

— Может быть, потому, что вы мне допрос учинили.

— Извините.

Элейн придвинулась поближе и сообщила доверительным тоном:

— Вы же знаете, верно, что она — сестра...

— Да, — прервал ее Джексон. — Знаю.

Ширли Моррисон не сменила фамилию после того, как посадили ее сестру, и когда вышла замуж — тоже. В дурмане их совместного утра он спросил ее: «Ты никогда не меняла фамилию?» И она ответила: «Это было единственное, что у меня осталось». Ее муж перешел к другому младенцу-инопланетянину, а Ширли положила того, которого держала в руках, обратно в его космический корабль.

В палату вошел медбрат-австралиец и что-то сказал Ширли Моррисон. Она подняла глаза и нахмурилась, увидев Джексона. Он пожал плечами и сделал беспомощное лицо. Показал на свой некольцованный безымянный палец, потом на нее. Она воздела очи к небу — мол, что за дурацкий способ общения. И кивнула ему на вход в палату. Дверь она приотворила всего на пару дюймов, словно Джексон мог представлять угрозу.

— Почему ты не сказала, что замужем?

— Это что-то изменило бы?

— Да.

— Боже, Джексон, ты что, последний праведник на земле? Это был

просто секс, забудь об этом.

Она закрыла дверь у него перед носом. Эх, не зря у него было дурное предчувствие. То ли она искусно лжет, то ли просто умело избегает правды. А есть ли разница? Он привык думать, что правда — категория абсолютная, но не делает ли это из него нравственного фашиста-крохобора?

Выходя из отделения, Джексон чуть было не налетел на желтоволосую бездомную девушку. Она притаилась у стены в коридоре и что-то бормотала себе под нос, точно молитву читала. Джексону захотелось с ней поздороваться, он так часто видел ее в последнее время, что ему казалось, будто они знакомы, но он, естественно, смолчал и очень удивился, когда она заговорила с ним первая.

— Вы ж его знаете, да?

— Кого?

— Того старого толстяка.

— Тео? — догадался он.

— Ага. Он как, в норме?

— Он поправится, — ответил Джексон. Девушка зашагала к выходу из интенсивной терапии, и он добавил: — Можешь навестить его, он в приемном. Как раз часы посещений.

— Была уже. Ищу тут кое-кого.

Джексон вышел из больницы вместе с ней. Она поежилась, хотя вечер был теплый, и закурила.

— Простите, — спохватилась она и предложила сигарету Джексону.

Чиркнув зажигалкой, он заметил:

— Рано в твоём возрасте ещё курить.

— А в вашем — поздно. Мне, кстати, двадцать пять, взрослая уже, дальше некуда.

Джексон не дал бы ей больше семнадцати, самое большее — восемнадцать. Она отвязала собаку от скамейки.

— Вы его друг?

— Тео? Вроде как.

Друзья ли они с Тео? Может, и друзья. А с Амелией и Джулией? Боже упаси. (Или все-таки друзья?) С Ширли Моррисон, несмотря на то что они делали под покровом тьмы позапрошлой ночью, точно не друзья.

— Да, — решил он, — я друг Тео. Меня зовут Джексон.

— Джексон, — повторила она, подыскивая ему место у себя в памяти.

Он вытащил из кармана пачку визиток — «Джексон Броуди, частный детектив» — и протянул одну ей.

— Теперь вроде твоя очередь представиться, — напомнил он.

— Лили-Роуз.

Вблизи она была меньше похожа на наркоманку, скорее на девочку, о которой не заботятся и плохо кормят. Худенькая такая, того и гляди ветром сдует. Джексону захотелось отвести Лили-Роуз в ближайшую «Пиццу-экспресс» и увидеть, как она ест. Живот у нее был выпуклый, как у голодающих африканских детей в телевизоре. Может, беременна?

— Это я его нашла, — сказала она, — в парке. «Христовы чего-то там».

— «Земли».

— С чего бы они Христовы?

— Да кто ж его знает, — пожал плечами Джексон.

— У него был приступ.

— Он сказал, кто-то дал ему ингалятор.

— Не я, — ответила Лили-Роуз, — какая-то женщина... Но теперь он в порядке? — настойчиво переспросила она.

— В полном, — ответил Джексон и вдруг понял, что разговаривает с ней так, будто она ровесница Марли. Уму непостижимо, что ей двадцать пять. — Вообще-то, не совсем в порядке. Десять лет назад у него убили дочь, и он не может об этом забыть.

— А разве о таком забывают?

Теперь Стэн Джессоп преподавал в другой школе, но жил все в том же скромном доме на две семьи, постройки тридцатых годов, что и десять лет назад. При имени «Стэн» представляешь старого огородника, но ему было всего тридцать шесть. Когда умерла Лора, Стэну Джессопу было только двадцать шесть. Двадцать шесть — это же так мало, всего на год старше Лили-Роуз, на два года моложе Эммы Дрейк (пора бы завязывать с подсчетами). На подъездной дорожке стоял потрепанный «воксхол-вектра» с детским креслом на заднем сиденье; пол в машине был усеян игрушками, обертками от конфет и прочим домашним мусором. По словам Эммы Дрейк, десять лет назад у Стэна Джессопа был один ребенок, дочь Нина, с тех пор он, похоже, обзавелся целым выводком. Сад перед домом напоминал поле битвы, орудиями в которой выступил полный ассортимент гипермаркета игрушек.

— Дети, — пожал плечами Стэн Джессоп. — Что тут поделаешь?

Джексон подумал, что для начала можно было бы прибраться, но только ответно пожал плечами, взял кружку водянистого растворимого кофе, приготовленного Стэном, и сел в гостиной. Заметив на кружке засохшие потеки, Джексон поставил ее на журнальный столик и от кофе

решил воздержаться.

Эмма Дрейк сказала, что десять лет назад Стэн Джессоп был «красавчиком», и он до сих пор сохранил этакий мальчишеский шарм.

— Я расследую обстоятельства смерти Лоры Уайр, — сказал Джексон.

— Ну надо же, — отозвался Стэн с деланным безразличием, которое насторожило Джексона.

На втором этаже вопили дети, не желавшие укладываться спать, их урезонивал с нарастающей усталостью женский голос. Такие бои, видно, у них были обычным делом.

— Трое мальчишек, — сказал Стэн, как будто это все объясняло. — Все равно что укладывать спать орду варваров. Вообще-то, я должен бы помочь, — добавил он и плюхнулся на диван.

Судя по его виду, орда варваров давным-давно его победила.

— Что там насчет ее? — раздраженно спросил он.

— Кого?

— Лоры — что насчет ее? Что, расследование возобновили?

— Его не прекращали, мистер Джессоп. Я поговорил кое с кем из ее друзей. Говорят, вы были в нее влюблены.

— Влюблен? — Джексону показалось, что по лицу Стэна Джессопа пробежала тень. — Так вот почему вы здесь, потому что я был влюблен в Лору Уайр?

— Так все-таки были?

— Знаете... — Он вздохнул, подразумевая, что утруждает себя ненужными объяснениями. — Когда ты — молодой парень и оказываешься в таком положении, иногда позволяешь себе лишнего. — Он помрачнел. — Кругом эти девицы, умные, хорошенькие, гормоны у них зашкаливают, они постоянно тебя кадрят...

— На то, собственно, вы и взрослый.

— Да они же такие проשמандовки в этом возрасте, трахаются направо и налево, раздвигают ноги перед кем угодно. Не говорите мне, что вы вели бы себя по-другому. Если б вам все подали на тарелочке, что бы вы сделали?

— Я бы отказался.

— Ой, вот не надо заливать. В конце концов, вы всего лишь мужчина. — (Как там сказала Ширли? «Джексон, ты что последний праведник на земле?») Он надеялся, что не последний.) — Никто не устоял бы перед таким искушением. И вы бы не устояли.

— Устоял бы, — сказал Джексон, — потому что у меня есть дочь. Как и у вас.

Стэн Джессоп поднялся с дивана, намереваясь, вероятно, дать Джексону в морду (почему бы и нет? другие же не стесняются), но в этот момент в комнату вошла его жена и с подозрением уставилась на них обоих. Она не подходила под определение «вульгарной блондинки» («простушки»), данное Эммой Дрейк. Джинсы и футболка, темные волосы, короткая стрижка. Эмма сказала, что они с Лорой хорошо ладили, но показаний у Ким Джессоп никто не брал. (Почему?) Джексон протянул руку и сказал:

— Приятно познакомиться, миссис Джессоп, меня зовут Джексон Броуди. Я расследую обстоятельства смерти Лоры Уайр.

Она без выражения на него посмотрела и переспросила:

— Кого?

Из машины Джексон позвонил домой Деборе Арнольд:

— Ты не могла бы написать миссис Моррисон стандартное письмо, сказать, что мы больше не можем оказывать ей услуги?

— Про рабочее время слышал когда-нибудь?

— А ты?

Неужели он стал ханжой? Ладно, Ширли замужем, и она переспала с ним, так ведь все изменяют (взять его собственную жену), — и что, поэтому у него дурное предчувствие? Что-то не вяжется в ее рассказе про Мишель. Может быть, если бы Таня хотела найти Ширли, она уже давно это сделала бы? Джексон не хотел помогать Ширли. Он не хотел ее *видеть*. Он откопал в бардачке диск Ли Энн Уомак^[115] и включил песню «Мимо Литтл-Рока». Каждая вторая кантри-песня — об убегающих женщинах. Они убегают из города, убегают от прошлого, но в основном убегают от мужчин. Когда его женщина сбежала от него, он составил сборник страдающих Люсинд, Эммилу и Тришей,^[116] поющих свои грустные песни о том, как они улетают на самолетах, уезжают на поездах и автобусах, а чаще всего садятся за руль и гонят вперед. Очередная хиджра.

Дома Джексон разогрел в микроволновке что-то безвкусное. Было только девять вечера, но он устал как собака. На автоответчике только одно сообщение, от Бинки. Он хотел заскочить к ней, узнать, как дела, но у него уже не было сил. Он прослушал сообщение. «Мистер Броуди, мистер Броуди, мне очень нужно вас видеть, это срочно» — и все, даже не попрощалась. Он набрал ее номер, но ответа не было. В ту же секунду, как он положил трубку, телефон зазвонил, и он поспешно ответил.

Амелия. В истерике. Опять.

— Амелия, кто умер на этот раз? — спросил Джексон, когда она сделала паузу, чтобы перевести дух. — Потому что, если это кто-нибудь размером меньше лошади, я буду вам очень признателен, если вы сами решите эту проблему.

Его ответ, вот незадача, только усилил ее истерику. Джексон повесил трубку, сосчитал до десяти и нажат кнопку обратного вызова — и увидел на дисплее номер Бинки Рейн. У него было дурное предчувствие. (А хорошие у него вообще бывают?)

— Что случилось? — спросил он, услышав голос Амелии, и на этот раз она сумела выговорить:

— Она умерла. Старая ведьма умерла.

Джексон вернулся домой в час ночи. Он погрузился в серый туман недосыпа, энергии хватало лишь для регуляции внутренних функций; на девять десятых мозг и тело давно отключились. Без преувеличения, он поднялся по лестнице на четвереньках. Он не заправлял постель с той самой ночи, что провел с Ширли Моррисон, и не был уверен, спал ли вообще с тех пор. А кельтское кольцо-то у нее было на месте обручального. Сам виноват, что не спросил. «Ты замужем?» — достаточно прямой вопрос. Солгала бы она? Возможно. Женщина, которая любит детей и не может завести собственных. Не затем ли она переспала с ним, чтобы забеременеть? Боже упаси. Знает ли об этом ее муж? Женщина, которая любит детей, потеряла связь с ребенком, о котором должна была заботиться превыше всех остальных. Таня. Что-то заскреблось в уголке памяти, но он так устал, что и свое-то имя с трудом вспоминал.

Он открыл окно: в спальне было нечем дышать. Тяжелая погода. Если в самое ближайшее время этот город не спасет гроза, люди начнут сходить с ума. В день, когда исчезла Оливия, разразилась гроза. Амелия вспоминала, что Сильвия сказала тогда: «Бог оплакивает свою пропавшую овечку». Амелия вела себя еще более странно, чем обычно: причитала об Оливии, несмотря на то что нашла тело Бинки, а не своей сестры. «Причитала». Отцовское словечко. Уже год, как старик умер. Один-единешенек, на больничной койке. Семьдесят пять лет, целый букет болезней: силикоз, эмфизема, цирроз печени. Джексон не хотел превратиться в такого, как отец.

Что же Бинки хотела ему сказать? Теперь он уже никогда не узнает. Он подумал о ее маленьком, легком как перышко теле, лежавшем посреди того, что осталось от фруктового сада, в сырой от росы высокой траве. И только

под ее телом трава осталась сухой, как ее старые кости. «Пролежала несколько часов», — сказал патологоанатом, и у Джексона сердце сжалось. Он проезжал мимо ее дома, может быть, он успел бы помочь. Надо было выбить дверь, перелезть через стену. Он должен был ей помочь.

Он уже хотел задернуть шторы, но тут что-то привлекло его внимание. Это «что-то» шло по гребню стены на другой стороне улицы, пробираясь среди зарослей штокроз. Черная кошка. Если Бинки Рейн перевоплотилась, то, может, она стала кошкой? Черной. Сколько черных кошек в Кембридже? Сотни. Джексон пошире открыл окно, высунулся наружу и — он не мог поверить, что делает это, — негромко позвал в теплый ночной воздух: «Нэгр?»

Кошка резко остановилась и осмотрелась. Джексон выбежал на улицу и затормозил на цыпочках, как мультяшный персонаж, чтобы не спугнуть животину. «Нэгр?» — снова прошептал он, и кот мяукнул и спрыгнул со стены. Джексон взял его на руки и поразился, какой тот тщедушный. Он испытывал к этому драному коту странное чувство товарищества. «Все в порядке, старина, хочешь ко мне в гости?» Кошачьей еды у него не было — и никакой другой тоже, — но было молоко. Он удивился внезапному приливу симпатии к Нэгру. Конечно, вряд ли это Нэгр (м-да, кто бы его ни взял, кличку придется сменить). Кот, скорее всего, откликнулся бы на что угодно, но Джексон был так измотан, что это совпадение его dokonало. Он повернулся, собираясь вернуться в дом. И дом взорвался. Ни с того ни с сего.

Как там пел Хэнк Уильямс?^[117] Из этого мира не выбраться живым?

Амелия единственная заметила, что их больше. Остальные были слишком заняты. Джулия флиртowała направо — *мистер Броуди то, мистер Броуди сё*, — а Джексон пялился на ее грудь. Да и кто бы не пялился, когда все выставлено напоказ. Она даже облизала губы, когда предлагала ему поплавать нагишом! В детстве они часто купались в реке, несмотря на запреты Розмари. Из них трех Джулия плавала лучше всех. То есть из четырех. Оливия умела плавать? Амелии казалось, что она видит, как Оливия, в голубом сборчатом купальнике, лягушонком барахтается в воде, но вспомнила она это или придумала — как знать. Иногда Амелия думала, что провела всю жизнь, ожидая возвращения Оливии, в то время как Сильвия трепалась с Богом, а Джулия трахалась. И ей было невыносимо грустно, когда она думала обо всем том, чего Оливия никогда не делала: никогда не каталась на велосипеде, не лазила по деревьям, не читала сама книжек, не ходила ни в школу, ни в театр, ни на концерт. Никогда не слушала Моцарта и не влюблялась. Ей даже не довелось написать свое собственное имя. Оливия *прожила* бы свою жизнь, Амелия же безрадостно тянула лямку.

«Вы пялитесь на мою грудь, мистер Броуди». Джулия иногда такая дешевка. Амелия вспомнила, как однажды Джулия хотела ускользнуть тайком из дому на свидание, а Виктор притащил ее обратно и орал, что она намалевалась, как «дешевая шлюха». (Интересно, со сколькими мужчинами Джулия переспала? Поди, давно со счета сбилась.) Виктор заставил ее оттирать с лица косметику щеткой для ногтей. Иногда он днями не обращал на них внимания и выходил из кабинета, только чтобы поесть, а иногда шагу им не давал ступить, строил из себя грозного папашу.

После смерти Розмари Виктор нанял женщину, чтобы готовила и убирала в доме. Они обращались к ней «миссис Гордон», имени ее никто не знал. Это было очень в духе Виктора, нанять того, кто не любит детей и не умеет готовить. Миссис Гордон могла неделями готовить на ужин одно и то же — особенно ей удавались подгоревшие сосиски с фасолью и жидкое картофельное пюре. Виктору было все равно. «Пища — это просто топливо, — говорил он. — Что именно мы едим, не суть важно». Ужасное у них все-таки было детство.

По-правде говоря, Джексон — последний, кого бы ей сейчас хотелось видеть. Откуда он только взялся на берегу? Что он вообще тут делает? Несправедливо. (Все несправедливо.) Боги сыграли с ней злую шутку, послав Джексона. Ей и не хотелось вовсе в этот Грантчестер, но Джулия убедила ее пойти кататься на лодке, упрасивала так, словно она хилый инвалид или агорафоб: «Ну же, Милли, нельзя целый день хандрить перед телевизором». Ради бога, она не хандрит, у нее депрессия. Хочет быть в депрессии — имеет право, будет себе сидеть и смотреть «Собак на работе» по «Нэшнл географик» и поедать шоколадное печенье, раз никому нет до нее дела. Можно целый день сидеть — от «Барни и его друзей» до «Обнаженных красоток порно», и еще часов восемь кряду смотреть канал «Пейзажи», и съесть целую кондитерскую фабрику, превратиться в ком жира, в прижатый к земле воздушный шар, и, когда она умрет, придется вызывать пожарных, чтобы они гидравлическим подъемником вытащили ее огромную тушу из дому, потому что никому нет до нее дела. «Мне есть до тебя дело, Милли». Дешевый гон, как сказали бы кровельщики.

Если бы Джулии было до нее дело, она не стала бы флиртовать с Джексонном у нее на глазах. Она представила их в воде вместе: Джулия выдрой плавает вокруг обнаженного Джексона, ее красные губы обхватывают его... нет! Не думай об этом, не думай, не думай.

Однажды вечером между «Здоровьем» и «Подиумом» Амелия наткнулась на религиозный канал, там посреди ночи шла программа «Слово Господа», и она, представьте себе, стала ее смотреть. Чтобы узнать, не хочет ли Бог ей что-нибудь сказать. Но, увы. Впрочем, неудивительно.

«Милли, тебе намазать булочку медом?» А теперь принялась разглагольствовать про Роберта Брука, дескать, он разгуливал нагишом. Может, она уже заткнется наконец или хоть сменит тему? А ведь приятно, на самом деле, сидеть вот так в шезлонге, во фруктовом саду, нежась на солнышке, — вот бы остаться здесь наедине с Джексонном, без Джулии, чтобы он подливал ей чаю и намазывал булочки маслом, но нет, тут же Джулия со своей грудью, которая чуть не выскакивает из лифчика, когда она тянется и поливает ему булочки медом (странно, что не слюной). А красивый лифчик, белый, в кружавчиках, — почему у Амелии никогда не было такого белья? Несправедливо.

Позапрошлой ночью она выставила себя полной дурой («Мистер Броуди, так вы женаты?»), словно обманутая девица из сентиментального викторианского романа. Он так на нее посмотрел — явно подумал, что она бредит. (Может, она и бредила.) Такой стыд, она не могла даже взглянуть на него, спасибо, на ней солнечные очки и шляпа. (Интересно, а они придают

ей ну хоть капельку таинственности и загадочности?) Его красивое лицо все в синяках (ладно, конечно, она на него смотрела), ей хотелось его утешить, прижать к себе и баюкать между грудями (а они у нее не меньше, чем у Джулии, хоть и не в горизонтальной плоскости). Но этому ведь не суждено случиться?

Так вот, она их видела. Других. Джексон с Джулией подумали, что это всего один мужчина, который читал «Начала математики», но она видела других, человек семь-восемь, все голышом, как и тот, с «Началами математики». Парочка бултыхалась в воде, а остальные болтали, расположившись на берегу в благостных позах, точно участники идеальной пасторальной сцены. Натуристы? Амелия внезапно вспомнила, как купалась в реке, как ее согретое солнцем тело плавно двигалось в прохладной, прозрачной воде. И ощутила острую физическую потребность, будто голод. Почему она заперта в этом неуклюжем, дряблом теле, почему нельзя вернуть себе то тело, что у нее было в детстве? Почему нельзя вернуть детство?

А может, это были ситуационисты,^[118] творили свое странное искусство, безразличные к тому, увидит их кто-нибудь или нет. Или члены какого-нибудь культа? Нудистский шабаш? Большинству из них на вид было за сорок, и тела их не отличались красотой: жирные бедра и отвисшие ягодицы, седые волосы на лобке, родинки, веснушки, старые послеоперационные шрамы, а некоторые были все в складочку, как неаполитанские мастифы. У всех был ровный загар, значит, чем бы они там ни занимались, делали они это регулярно. А потом они скрылись за поворотом реки, исчезли, как сон.

Амелия тяжелой поступью обогнала Джулию, потому что была недовольна ею вообще и из-за вчерашнего речного флирта с Джексоном в частности. Джулия бежала, чтобы не отставать, но тут послышалась мелодия фургона с мороженым. «Чу, полночный перезвон!» — воскликнула Джулия. «Едва ли это уместная аналогия», — возразила Амелия, но Джулия отреагировала на зов колокольчика, как собака Павлова, и рысцой помчалась на поиски мороженого.

Амелия зашагала дальше, через «Христовы земли», бросив презрительный взгляд в сторону Розового сада памяти принцессы Дианы. И к чему весь этот ажиотаж вокруг принцессы Дианы (живой или мертвой)? В память об Оливии не было ни памятника, ни розового сада, ни скамейки — даже надгробия на пустой могиле. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась бездомная девушка с канареечно-желтыми волосами. Она схватила Амелию

за руку и потащила назад по дорожке, и Амелия подумала, что ее грабят, какой абсурд, и хотела позвать на помощь, но обнаружила, что у нее пропал голос, как в ночном кошмаре. Она озиралась, ища Джулию — Джулия бы спасла ее от этой желтоволосой, в детстве она кому хочешь могла задать жару, — но девушка продолжала тащить ее по дорожке, как упрямого ребенка. Нелепая ситуация. Амелия была по крайней мере в два раза крупнее своей похитительницы, но девушка действовала с неожиданной решимостью, кроме того, она была грязная, и бездомная, и наркоманка, и, возможно, умственно отсталая, и Амелия ее испугалась.

Собака желтоволосой бежала рядом, беспрестанно подпрыгивая и активно выражая участие. Если бы девушка хоть на секунду ослабила хватку, Амелия отдала бы ей кошелек, сумочку или что там она хотела. Амелии на ум пришли слова «кошелек или жизнь» (вот уж действительно, мозг выкидывает странные фокусы в стрессовой ситуации). Разбойница с большой дороги — вот кто она. Они, кстати, бывают на самом деле? Или это как пираты и бароны-разбойники — скорее миф, чем правда? Что еще за бароны-разбойники? Но разбойница не говорила: «Кошелек или жизнь», она говорила то же, что и обычно: «Помогите мне».

Нет, не так. Она говорила: «Помогите ему, помогите ему», указывая на толстого человека на скамейке, который хрипел так же, как Виктор перед смертью, только Виктор пассивно задыхался, а толстяк на скамейке сражался с воздухом, загребая его руками. «Помогите ему», — повторила желтоволосая, но Амелию как парализовало. Она стояла и смотрела на умирающего толстяка и, хоть убей, не понимала, как ему помочь.

К счастью для толстяка, в этот момент появилась Джулия, триумфально неся два вафельных рожка, словно горящие факелы (театральные замашки). Увидев, что происходит, она бросила мороженое, подбежала к скамейке, вытащила из сумочки ингалятор с вентолином и приставила к раскрытому, как у рыбы, рту толстяка. Потом достала мобильник и сунула его Амелии: «Вызови „скорую“!» — прямо как на съемочной площадке «Несчастливого случая», но Амелия не смогла даже протянуть руку, чтобы взять телефон. «Милли, ты совсем, что ли?» — сердито бросила Джулия и дала телефон желтоволосой, которая, может, и была отсталой, и глупой, и грязной, и бездомной, и наркоманкой, но, в отличие от Амелии, сумела набрать 999 и спасти человеческую жизнь.

Джулия приготовила омлет, а после ужина позвонила в больницу. «Вроде все в порядке», — сообщила она, и Амелия сказала: «Правда?» — а Джулия спросила: «Тебе что, все равно?» — и Амелия ответила: «Да».

Потому что ей и впрямь не было до него дела, теоретически — да, но не в глубине души, да и с чего бы ей беспокоиться о ком-то другом (и как ей беспокоиться о ком-то другом?), если о ней не беспокоится никто? И Джулия сказала: «Ради бога, Милли, возьми себя в руки» (что, как известно, не стоит говорить тем, у кого депрессия), и Амелия, в слезах, убежала в сад за домом, бросилась на траву и разрыдалась.

Лежать на земле, пусть и хранившей дневное тепло, было жестко и неудобно, и она вдруг вспомнила, как спала в палатке. В ту роковую ночь палатка стояла почти на этом самом месте. Амелия села и огляделась. Вот здесь спала Оливия. Она провела рукой по траве, будто до сих пор примятой ее телом. Вот здесь Оливия, сонная и счастливая, сказала: «Спокойной ночи, Милли» — и прижала к себе Голубого Мышонка. Амелия смотрела, как она засыпает, и чувствовала себя рассудительной, взрослой и ответственной, ведь Розмари выбрала именно ее, только ей позволила спать в палатке в саду. С Оливией. Может, «Милли» — последнее слово, которое она произнесла? Или были еще слова, прежде чем она навсегда умолкла, полные страха, смертельного ужаса, которого Амелия никогда не могла (и никогда не сможет) вообразить? При мысли об ужасе, наверняка пережигом Оливией, у нее гулко застучало сердце. Нет, не надо об этом думать.

Оливия совсем близко, Амелия чувствовала ее. Где же она? Амелия вскочила на ноги и, пошатываясь, побрела по траве, пытаясь уловить направление, точно превратившись в поисковую лозу. Нет, нужно остановиться и прислушаться. Она услышит ее. И тут до нее донесся едва уловимый звук, тоненькое мяуканье по ту сторону стены, — кошка, а не Оливия, но, без сомнения, знак. Она попробовала открыть деревянную калитку в стене, обрывая ветки плюща. Она тянула изо всех сил, пока старые ржавые петли не поддались, затем протиснулась в щель и оказалась на тропинке между участками.

Увидев ее, кошка, крошечная, почти котенок, насторожилась, но не убежала, и Амелия наклонилась, чтобы казаться меньше и дружелюбнее (как бы не так), протянула руку и поманила: «Кис-кис, иди ко мне, киска». Кошка осторожно приблизилась, и Амелия погладила тощую животинку. В конце концов после долгого обхаживания кошка разрешила взять себя на руки, и Амелия прижалась щекой к шерстяному зверьку и подумала, как было бы здорово оставить ее у себя.

Калитка напротив, та, что вела в сад миссис Рейн, была открыта. В детстве они часто перелезали через обрушенную часть стены и прятались в том саду. Амелия и не думала, что миссис Рейн до сих пор жива. Она

вспомнила, как Сильвия упала с бука и сломала руку.

— Давай посмотрим, что там? — прошептала Амелия кошке.

Да, когда-то здесь был фруктовый сад, в котором они воровали яблоки и сливы. Они стучали в дверь с криком: «Ведьма дома?» — и в ужасе убегали прочь. Конечно, зачинщицей всегда была Сильвия. Сильвия-мучительница. Сильвия была просто Сильвией, но, оглядываясь в прошлое, Амелия всегда поражалась, каким странным, властным ребенком она была и как вечно навлекала на них неприятности.

Сад был огромный, особенно по сравнению с домом. В их детстве он уже был запущенным, а теперь совершенно одичал. Ох, вот бы заняться этой буйной растительностью. Она бы посадила заново фруктовые деревья, устроила заповедный пруд, арку, увитую розами, может быть, даже цветущую изгородь, чтобы утереть нос Ньюнхему.

Здесь присутствие Оливии ощущалось еще сильнее. Амелия представила, как та прячется за деревом, словно эльф, маня ее за собой. Ноги увязали в ползучем пырее и липучнике, жгла крапива, царапал шиповник, но невидимая длань влекла ее вперед, пока она чуть не упала, споткнувшись о что-то темное, кучку тряпок и сучьев, брошенных под деревом...

— Шпулька, — сказал Джексон, кивая на котенка на руках у Амелии.

Она никак не хотела его отпускать. Женщина-полицейский отвела Амелию домой и налила ей чаю. (Почему везде вечно одни женщины?) На Викторовой кухне было полно полицейских, устроивших там временный командный центр (ведь это так называется?). Разбуженная суетой, в кухню забрела сонная Джулия и остановилась в изумлении. Разумеется, она была полуголая, в трусах и футболке, ничуть не смущалась. *«Мистер Броуди, мы с вами прямо никак не расстанемся!»*

Когда Амелия прикоснулась к мертвому телу старой миссис Рейн, оно оказалось таким же хрупким и костлявым, как сидевшая у нее на руках кошка. Полицейские натянули над ней маленький навес и установили прожекторы — едва ли они сделали бы это для старухи, которая умерла своей смертью, а значит, Амелия не просто нашла тело, она нашла труп убитой. Она вздрогнула и разбудила кошку. Та спрыгнула на пол, и Джулия тут же принялась кис-кискать, схватила ее и прижала к своей выдающейся груди, и Амелия не выдержала: «Бога ради, Джулия, ступай оденься», и Джулия соорудила ей рожу и неспешной походкой вышла из кухни с кошкой на руках, а полицейские таращились на ее задницу. Слава богу, что она хоть не в стрингах, — более нелепого нижнего белья не придумаешь,

конечно, если не считать трусов с дыркой между ног, но они-то, понятно, для секса...

— Может, еще чаю, Амелия? — Джексон смотрел на нее с участием, как на душевнобольную.

Они легли только под утро. Полицейские все отъезжали, и подъезжали, и бубнили в рации. Хорошо хоть комната Сильвии выходила на улицу и в окна не светили прожекторы. Теперь у нее не было даже кошки, кошка ушла за Джулией к ней в комнату. Так ей никогда не уснуть, надо выпить таблетку. Джулия держит снотворное в ванной. Она вечно сидит то на одних таблетках, то на других — часть ее драмы. Амелия не могла прочесть этикетку на пузырьке без очков, но какая, собственно, разница? Две — чтобы заснуть, а четыре — чтобы заснуть еще крепче? А как насчет десяти? Такие крошечные! Как детские. Розмари каждый день давала им детский аспирин, даже когда они были совершенно здоровы. Вот, наверное, откуда Джулия взяла эту привычку. У Розмари всегда была набитая аптечка, даже до того, как она заболела. А как насчет двадцати? Долгий будет сон. Конечно, Розмари таблетки не спасли, но, с другой стороны, их всех ничто уже не могло спасти. Тридцать? Что, если от них просто хмелеешь? Джексон смеялся над ней, Оливию никогда не найти, а теперь Джулия забрала себе кошку — все это так несправедливо. Никто ее не хотел, даже для собственного отца она не была желанной. Несправедливо. Совсем. Несправедливо, несправедливо, несправедливо. Весь пузырек? Потому что несправедливо. Несправедливо, несправедливо, несправедливо. Вы мне не поможете? Нет.

Несправедливонесправедливонесправедливонесправедливонесправедли
«Милли, что с тобой? Милли? Милли?»

А ведь на севере в самом деле холоднее. Британия такая маленькая страна, и не подумаешь, что климат может измениться за какую-то пару сотен миль. Хотя сидеть в пивном саду было не холодно, по крайней мере для северян. Джексон заказал напитки. Они договорились встретиться в старом трактире в нортумберлендской глуши. В Нортумберленде глушь встречается сплошь и рядом. Джексон подумал, не купить ли здесь дом. Обойдется дешевле, чем в Кембридже, где дома у него больше нет. Сам коттедж стоял на месте, но вот все вещи пропали: одежда, компакт-диски, книги, все материалы Тео но убийству Лоры, — то, что пощадил взрыв, уничтожила вода из пожарных шлангов. Ну что ж, тоже способ начать новую жизнь — просто взорвать старую.

«Газ?» — с надеждой спросил он следователя, устанавливавшего причину взрыва. «Динамит», — ответил тот. (Краткий, мужской обмен репликами.) У кого есть доступ к динамиту? Очевидно, у тех, кто работает в шахтах. Джексон выудил из бумажника визитку детектива Лаутера и набрал его номер. «Дело принимает новый оборот, — сказал он и тут же пожалел о своих словах: прозвучало как в плохом детективном романе. — Думаю, у нас есть подозреваемый. — Фразочка немногим лучше. — Кстати, мой дом только что взорвали». А вот это уже эффектней.

(«Квинтус Рейн, — задумчиво повторил детектив Лаутер, — что за имя такое?» — «Да идиотское имя», — ответил Джексон.)

Он вынес стаканы на улицу: апельсиновый сок для себя, кока-колу для Марли и джин с тоником для Ким Джессоп — только она теперь звалась Ким Строн, потому что за последние десять лет успела выйти замуж (и развестись) за «одного шибанутого шотландца» по имени Джордж Строн. Теперь она владела баром в Сиджесе и рестораном в Барселоне и дружила с русским «бизнесменом». Она по-прежнему была блондинкой и, судя по бронзовому дубленому загару, полагала, что рак кожи обойдет ее стороной, хотя кашель курильщика давал все основания предполагать, что первенство может вполне достаться и раку легких. Как и подобает любовнице мафиози, она носила столько золота, что хватило бы на индийскую свадьбу. Она осталась такой же джорди, как и была, — у Ким Строн, бывшей Джессоп, не было ни капли изнеженной южной ДНК. Джексон с ходу

проникся к ней симпатией.

— Вам повезло, что вы меня застали, — сказала она и глубоко затянулась «Мальборо». — Я в Англии всего на пару недель, маму навещаю. У нее плохо с ногами, пытаюсь убедить ее переехать в Испанию.

Стэн Джессоп с неохотой дал Джексону номер своей первой жены, угрюмо пожаловавшись, что почти не видится с дочерью Ниной, потому что «стерва» упрятала ее в квакерскую школу-интернат в Йорке, и Джексон подумал, что квакерская школа-интернат в Йорке звучит очень досягаемо по сравнению со школой любого религиозного направления в Новой Зеландии.

Ким Строн со своей семьей проводила «каникулы на ферме» где-то поблизости.

— На овечьей ферме, — пояснила она. — Шума от этих овец — застрелиться можно. Молчание ягнят, черта с два.

Ее «семья», очевидно, состояла не только из Нины и матери с больными ногами, но также «Владимира» и неопределенного числа Влалимировых «помощников», один из которых привез сюда Ким и в настоящий момент потягивал фанту в двух столиках от них, оглядывая прохожих и в каждом подозревая киллера.

— На самом деле он просто душка, — рассмеялась Ким.

Она прошла долгий путь, покинув скромный коттедж постройки тридцатых годов, который она делила со Стэном Джессопом.

Как оказалось, Ким ушла от Стэна за неделю до убийства Лоры Уайр. Она уже «спуталась» с Джорджем Строном и стояла за барной стойкой в пабе для британских экспатов в Аликанте, когда была убита Лора. В Кембридж Ким больше не возвращалась и два года после отъезда не разговаривала со Стэном, «потому что он что редкостное», поэтому, когда Джексон позвонил ей и сказал, что расследует «обстоятельства смерти Лоры Уайр», она охнула: «Боже! Лора Уайр умерла?! Когда?!» У Джексона сердце упало: говорить о девушке, которая мертва уже десять лет, совсем не то, что сообщать новость о ее смерти. «Ей было только двадцать восемь», — сказала Ким. Джексон вздохнул, подумав, что нет, ей было только восемнадцать, и сказал: «Вообще-то, она умерла десять лет назад. Боюсь, это было убийство». На другом конце провода повисло молчание, нарушаемое только сердитым бормотанием по-русски на заднем плане. Джексон вспомнил, как Эмма Дрейк сказала, что тяжело было услышать о смерти Лоры, когда «для остальных это стало уже историей». Похоже, когда она умерла, весь мир был за границей.

«Убийство?»

— Ужасно жаль ее, — сказала Ким, выудив из джина ломтик лимона и положив его в пепельницу.

— Убийцу так и не нашли. Возможно, Лора была только случайной жертвой.

Джексон с сомнением посмотрел на Марли. Со стороны, наверное, кажется, что они обсуждают серию «Закона и порядка» или «CSI: Места преступления», а не реальную жизнь. Хорошо бы, если так, и хорошо бы, если б она смотрела не «Закон и порядок» и «CSI», а «Все на борту!» и «Маленький домик в прериях».^[119] Он рассказал Марли про Лору: что ее убил «плохой человек», «потому что иногда с хорошими людьми случается плохое»; и она нахмурилась и сказала: «Тео говорил, что ее зовут Дженнифер», и Джексон сказал: «Это его другая дочь». Что чувствовала Дженнифер, всегда оставаясь «другой дочерью», которой доставалось меньше внимания, чем умершей сестре?

— Лора была славная, — сказала Ким Строн. — Когда мы только познакомились, она задирала нос, но это же средний класс, что с них возьмешь. За это ведь нельзя винить. Ну, то есть можно, но только не Лору. У нее было доброе сердце.

— Я просто подчищаю хвосты, говорю с людьми, у которых тогда не взяли показания. Я работаю на ее отца.

— Того толстяка?

— Да, на толстяка.

— Тео, — сказала Марли. — Он хороший.

— Да, хороший, — подтвердил Джексон. Он посмотрел на Марли и сказал: — Не хочешь сбежать купить себе чипсов, золотко?

Он полез в карман за мелочью, но Ким Строн уже извлекла из кошелька хрустящую пятифунтовую банкноту:

— Вот, малыш, купи себе что захочешь. Чертовы британцы-тугодумы, — добавила она, обращаясь к Джексону, — почему они никак не перейдут на евро? Вся Европа с этим прекрасно справилась.

Ким Строн закурила новую сигарету, вытряхнув из пачки еще одну для Джексона, и, когда он отказался, сказала:

— Кого ты обманываешь, друг, я же вижу, что тебе курить охота до смерти.

Джексон взял сигарету.

— Пятнадцать лет не притрагивался.

— А почему снова начал?

Джексон пожал плечами:

— Годовщина.

— Хорошая, видать, дата.

Джексон невесело рассмеялся:

— Нет, не хорошая. Тридцать три года, даже и не круглая. Тридцать три года, как умерла моя сестра.

— Мне жаль.

— Думаю, это просто была последняя капля. В этом году ей бы исполнилось пятьдесят. На этой неделе. Завтра.

— Ну, тогда другой разговор, — сказала Ким, будто это все объясняло.

Она дала ему прикурить от тяжелой золотой зажигалки, на которой была гравировка кириллицей.

— Только не говорите мне, что это «Из России с любовью».

Ким Строн рассмеялась:

— Намного непристойнее.

— У вас, случайно, нет соображений, кто мог захотеть убить Лору? Любая идея, пусть самая неправдоподобная.

— Я уже сказала, она была милой, приличной девушкой, у таких обычно врагов нет.

Джексон достал фотографию желтого свитера для гольфа и протянул Ким. Она взяла ее и внимательно изучила. И вдруг ее лицо перекосилось.

— Боже милостивый!

— Вы его узнаете?

Ким одним глотком допила джин и, сделав долгую затяжку, погасила окурок. У нее в глазах стояли слезы, но голос дрожал от злости.

— Как же я сразу не подумала про этого ублюдка.

Они доехали до Бамбрэ, и он повел Марли прогуляться по длинному пляжу. Он остался в ботинках и в носках (как старый хрыч, как его отец), а вот Марли закатала свои клетчатые бриджи и носилась туда-сюда в прибое. На замок они смотреть не пошли, хотя он был как-то связан с Гарри Поттером и поначалу вызвал у Марли живой интерес. Джексон пропускал мимо ушей ее бесконечную болтовню про Гарри Поттера (у него в детстве волшебников не было, и он не улавливал всей прелести), равно как и шедевры Кристины и Джастина,^[120] и неотличимых друг от друга подростковых групп, диски которых она взяла с собой, и установил правило — музыку ставить по очереди.

Большую часть времени Марли сидела уткнувшись в мобильный телефон цвета Барби, который он ей купил. Всю дорогу она набирала сообщения подружкам. И о чем эти дети пишут друг другу? Вместо того

чтобы пойти в замок, они ели в машине рыбу с жареной картошкой, политую уксусом, и смотрели на море (как пенсионеры), и Марли сказала: «Здорово как, пан», а Джексон ответил: «Да уж».

Предполагалось, что он возьмет Марли на последние две недели школьных каникул, но ему позвонила Джози: «Слушай, друзья Дэвида предложили нам свое шале в Авориазе на неделю, и мы подумали, что неплохо бы поехать только вдвоем». — «Чтобы твоя дочь не мешала вам трахаться?» — спросил Джексон, и Джози бросила трубку. Только с третьего захода они смогли более-менее цивилизованно обсудить эту тему. Естественно, у Дэвида есть друзья в Авориазе, кто бы сомневался. Не зря же Авориаз рифмуется с «пидорас».

Джексон вытряхнул корытца из-под картошки чайкам, тут же вспомнив сцену из «Птиц»,^[121] и вырулил на дорогу, прежде чем «пунто» утоп в птичьем дерьме.

— Мы домой?

Марли ела мороженое-рожок, таявшее быстрее, чем она успевала с ним справиться. Обивка «пунто» покрывалась липкими пятнами. Что ж, машина из проката — это, пожалуй, не так уж и плохо.

— Папа?

— Что?

— Я спросила, мы домой?

— Да. Нет.

— Так да или нет?

Они остановились на ночь в захудалой, но, похоже, лучшей в его родном городе гостинице. В окне горела красная неоновая надпись «Есть места», что напомнило Джексону бордель. Поездка получилась утомительнее, чем он рассчитывал, — мимо наводящих тоску постиндустриальных пустырей, по сравнению с которыми Кембридж казался сущим раем. «Никогда не забывай, что Маргарет Тэтчер сделала с твоим родным краем», — сказал Джексон дочери, и та ответила: «Угу, не забуду» — и с хлопком открыла трубочку драже «Смартиз». Пять фунтов Ким Строн были полностью оприходованы в магазине на последней заправке.

Гостиницей заправляла женщина с острыми чертами лица, миссис Брайнд, которая с сомнением посмотрела на Марли, а затем, недобро уставившись на Джексона, сообщила, что «остались только номера с одной кроватью». Джексон был наполовину уверен, что она вызывает полицию

нравов в тот самый момент, когда они входили в унылую комнату, где обои и шторы за долгие годы насквозь пропитались никотином. Хороший способ вызвать у человека отвращение к курению. Надо бросать, завтра же. Или послезавтра.

Утром миссис Брайнд пристально изучила Марли на предмет расстройства или непотребного обращения, но та бодро хрустела над тарелкой «Фростиз» — хлопьев, изгнанных из дома Дэвида Ластингема, где предпочитали мюсли. Покончив с хлопьями, Марли принялась за скользкую яичницу, поданную с жестким куском грудинки и одинокой, неприличного вида сарделькой. Джексон представил, каким будет его утро во Франции, как он продляется в деревенскую булочную за теплым багетом и сварит эспрессо из свежемолотого кофе. Пока же он обходился кислой растворимой бурдой с парой таблеток нурофена, потому что ко-кодамоп закончился. Он уже не понимал, что именно у него болит: зуб, голова или фингал-сюрприз от Дэвида Ластингема. Болело как-то везде.

— Не стоит пить таблетки на голодный желудок, — неожиданно изрекла миссис Брайнд и подтолкнула к нему тарелку с тостами.

Когда они снова забрались в «пунто» и поехали по городу, зарядил дождь. Внутри у Джексона нарастала свинцовая тяжесть, но ни пакостная погода, ни дешевый кофе не были тому причиной.

— Ты в порядке, милая?

— Да, папа.

Он заехал на заправку и наполнил бак «пунто», вдыхая успокаивающий запах бензина. Перед магазинчиком стояли ведра с цветами, но выбирать особенно было не из чего: большие розовые ромашки ненатурального вида, яркие георгины и охапки гвоздик. Он вспомнил прочувствованное высказывание разводившейся клиентки Тео: «Он дарит мне гвоздики, а гвоздики — убожество, это знает любая женщина, как же он не понимает?» Джексон знаком подозвал Марли и попросил ее выбрать. Она без колебаний ткнула в георгины. Георгины всегда напоминали Джексону о садовых участках, где его отец проводил большую часть свободного времени. Мать Джексона говорила, что у него сарай обставлен лучше, чем их дом. Сады-огороды остались в паре кварталов позади, а если свернуть налево на следующем перекрестке, то будет улица, где Джексон жил с девяти до шестнадцати лет, — но они не свернули налево, и Джексон не стал говорить об этом Марли.

Джексон десять лет не бывал на этом кладбище, но дорогу не забыл. Этот путь навсегда врезался в его память. Было время, когда он приходил

сюда чуть ли не каждый день, давным-давно, когда умершие были единственными, кто его любил.

— Здесь похоронена моя мама, — сказал он Марли.

— Моя бабушка? — уточнила она, и он подтвердил:

— Да, твоя бабушка.

Она почтительно встала перед надгробием, которое за тридцать три года изрядно пострадало от непогоды, и Джексон подумал, что его отец заказал своей жене памятник из дешевого песчаника. Джексон смотрел на могилу и ничего особо не чувствовал. Он не так уж много помнил о матери. Они пошли дальше, и Марли забеспокоилась, что он не оставил цветы на бабушкиной могиле.

— Цветы не для нее, милая, — сказал Джексон.

Джексон ни о чем всерьез не задумывался, пока не начала умирать его мать. Он был просто мальчишкой и занимался тем, чем обычно занимаются мальчишки. Он был в банде, и у них было тайное логово на заброшенном складе, они играли на берегу канала, воровали конфеты из «Вулвортс», гоняли на велосипедах за город, летали на тарзанке через реку и скатывались кубарем с холмов, они уламывали ребят постарше, чтобы те покупали им сигареты, и накуривались и напивались сидра до тошноты в своем логове или на городском кладбище, куда пробирались по ночам через дыру в стене, о которой знали только они и стая бродячих собак. Он творил такое, что мать, да и отец тоже пришли бы в ужас, узнай они об этом, но, когда он позже вспоминал о своем детстве, все проказы казались ему здоровыми и безобидными.

Джексон был самым младшим в семье. Его сестре Нив было шестнадцать, а брату Фрэнсису — восемнадцать, и он только что выучился на сварщика при Управлении угольной промышленности. Отец вечно твердил, чтобы сыновья не лезли за ним в шахту, но какие у них оставались варианты в городе, где, кроме угледобычи, никакой работы не было. Джексон никогда не думал о будущем, но ему казалось, что шахтеры — это здорово: дух товарищества, выпивка — все равно что быть в банде для взрослых. Но отец говорил, что на такую работу он и собаку бы не погнал, а он терпеть не мог собак. Все голосовали за лейбористов, все как один, но отец говорил, что они не социалисты, они «жаждут плодов капитализма» похлеще остальных. Его отец был социалистом — сердитого, озлобленного шотландского толка, из тех, кто во всех своих неудачах винит кого-то другого, но в первую очередь «боссов-капиталистов».

Джексон понятия не имел, что такое капитализм, да и не стремился узнать. Фрэнсис говорил, что это значит водить «форд-консул» и покупать матери двухкамерную стиральную машину «Сервис», и только Джексон знал, что, когда в прошлом году разрешили голосовать восемнадцатилетним, брат поставил крестик рядом с именем кандидата от тори, хотя у того «не было ни одного сраного шанса» на победу. Отец, узнай он об этом, отрекся бы от Фрэнсиса (может даже, убил бы), потому

что тори хотели стереть шахтеров с лица земли, а Фрэнсис говорил, что ему насрать, он планировал скопить денег и проехать на «кадиллаке» через все Штаты до самого Пасифик-хайвей,^[122] остановившись только, чтобы отдать честь Королю^[123] у ворот Грейсленда. Мать умерла через неделю после выборов, что на какое-то время отвлекло их от политики, хотя отец изо всех сил искал способ доказать — это, мол, правительство виной тому, что рак обглодал Фидельму и выплюнул иссохшей, пожелтевшей шелухой, оставив умирать под капельницей с морфином в общей палате больницы «Уэйкфилд-дженерал».

Их отец был хорош собой, а мать была простой, крупной женщиной, которая выглядела так, словно только что доила коров или собирала торф. Отец говорил: «Можно забрать женщину из Мейо, но нельзя забрать Мейо из женщины». Он считал это шуткой, но никто никогда не смеялся. Он никогда не дарил жене цветов и не водил ее в ресторан, но так ведь никто в тех местах этого не делал для своих жен, и если Фидельма и могла жаловаться на плохое обращение, то не больше любой своей подруги. Нив хотела другой жизни. В пятнадцать лет она ушла из школы и поступила в колледж, где изучала стенографию и машинопись, и закончила его с сертификатами Королевского общества покровительства искусствам и коробкой шоколада «Кэдбери» от учительницы как лучшей в классе. Теперь она каждый день ездила на автобусе в Уэйкфилд, где работала «личным секретарем» директора автосалона. Треть от своих шести фунтов в неделю она отдавала матери, треть шла на сберегательный счет, а остальное она тратила на одежду. Ей нравились вещи, помогавшие соответствовать роли: юбки-карандаши с кофточками из ангоры, трикотажные двойки с юбками в складку — непременно с тонкими колготками и черными лодочками на трехдюймовом каблуке, поэтому в свои шестнадцать она выглядела удивительно старомодно. Для полноты образа она подбирала волосы наверх в аккуратную ракушку и купила нитку искусственного жемчуга с такими же серьгами. Зимой она носила дорогое твидовое пальто в елочку, с полупоясом на пуговицах, а когда пришло лето, купила приталенный плащ из плотного кремового габардина, в котором, по словам отца, была похожа на французскую кинозвезду. Джексон не видел ни одного французского фильма, поэтому не знал, правда это или нет. К счастью для Нив, она не унаследовала крестьянских генов матери и была, по общему мнению, «очаровательной девушкой» во всех отношениях.

Она переживала смерть Фидельмы тяжелее всех. Дело было даже не в смерти как таковой, а в том, как долго она умирала, поэтому, когда их мать

наконец испустила последний слабый вздох, все почувствовали облегчение. К тому времени Нив, в дополнение к ежедневным поездкам в Уэйкфилд в своей нарядной одежде, уже взяла на себя и готовку, и уборку. Однажды, за несколько недель до смерти матери, она вошла в комнату, которую Джексон делил с Фрэнсисом, — сам Фрэнсис развлекался в городе, как обычно, — и села на старую узкую кровать, едва помещавшуюся в их каморке, и сказала: «Джексон, я сама не справлюсь». Джексон читал комиксы «Коммандос» и размышлял, есть ли у Фрэнсиса записка с сигаретами; он не понимал, что означают дрожащие губы сестры и слезы в ее больших темных глазах. «Ты должен мне помочь, — сказала она. — Обещаешь?» И он ответил: «Ладно», не имея ни малейшего понятия, на что подписывается. Вот как получилось, что все свободное время он отныне пылесосил, подметал, чистил картошку, таскал уголь, развешивал белье и ходил в магазин, а его друзья надрывали животы от смеха и говорили, что он превратился в девчонку. К тому времени они уже перешли в среднюю школу, и Джексон понимал, что жизнь меняется, и если ему пришлось выбирать между сестрой и бандой подонков, то он должен выбрать сестру, даже если предпочел бы подонков, потому что чувства чувствами, а родня всегда на первом месте, и этому нигде не учат, просто таков порядок вещей. Кроме того, она платила ему десять шиллингов в неделю.

Это был самый обычный день. Стоял январь; прошло несколько месяцев, как умерла Фидельма, и неделя, как Джексону исполнилось двенадцать. Фрэнсис купил ему подержанный велосипед, отремонтировал его и покрасил, так что тот стал лучше нового. Отец дал ему пять фунтов, а Нив подарила часы, настоящие взрослые часы, с браслетом на защелке, приятно утяжелявшие запястье. Подарки были замечательные, наверное, родные пытались восполнить ему потерю матери.

Отец работал в ночную смену и вернулся домой, когда они в спешке доедали нехитрый завтрак. В это время года было темно, когда они выходили из дому, и темно, когда возвращались, а тот день казался еще темнее, чем обычно, из-за дождя, холодного, зимнего дождя, от которого хотелось плакать. Фрэнсис мучился от похмелья, и настроение у него было скверное, но он подвез Нив до автобусной остановки. Нив чмокнула Джексона на прощание, как он ни старался увернуться. Фидельма всегда целовала его, когда он уходил в школу, а теперь это за нее делала Нив. Джексон от этого был не в восторге: она вечно оставляла у него на щеке след помады, который не так-то просто стереть, и все ребята смеялись над ним.

Джексон покатил в школу на своем новеньком велосипеде и вымок до нитки, мокрая полоса тянулась за ним по коридору до самого класса.

Джексон вернулся из школы и загрузил двухкамерную стиральную машину «Сервис», которую их мать так и не успела оценить, затем почистил картошку, нарезал лук и достал из холодильника мягкую, воняющую мертвечиной пачку фарша — рядом стоял контейнер «Гаппервер», в котором Фрэнсис хранил опарышей для рыбалки, ведь мать уже не могла ему этого запретить. Джексон не имел бы ничего против готовки, если бы это освобождало его от уроков, но Нив стояла над ним каждый вечер и давала по уху за каждую ошибку.

Поставив мясо с картошкой на плиту, он прошмыгнул наверх в свою комнату. Отец еще спал, и Джексон не хотел будить его — по разным причинам, но в основном потому, что собирался стащить сигарету из братовской заначки, которую обнаружил в шкафу. Он курил в окно, чтобы Фрэнсис потом не учуял. Ветер швырял дождь в лицо, Джексон моментально задубел, а сигарета намокла и погасла. Он положил ее под подушку: может, за ночь просохнет.

Если Фрэнсис приходил домой раньше Нив и была плохая погода, он обычно встречал ее на машине у автобусной остановки, но сегодня, несмотря на неутрахающий дождь, он рухнул на стул у камина, не сняв спецовку, и закурил. От брата пахло углем и металлом, у него был желтушный вид, и он пребывал в еще более паршивом настроении, чем утром. Наверняка это все вчерашняя попойка. «Ты бы не пил столько», — сказал Джексон. «С каких это пор ты превратился, мать твою, в бабу?» — отозвался Фрэнсис.

«Наверное, она на автобус опоздала», — сказал отец. Тарелки были на столе, и возникло минутное замешательство: они пытались решить, начинать ли без нее. «Я поставлю ее тарелку в духовку», — сказал Джексон. Конечно, Нив никогда не опаздывала на автобус, но, как говаривал отец, все бывает в первый раз, и Фрэнсис заявил: «Она уже взрослая и может делать все, что ей, на хрен, вздумается». С тех пор как умерла Фидельма, Фрэнсис стал ругаться через слово.

Мясо с картошкой засохло. Джексон вытащил тарелку из духовки и поставил обратно на стол, как будто это могло заставить ее поторопиться. Отец ушел на работу — со смерти Фидельмы он работал в ночную смену. Нив говорила, это потому, что он не хочет спать один, и Фрэнсис тогда

возразил: «Он все равно спит один», а Нив сказала: «Это совсем разные вещи — спать одному днем и спать одному ночью». Фрэнсис отправился встречать следующий автобус. «Пошла, наверно, выпить с друзьями после работы», — сказал он Джексону, и тот откликнулся: «Ага, скорее всего, так», хотя Нив ходила развлекаться только по пятницам и субботам.

Фрэнсис насквозь вымок, пока добежал от машины до дому. Было всего полвосьмого, и они повторяли себе, что волноваться глупо. Они посмотрели «Улицу Коронации»,^[124] которую оба терпеть не могли, чтобы рассказать Нив, что было в новой серии, когда она вернется.

В десять Фрэнсис сказал, что «поездит по округе» и посмотрит, нет ли ее где, словно она могла бродить по улицам в такой ливень. Джексон поехал с ним: ожидание сводило его с ума. В конце концов они подъехали к остановке и стали ждать последний автобус. Фрэнсис дал Джексону сигарету и прикурил от новой зажигалки, подарка очередной подружки. У Фрэнсиса было много подружек. Автобус прорезал стену дождя желтыми фарами, Джексон был абсолютно уверен, что Нив в нем, он ни на секунду в этом не сомневался, и, когда она не вышла, он выскочил из машины и побежал за автобусом, решив, что сестра проспала остановку. Он вернулся к машине, сгорбившись под дождем. Дворники без устали елозили туда-сюда по лобовому стеклу «форда-консула», раздвигая пелену дождя. За стеклом виднелось бледное лицо Фрэнсиса.

«Надо пойти в полицию», — сказал Фрэнсис, когда Джексон забрался обратно в машину.

Ее тело вытащили из канала сорок восемь часов спустя. На ней по-прежнему была юбка из зеленого букле, которую она купила на деньги, полученные от отца на Рождество. Ее зонт нашли рядом с остановкой. Туфли и другую одежду, включая дорогое твидовое пальто в елочку, — на берегу канала, а сумочку обнаружили неделю спустя на обочине шоссе А636. Остались найденными блузка и маленькое золотое распятие, которое мать подарила ей на первое причастие. В полиции считали, что цепочка порвалась и убийца прихватил ее с собой в качестве «сувенира». Единственным сувениром, оставшимся у Джексона, была керамическая безделушка с пожеланием благополучия, которую Нив привезла ему из поездки в Скарборо два года назад. На ней была надпись: «С наилучшими пожеланиями из Скарборо».

Удалось выяснить, что Нив ушла с работы и села на автобус, как

делала каждый день, и сошла на своей остановке, но за те десять минут, что занимала дорога от остановки до двери дома, кто-то убедил (или заставил) ее сесть в машину и отвез к каналу, где изнасиловал и убил, хотя не обязательно именно в таком порядке. В тот же вечер, когда нашли Нив, Джексон перебрался в ее комнату и жил там до тех пор, пока не завербовался в армию. Он два месяца не менял белье на ее постели — ему все чудился запах старомодного фиалкового одеколona, которым она сбрызгивала простыни при глажке. Он долго хранил чашку, из которой она пила за завтраком в тот последний день. Она вечно жаловалась, что никто не моет посуду после завтрака. На чашке остался розовый отпечаток ее рта, как призрак поцелуя, и Джексон неделю за неделей берег свое сокровище, пока чашка не попала на глаза Фрэнсису и тот не вышвырнул ее из окна на бетонные плиты во дворе за домом. Джексон знал, что Фрэнсис винит себя в том, что не встретил ее тогда на остановке. Темная часть Джексона считала, что брат действительно виноват. В конце концов, если бы он ее встретил, она не лежала бы сейчас под шестью футами тяжелой, сырой земли. Она была бы теплой и живой, жаловалась бы, что никто не моет посуду, уходила бы на работу унылым зимним утром, и ее розовый рот по-прежнему бы говорил, смеялся, ел и целован уворачивающуюся Джексонову щеку.

Однажды, через полгода после похорон, Фрэнсис подвез Джексона в школу. Шел дождь, летний муссонный ливень, и Фрэнсис сказал: «Запрыгивай, парень». Он припарковался у школьных ворот, достал из бардачка пачку сигарет и отдал Джексону. Джексон пробормотал удивленное «спасибо» и открыл дверцу, но Фрэнсис втянул его обратно и грубо ударил кулаком в плечо. Джексон взвыл от боли, а Фрэнсис сказал: «Я должен был ее встретить, так?» — и Джексон ответил: «Да», что в ретроспективе оказалось неверным ответом. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, мелкий, да?» — спросил Фрэнсис. И Джексон выдавил: «Да». Ему было неловко за Фрэнсиса, он не привык слышать от него про «любовь». Зазвенел звонок, и Джексон нулей вылетел из машины. В середине самого нудного урока математики в истории школы он вспомнил, что сегодня день рождения Нив, и это так его потрясло, что он вскочил из-за парты. «Броуди, ты куда собрался?» — окликнул его учитель, и Джексон сел на место и пробормотал: «Никуда, сэр», потому что она умерла и никогда не вернется и ей никогда не исполнится семнадцать. Никогда.

Вернувшись из школы, он почувствовал, что что-то не так. Он переоделся, сделал себе сэндвич и пошел в гостиную посмотреть телевизор

— и обнаружил Фрэнсиса, висящего на люстре-канделябре, которая когда-то была гордостью и радостью Фидельмы.

Убийцу его сестры так и не нашли.

Они остановились у католической церкви, и Джексон поставил две свечи, одну брату, одну сестре. Марли попросила поставить и Фидельме тоже. *Passio Christi, confotta me*^[125] Обе сестры Фидельмы тоже умерли от рака, и Джексон молился, чтобы Марли не достался этот ген. У отца Джексона не было ни братьев, ни сестер, так что теперь, когда отец умер, Марли — его единственный кровный родственник в целом свете. Вряд ли у него будут еще дети. Что есть, то есть — одна девочка в розовых джинсах и футболке с надписью «Мальчиков много, времени мало». Интересно, людям, которые придумывают эти футболки, и людям, которые их шьют для девочек размера «восемь-десяти лет», когда-нибудь приходило в голову, что их деятельность, вообще говоря, аморальна? Хотя тем, кто их шьет где-нибудь в филиппинском подвале, скорее всего, самим «восемь-десять лет».

— Пап?

— Да?

— Мы можем поставить свечку для моего хомячка?

— Тебе нужна новая футболка, — ответил Джексон. — «Хомячков много, времени мало».

— Не смешно. Теперь уже домой?

— Нет. Сделаем небольшой крюк. Мне нужно повидать женщину по имени Мэриан Фостер.

— Зачем?

— Просто нужно, и все.

Они свернули на объездную, и тут Джексон почувствовал: что-то не так. Стремительность ощущения застала его врасплох. Только что он был в норме — все болит, ломит и ноет, но все же в норме, — и вдруг резко скакнула вверх температура, и уже через пару секунд он увидел мир таким, каким его, наверное, видят мухи, и начал отключаться. Каждая частица остававшейся в нем энергии была направлена на то, чтобы остановить машину на обочине. Потом — пустота.

Он проснулся в больнице, над ним склонялся Хауэлл.

— Ты что здесь делаешь? — Джексон заметил, что говорит не своим голосом.

— Очевидно, я твой ближайший родственник.

— Ах да, — слабо подтвердил Джексон, — Джози сняла с себя полномочия.

Хауэлл ухмыльнулся:

— Я всегда знал, что в тебе есть черная кровь, Джексон. Кстати, раньше ты не таскал с собой карточку донора органов.

— А теперь вот таскаю. — Джексон с усилием приподнялся и сел. — Хауэлл, меня хотят убить.

Хауэлл счел это шикарнейшей шуткой.

— Не будь параноиком, Джексон, — сказал он, отсмеявшись. — У тебя заражение крови. С зубом нелады случились.

Джексона вдруг охватила паника: о чем он думал?

— Где она, где Марли? С ней все в порядке?

— С ней все хорошо, расслабься.

— Хауэлл, где она?

— На овечьей ферме, — ответил тот.

Почему Марли дала полиции номер Ким Строн? Может, пролистала записную книжку в его мобильнике и подумала, что Ким — свой человек. Может, потому, что та дала ей пять фунтов (Марли та еще штучка). Это Марли позвонила в полицию и вызвала «скорую»? Первый звонок с ее розового, как у Барби, телефона был в службу спасения? Что, если бы ему не удалось остановить машину? Или если бы на обочине в них врезался грузовик? Пожалуй, на овечьей ферме у черта на куличках, в окружении русских гангстеров, его дочь в полной безопасности.

— Сколько я уже здесь? — спросил он у Хауэлла.

— Три дня.

— Три дня. Черт, Джози завтра возвращается, мне нужно отвезти Марли обратно в Кембридж.

— Вот уж не думал, что ты такой подкаблучник, Джексон.

Джексон оставил эту реплику без внимания:

— Джози забирает Марли в Новую Зеландию.

— Ну, это же всего на год, — сказал Хауэлл. — Он пройдет, не успеешь оглянуться.

— Нет, навсегда.

— Ничего подобного, — возразил Хауэлл, — только на год. Спроси у Марли.

— Ах ты, дрянь, — орал Джексон, — твой дружок-кретин едет в Новую Зеландию всего на год по обмену, а ты сказала, что вы уезжаете навсегда!

Джози на другом конце провода произнесла с ленивой хрипотцой что-то неразборчивое — такой голос у нее бывал сразу после оргазма. Если бы она не была в Ардеше, а он — в больнице где-то к югу от Донкастера, он бы точно ее убил. Он сидел на лавочке в больничном дворе, по-прежнему привязанный к капельнице. Люди вокруг начали на него коситься, и он понизил голос:

— Зачем, Джози? Зачем ты соврала мне?

— Потому что ты перегнул палку, Джексон. Забудь все. Забудь меня.

Джексону нестерпимо хотелось курить. Он нащупал языком пустую лунку в десне. Зуб вместе с корнем удалил дантист скорой помощи, пока Джексон пребывал в блаженной отключке. Шерон будет очень недовольна, когда обнаружит, что ее лишили возможности в очередной раз всласть его помучить. Он поймал свое отражение в зеркальной стене и решил, что похож на ходячего раненого из военной хроники.

Он набрал еще один номер:

— Тео?

— Джексон! — Тео был почти счастлив. — Ты где?

— В больнице.

— Опять?

— Да, опять.

Джексон выписался вопреки советам врачей. Они согласились отпустить его, только когда Хауэлл пообещал, что сам отвезет друга сперва в Нортумберленд забрать Марли, а потом домой в Кембридж.

— Вот дела, — сказал Хауэлл, не без труда втиснувшись на водительское сиденье «пунто». — Джексон, ты что, в бабу превратился?

— Случаются вещи и похуже, — ответил тот. — Я сам поведу.

— Нет, не поведешь. — Хауэлл перебрал Джексоновы компакт-диски. — Все еще слушаешь это дерьмо?

— Да.

Хауэлл зашвырнул Тришу, Люсинду, Эммилу и остальных страдалец на заднее сиденье и поставил диск Марли с Кристиной Агилерой. К тому времени, как альбом Агилеры заиграл по четвертому разу, они уже ехали по А1, приближаясь к чертовым куличкам.

— Ты не обязан этого делать, — сказал Джексон.

— Обязан, обязан, я же твой друг. Кроме того, мне не помешает культурный отпуск — город дремлющих спилен и все такое. ^[126]

— По-моему, это про Оксфорд.

— Один хрен, — отмахнулся Хауэлл. — Кто пытается тебя убить?

— Парень в золотистом «лексусе».

— Не в том ли, что за нами едет, а? — Хауэлл глянул в зеркало заднего вида.

Джексон хотел было обернуться, но шея не поворачивалась. Хауэлл вслух прочитал номер машины.

— Да, он самый. — Джексон потянулся за мобильником и сказал: — Не сворачивай с магистрали, — в тот самый момент, когда Хауэлл круто завернул влево на съезд.

— А почему нет? — спросил он. — Заведем этот «лексус» куда-нибудь, где тихо-мирно, и разберемся с ним.

— Разберемся? Ты хочешь сказать, уделаем его?

— Ну, я не имел в виду ничего радикального, но если хочешь, то запросто можем, — сказал Хауэлл.

— Нет, не хочу. Я хочу, чтобы все было по закону. Я звоню в полицию. У них есть ордер на арест этого парня.

— Надо ж быть таким легавым.

— Да, знаю. Я легавый, я превратился в бабу, я подкаблучник, и у меня с собой донорская карточка. Это называется средний возраст.

«Лексус» сидел у них на хвосте. Джексон повернул зеркало и поймал в него Квинтуса. На его надменном лунообразном лице читалась готовность к драке. Джексон не мог даже придумать, чем так раздосадовал этого парня.

Послышался вой полицейских сирен. Джексон оставался на связи с диспетчером, но никак не мог объяснить ей, где они находятся. Они ехали по узкой дороге между разросшихся кустов. Хауэлл так вел машину, будто играл в «Большой угон — GTA». «Пунто» въехал в крутой поворот и оказался капот к капоту с «Мерседесом-SL500», шедшим с такой же скоростью. Джексон закрыл глаза и сгруппировался, но каким-то чудом водитель «мерседеса» подала влево и Хауэлл тоже подал влево — Джексон так себе представлял «стену смерти», ^[127] — и они разминулись в дюйме друг от друга.

— Чтoб я так жил, — восхищенно протянул Хауэлл, — какая красotka, как водит, какая машина!

— Ох, — сказал Джексон. Он посмотрел на свои руки: они дрожали.

«Лексус» исчез с радаров. Хауэлл остановился и осторожно выехал задним ходом обратно за поворот. Звук сирен настойчиво приближался. «Лексус» успешно разошелся с «мерседесом», но не вписался в поворот и, особо не пострадав, врезался в кусты вдоль обочины. Он попался, как муха в паутину. Квинтус сидел внутри и беспомощно толкал дверь.

Появились две патрульные машины и за ними еще полицейские без опознавательных знаков. Они затормозили всей толпой, сделав эффектный вираж. Последним штрихом драматической погони стал полицейский вертолет в небе. Уж Джексон-то знал, какой парни ловят кайф, вырываясь из рутины ДТП и штрафов за превышение скорости.

Хауэлл с Джексоном вышли из машины и направились к «лексусу».

— А с чего он хочет тебя убить? — спросил Хауэлл.

— Понятия не имею, — ответил Джексон. — Давай спросим у него.

— Когда вернешься к маме, — сказал Джексон Марли, — не стоит хвастаться ей, что знаешь русский.

— А почему?

— Потому что... — Джексон нахмурился, думая обо всем том, чего Джози лучше не знать. — Просто не нужно, и все. Ладно, милая?

Она явно колебалась. Джексон дал ей десятку.

— *Спаси-и-ба*, — протянула Марли по-русски.

Когда Джексон позвонил Тео из больницы, тот сказал, что у него гостит Лили-Роуз, девушка с желтыми волосами. Джексон не знал, как это понимать, но это его и не касалось, и он решил просто об этом не думать. Он вообще сейчас старался не думать без лишней необходимости, потому что от этого голова болела. Он сказал Тео: «Это хорошо» — с надеждой, что так оно и есть.

Джексон сообщил Тео по телефону, что пришлет ему имя, имя человека, которого тот искал десять лет, имя, которое назвала ему Ким Строн. Конечно, был шанс, что это не то имя, не имя убийцы Лоры (презумпция невиновности? к черту!), и Джексон знал, что должен сообщить о своих подозрениях в полицию, но, в конце концов, это миссия Тео, и что делать дальше — решать ему.

Он написал имя и адрес на обороте открытки, которую купил на заправке неподалеку от Ангела Севера.^[128] На открытке были изображены те самые искусственного вида розовые ромашки, которые он видел, когда выбирал цветы для могилы Нив. Похоже, это новый сорт. Он наклеил марку, и Марли побежала к почтовому ящику: она была еще в том возрасте,

когда бросать письма в ящик — развлечение. Когда через год она вернется, то наверняка уже потеряет к этому интерес. Через двенадцать месяцев она уже не будет прежней Марли: у нее будет другая кожа и другие волосы, она вырастет из обуви и одежды, которую носит сейчас, будет сыпать новыми словечками (новозеландскими) и, может быть, ей разонравится Гарри Поттер. Но она все равно будет Марли. Просто изменится.

Джексон высадил Марли у дома Дэвида Ластингема. Джози окинула его бесстрастным взглядом:

— Выглядишь ужасно.

— Спасибо.

У калитки Марли догнала его, обвила руками и крепко обняла.

— *Дасвиданья*, папочка, — прошептала она.

Джексон вернулся к тому, что осталось от его дома. Там пахло копотью и чем-то кислым, словно от взрыва пробудились споры древних болезней. Он разворошил ногой спекшийся шлак, покрывавший пол в гостиной. Интересно, что случилось с прахом Виктора. Урны нигде не было видно. Прах к праху. Он нашел осколок сувенира, большой кусок наилучших пожеланий, на котором еще можно было разобрать буквы «ми из Скар». Он бросил его обратно на руины. Джексон уже собрался уходить, но тут кое-что привлекло его внимание. Он присел на корточки, чтобы рассмотреть получше. Из завалов торчала перепахканная золой голубая лапка, точно жертва землетрясения звала на помощь.

Джексон потянул за лапку и освободил Голубого Мышонка.

Суперинтендант Мэриан Фостер, выйдя на пенсию, переехала в Файли. Когда Джексон с Марли постучали в дверь, она распаковывала коробки с вещами на кухне. Джексон позвонил ей из машины, чтобы предупредить о своем визите, и она, судя по голосу, обрадовалась, будто уже поняла, что похоронить себя в маленьком приморском городке — не лучший способ провести заслуженный отдых.

— Может, найду комитетик-другой, которым нужна твердая рука, — смеясь сказала она, — наконец-то получу степень в Открытом университете,^[129] буду ходить на вечерние занятия. — Она вздохнула. — Паршиво будет, да, инспектор?

— Не знаю, мэм, — ответил Джексон. — Уверен, что вы привыкнете.

Как он ни пытался, ему не удалось выдавить из себя ничего более ободряющего. Он вдруг увидел отражение собственного будущего.

Безошибочно угадав в Марли сладкоголика, Мэриан Фостер усадила ее перед телевизором с банкой колы и тарелкой шоколадного печенья. Для себя с Джексоном она заварила крепкий, до горечи, чай.

— Перешли на водичку? — спросила она, заметив, что Джексон поморщился. — Теперь вы в Йоркшире, друг мой.

— О да.

— Итак, — в голосе Мэриан Фостер зазвучали деловые нотки, — Оливия Ленд? Что мне вам сказать? Я была простым детективом, больше того — женщиной-детективом. Я брала показания у сестер Ленд, но сомневаюсь, что смогу сообщить вам что-то новое.

— Я так не думаю, — сказал Джексон. — Ощущения, впечатления, инстинкты, что угодно. Скажите мне, что бы вы сделали по-другому, если бы вели расследование.

— Зная все, что я знаю о мире теперь? — Она тяжело вздохнула. — Я бы плотнее занялась отцом. Заподозрила бы насилие.

— Правда? Почему?

— С Сильвией, старшей, было что-то не так. Она что-то скрывала, что-то недоговаривала. Начинаешь расспрашивать, и она сразу закрывается. Какая-то она была... Не знаю, *странная*.

Странная — так же о ней отозвалась Бинки Рейн.

— Отец был угрюмый тип, — продолжала Мэриан Фостер, — держал в кулаке и себя, и других. От остальных не было никакого толку, ни от матери, ни от двух других дочерей. Забыла, как их звали.

— Амелия и Джулия.

— Точно. Амелия и Джулия. Хотите мое мнение?

— Больше всего на свете.

— Я думаю, это отец. Думаю, Оливию убил Виктор Ленд.

Джексон достал из кармана решающую улику и положил на кухонный стол. На глаза Мэриан Фостер навернулись слезы, и на мгновение она потеряла дар речи.

— Голубой Мышонок, — наконец произнесла она. — После стольких лет. Где вы его нашли?

Сильвия не удивилась, увидев Голубого Мышонка, вот что странно. Словно знала, что он в конце концов объявится. Ее не интересовало, где Джексон его нашел; он сам сказал, да, но она-то не спрашивала. А ведь первым делом должна была бы спросить, как Мэриан Фостер: «Где вы его нашли?»

Джокер, узнав Джексона, завилял хвостом, Сильвия же была не столь

рада снова увидеть детектива по другую сторону решетки в комнате для свиданий.

— Чего вы хотите? — спросила она, нахмурившись, и Джексону показалось, что перед ним промелькнула мирская Сильвия.

Действие обезболивающего заканчивалось. Ему хотелось снять голову с плеч и дать ей передохнуть. Как же к ней подступиться? Он сделал глубокий вдох и посмотрел в грязно-серые глаза Сильвии.

— Сестра Мария Лука, — начал он, — Сильвия.

Когда он произнес ее настоящее имя, ее глаза сузились, но она не отвела взгляда.

— Сильвия, считайте меня священником в исповедальне. Что бы вы мне ни рассказали, это останется между нами. Расскажите мне правду, я прошу вас. — (Ведь в конечном счете к этому все и сводится — к поискам правды.) — Расскажите мне правду о том, что случилось с Оливией.

Пришлось с силой приналечь на калитку. Он чувствовал себя незванным гостем. Он и был незванным гостем. На ветке яблони повис обрывок желтой полицейской ленты. Сад больше не был местом преступления. Бинки умерла естественной смертью, «от старости», как сказал Джексону патологоанатом. Джексон полагал, что так уйти из жизни сродни триумфу. Он надеялся, что Марли умрет от старости где-нибудь под яблоней, когда его самого уже давным-давно не будет на свете.

Настоящий заповедник. Под свесом крыши сновали летучие мыши, из-под ног Джексона лениво ускакала лягушка, и, несмотря на то что он освещал тропинку большим полицейским фонариком, продираясь через колючки и заросли сорняков в угол сада, он чуть не наступил на маленького ежика. Преодолевая почти непроходимые заросли ежевики, Джексон думал, как легко, в самом деле, здесь что-нибудь не заметить. Что-нибудь драгоценное. Недостаточно будет просто разгрести траву и залежи листьев. Хотя Джексон и не рассчитывал ничего найти. Не только потому, что вокруг было столько живности — в этих местах лису можно встретить в любом саду, — а просто потому, что драгоценная пропажа, как ты ни ищи, находится крайне редко.

Сильвия сказала, что надо искать в углу, за яблонями, за большим буком. Джексон не отличил бы бук от березы, он вообще не разбирался в деревьях, поэтому он пошел вдоль стены, пока та не уперлась в другую стену, и постановил, что это и есть угол.

Он копал руками — способ малоэффективный и грязный, но лопата показалась ему слишком грубым орудием. Он не копал — он вел раскопки.

Очень осторожно. Земля была твердая и сухая, приходилось скрести ногтями. К тому времени, когда он обнаружил первый след, в саду повисла крошечная тьма. Лицо и руки щипало от грязи и пота. Он думал о Нив, о том, как два дня они с Фрэнсисом искали ее, обшаривая вонючие мусорные баки и свалки, каждый закоулок, каждый пустырь, пока Джексон не почувствовал себя одичавшим животным, существом, утратившим всякую связь с человеческим обществом. Он смотрел, как полиция драгой прочесывает канал, и видел, как со дна подняли тело его сестры, облепленное грязью и илом. Он помнил, что первым чувством — прежде чем пришли сложные эмоции — было облегчение оттого, что ее нашли, что она не останется потерянной навсегда.

Сильвия сказала, что Оливию просто оставили примерно на том месте, где она умерла, прикрыв ветками и травой. Полиции нужно было каждый квадратный дюйм этого сада прочесать на карачках, Джексон первым делом бы это сделал, обыскал бы ближайšie окрестности. Он вспомнил, как Бинки говорила что-то о том, как выпроводила «взашей» полицейских со своего участка. Непостижимо, какая-то наглая старая тори велела им убраться — и они убрались. И все это время Оливия Ленд лежала здесь, терпеливо дожидаясь, когда кто-нибудь придет и найдет ее. Джексон подумал о Викторе, как тот прикрыв свою маленькую дочку сорняками и садовым мусором, как будто она ничего для него не значила, оставил ее одну в незнакомом месте, когда тело ее еще не остыло. Не забрал ее домой. О Викторе, который вернулся в постель, заперев заднюю дверь, оставив Амелию, еще не хватившуюся сестренки, одну снаружи. О Викторе, который тридцать четыре года держал Голубого Мышонка под замком вместе с правдой. Сестры Ленд часто играли в саду у Бинки, а потом Сильвия запретила им сюда заходить. Потому что знала, что здесь Оливия.

Сперва он нашел ключицу, а потом вроде бы локтевую кость. Он прекратил раскопки и посветил вокруг фонариком, пока не увидел маленький лунно-белый череп. Джексон вытащил из кармана телефон и позвонил в парксайдский участок.

Он сел на корточки и стал рассматривать ключицу, смахивая с нее землю со всей нежностью археолога, обнаружившего нечто редкое и неповторимое, впрочем, так, конечно, оно и было. Ключица была крошечная и хрупкая, словно принадлежала мелкому зверьку, кролику или зайцу, как половинка птичьей грудной вилки. Джексон благоговейно поцеловал ее, самую священную реликвию, которую ему суждено было отыскать. Пошел дождь. Джексон не мог вспомнить, когда в последний раз

шел дождь. Aqua lateris Christi, lava me^[130] Джексон заплакал. Он оплакивал не свою сестру, не Лору Уайр, не Керри-Энн Брокли, не всех пропавших девочек на свете, он плакал по маленькой девочке с клетчатými ленточками в волосах, которая держала в руках Голубого Мышонка и велела ему улыбаться в камеру.

Джексон устроился на своем месте в экономклассе, двадцатый ряд, у окна. Он мог бы позволить себе полететь бизнес-классом, но зачем без нужды швырять деньгами. Похоже, он остался сыном своего отца.

Он был богат. Неожиданно, абсурдно богат. Бинки сделала его единственным наследником своего состояния — двух миллионов фунтов стерлингов в облигациях и акциях, которые пролежали в депозитной ячейке все эти годы, за которые она не потратила ни пенни на что-либо, кроме своих кошек. «Моему другу, мистеру Джексону Броуди, за его доброту». Он заплакал, когда поверенный зачитал эту строчку. Заплакал, потому что не проявлял к ней особенной доброты, заплакал, потому что у нее не было друга получше, потому что она умерла в одиночестве и никто не держал ее за руку. Заплакал, потому что превращался в бабу.

Два миллиона, при условии, что кошкам будет обеспечен должный уход. Это относится и к потомству? Ему придется заботиться о кошках Бинки год за годом, до самой смерти, а потом Марли и ее потомкам тоже придется за ними присматривать? Первым делом он их всех стерилизует и кастрирует. Он знал, что не заслужил этого, тут и говорить не о чем, это как выиграть в лотерею, не купив билета. Но если так, то кто заслужил? Уж точно не ее единственный кровный родственник Квинтус. Который нашел теткинo завещание в пользу Джексона и попытался убить его, чтобы ему не досталось состояние. И наверняка убил бы свою тетку, если бы она не опередила его, тихо умерев от старости.

Сначала Джексон переживал, что деньги грязные, что они вышли из алмазных копей, добыты кровью, потом и рабским трудом черных землекопов, «нэгрoв». Грязная нажива. Он даже подумывал отдать все Хауэллу. «Потому что я черный? — спросил Хауэлл, вытаращившись на Джексона, будто у того выросла вторая голова. — Вот ты шизанутый». И Джексон решил, что, пожалуй, считать Хауэлла символом всех жертв в презренной истории имперской эксплуатации — это немного чересчур. Хауэлл с Джулией играли в криббидж за столом в Викторoвой гостиной, попивая джин. Джулия грохнула пустым стаканом по столу и сказала: «Плесни-ка мне еще». Этих двоих он бы ни за что не взялся перепить.

Хауэлл с Джексоном остановились в отеле «Гарден-хаус», дома-то у

Джексона больше не было. Джулия предложила им приют, но Джексон и подумать не мог о том, чтобы жить в старом, холодном доме Виктора и спать в комнате, последней обитательницей которой была кто-нибудь из потерянных сестер Ленд.

Он сам рассказал Джулии. Отвел ее в полицейский морг посмотреть на хрупкие заячьи косточки. («Это против правил, Джексон», — мягко упрекнул его судмедэксперт.) Джулия сильная, он знал, что она сможет без истерики посмотреть на то, что осталось от крошечного скелета Оливии. Она протянула руку к сестре, но патологоанатом сказал: «Не трогайте, милая. Позже, позже вы сможете до нее дотронуться», и Джулия убрала руку и прижала ее к сердцу, как будто сердце у нее вдруг заболело, и охнула, очень тихо. Джексон и не знал раньше, что одно маленькое «ох» может быть таким невыносимо печальным.

Джексон сочинил такую историю: он выгуливал собаку, и собака потянула его в сад Бинки, где принялась рыть землю в зарослях, и лаяла, лаяла, пока Джексон не подошел посмотреть, в чем дело, и тут-то он и обнаружил тело Оливии. «И где сейчас ваша собака, инспектор?» — спросил первый же детектив, прибывший на место преступления. «Убежала», — пожал плечами Джексон, не потрудившись добавить: «Теперь просто мистер Броуди». Про визит в монастырь он не сказал ни полиции, ни Джулии. Он считал, верно или нет, что если Сильвия хотела открыть правду, то ее дело решать кому и когда. Он пообещал сохранить тайну исповеди, он дал слово. «Похоже на трагический несчастный случай», — сказал он следователю. — Промашка полиции. Тридцать четыре года прошло, что уж теперь».

Хауэлл налил джина себе и Джулии.

— Почему вы не идете к нам, мистер Би? — спросила она. — Мы могли бы втроем во что-нибудь сыграть.

— Мы можем попытаться счастья и отыграть половину твоих непомерных и незаслуженных деньжищ, — добавил Хауэлл.

Джексон отказался.

— Жалкое бздыкло, — прокомментировал Хауэлл.

Можно помочь Хауэллу открыть свое дело. Часть денег положить в трастовый фонд для Марли. И сколько-нибудь дать Лили-Роуз. Он заходил к Тео, видел открытку с розовым цветком на каминной полке. Ни один из них о ней не обмолвился. Лили-Роуз заварила чай, и они сидели в саду и ели бисквитный торт с джемом и взбитыми сливками, который испек Тео. «Вкуснятина, правда?» — со знанием дела сказала Лили-Роуз.

И на благотворительность надо что-нибудь отдать, хотя бы для

успокоения совести. Выяснилось, что деньги заработаны не на алмазах. Давным-давно предок Бинки Рейн вложил в строительство американских железных дорог, так что деньги были добыты кровью и потом тех, кто строил «Юнион» и «Центральную тихоокеанскую» (китайцев? ирландцев?), что, по мнению Джексона, тоже было не особенно этично, но что уж тут поделаешь?

Какой благотворительный фонд выбрать? Их так много. Нужно посоветоваться с Амелией, ей полезно будет погрузиться с головой в новое дело. Она «немного переутомилась», как объяснила ему Джулия, и приняла слишком много таблеток и теперь «отдыхает» в больнице.

— Хочешь сказать, что она пыталась покончить с собой? — перевел Джексон.

Джулия нахмурилась:

— Вроде того.

— Вроде того?

Он вызвался привезти Амелию домой из больницы. Она была накачана успокоительным и неразговорчива, но, когда они подъехали к дому на Оулстон-роуд, Джулия ждала на пороге с черным котом, ранее известным как Нэгр, которого она вложила Амелии в руки как приветственный дар.

— Его зовут Счастличик, — сказала Джулия.

Тем временем Шпулька — потерянная и найденная — развлекалась, пытаясь взобраться по Джексоновой ноге.

Наблюдая, как Амелия зарылась лицом в черную шерстку Счастличика, Джексон понял, что, возможно, нашел идеального попечителя для Биикиного наследства.

— Как думаешь? — спросил он Джулию позже. — Дом, понятное дело, нужно будет отремонтировать, но потом Амелия могла бы жить там и присматривать за кошками.

— Здорово, она бы и сад могла спасти. — Джулия была в восторге. — Амелия будет счастлива. Какая отличная идея, мистер Броуди!

Джексон позабыл про сад.

— Ты считаешь, это ничего? То есть Оливия же была там все это время, Амелия не распахнется из-за этого?

Амелия еще не знала про Оливию, Джулия все выбирала «подходящий момент», а Джексон сказал: «Подходящего момента не будет», и Джулия ответила: «Я знаю».

— Думаю, — сказала Джулия, — что это будет очень хорошо. Это будет как раз то, что нужно.

Она повернула голову на подушке и посмотрела на него — они вели разговор о будущем Амелии в постели — и улыбнулась своей широкой ленивой улыбкой. Потом от души потянулась, и ее теплая ножка потерлась о его голень.

— О мистер Броуди, кто бы мог представить, что это будет так восхитительно?

Кто бы, в самом деле, подумалось Джексону.

— Можешь называть меня Джексон, — сказал он.

— Ну нет. Мне больше нравится «мистер Броуди».

Пока самолет готовился к взлету, Джексон изучал информацию, полученную от агентов по недвижимости. Симпатичное шато, не слишком вычурное, в Минервуа (во Франции этих шато как грязи), дом священника постройки тринадцатого века в деревушке к югу от Тулузы и особняк в деревне неподалеку от Нарбонны. Он пока не решил, где поселиться, но нужно же с чего-то начинать. Он решил, что проедет по Франции на машине и сам осмотрит дома, без спешки. Свой бизнес он продал Деборе Арнольд. Будь она чуток поприятнее, получила бы скидку. Он закрыл глаза и стал думать о Франции.

— Что будете пить, сэр?

Он открыл глаза и увидел вежливое, безразличное лицо Николы Спенсер. Она холодно ему улыбнулась и повторила вопрос. Чтобы немного растянуть встречу, он попросил апельсиновый сок. В каком-то смысле он знал о Николе Спенсер все, а в каком-то — совершенно ничего о ней не знал. Она дала ему пакетик соленых крендельков к апельсиновому соку и перешла к следующему пассажиру. Она толкала мимо него тележку, а он смотрел на ее поджарые ягодицы, обтянутые форменной юбкой. Когда они приземлились, он подумав не проследить ли за ней — из любопытства и потому что ее дело так и осталось незаконченным, — но к тому времени, когда он покончил с формальностями и взял напрокат машину в тулузском аэропорту, он потерял к ней интерес.

Джонатан спросил: «Что ты хочешь на день рождения?» — и она сказала: «Мерседес-SL500», в шутку конечно, и он спросил: «Какой цвет предпочитаешь?» — и она ответила: «Серебристый», и сдохнуть ей на этом самом месте, если эта хрень за семьдесят штук не стоит сейчас у порога, перевязанная большим розовым бантом. Значит, у него денег еще больше, чем она думала. Она понятия не имела, сколько у него денег, ей не нужно от него ни гроша, она даже эту машину не хотела, нет, в самом деле, хотя теперь, когда «мерседес» у нее был, она в нем души не чаяла. Машина для двоих, ни для собак, ни для детей места нет.

«Боже!» — только и сказала Ровена, когда увидела машину. Удивительно, сколько смысла можно вложить в одно двусложное слово.

Может быть, это прощальный подарок. Может быть, он готовился обзавестись новой женой. Она была вполне уверена, что в Лондоне у него кто-то есть. Она удивилась бы, если б не было, у таких мужчин, как Джонатан, всегда есть любовницы. Правда, они никогда на них не женятся. Ей следовало бы стать любовницей, по темпераменту она куда больше подходила в любовницы, чем в жены.

Они до сих пор ничего не знали о ребенке, сидевшем у нее внутри. Она готовилась снова сбросить кожу, отрастить новую. Она должна уехать прежде, чем погрязнет в бездействии, прежде, чем кто-нибудь ее найдет.

Прежде, чем они помешают ей, узнав про ребенка. Они заберут ребенка себе. Жаль, конечно, очень, ведь школу и работу она любила всей душой, но есть другие школы и другая работа — все возможно, если правильно настроиться. И она забирала ребенка с собой (а как иначе) из этого дома, не нужно ему тут расти, а не то он будет говорить по-французски по средам и никогда не поймет, что такое любовь. Она любила этого ребенка до боли. Никто в этом доме не был способен понять такое. Было время, когда и она не понимала любовь, и к каким бедам это привело. Она сказала Ширли: «Считай, что я умерла», но она не ожидала, что сестра ее послушается. Не было ничего: ни посещений, ни открыток, ни подарков на день рожденья, ни единой весточки. Месяц за месяцем она ждала, что в день посещений Ширли появится с Таней на руках («Смотри, это мамочка») или приведет их бестолковых родителей («Давайте, вам нужно

навестить Мишель»), но нет. Все ее письма оставались без ответа, все надежды пропали втуне, и в конце концов она пришла к мысли, что, может быть, так действительно лучше, пусть живут своей жизнью, освободятся от нее, ведь, если на то пошло, что хорошего она им сделала? Она не любила людей, которых обязана была любить, а за это рано или поздно надо платить.

Когда убегаешь, не оставляй следов. Бери с собой минимум вещей, словно собралась на один день в Лидс (но забирай свою красивую машинку). Не оставляй улики, как оставила отпечатки пальцев по всей рукояти того чертова топора, чтобы выгородить других. На этот раз она забирала букашку, новую букашку, с собой. Она будет любить этого ребенка так сильно, что каждый день он будет просыпаться счастливым, и наконец-то снизойдет на нее благодать.

И хватит превращать свою жизнь в вариации на пасторальную тему. Нужно придумать что-нибудь совсем новое. Можно уехать за границу, в Италию или во Францию. Конечно, куда ни заберись, хоть в Патагонию или Китай, это все равно недостаточно далеко, но фокус в том, чтобы продолжать двигаться. Фокус в том, чтобы не оставлять букашку. Одно она знала наверняка: назад пути нет.

Она решила дать ему шанс уехать вместе с ней, всего один шанс. Он будет потрясен и никуда не поедет, но шанс она ему даст.

Он ехал на велосипеде (его дешевые черные брюки были прихвачены у щиколоток велосипедными зажимами, представляете?) и оглянулся, услышав шум машины сзади. Она ехала с откинутым верхом и, поравнявшись с ним, остановилась, а он слез с велосипеда, рассмеялся и сказал:

— Шикарный агрегат, миссис Уивер.

Как продавец подержанных тачек. И она согласилась:

— Еще бы, викарий. — И похлопала по сиденью рядом с собой. — Хотите прокатиться?

Он беспомощно махнул в сторону велосипеда, но потом сказал:

— Ой, да и... — И положил велосипед в высокую траву на обочине.

Но когда он взялся за ручку дверцы, она перегнулась через соседнее кресло, будто не пуская его, и сказала:

— Только учтите, что я уезжаю и не собираюсь возвращаться обратно, никогда, а когда я уезжаю, то еду *быстро*.

И он ответил:

— Вы ведь не шутите, да?

И она подумала, как ей нравится, когда лицо у него становится как у серьезного маленького мальчика, пытающегося придумать правильный ответ. Она повернула ключ зажигания и сказала:

— Считаю до десяти...

Мишель подумала, что и раньше злилась, но чтобы так — никогда. Ты словно вулкан с закупоренным кратером: внутри бурлящая жижа, которую нельзя выплеснуть наружу. Как она, кстати, называется? Магма? Лава. Черт подери, она уже простейших слов не помнит. В книгах писали: «материнская амнезия», но если это и амнезия, то очень избирательная, потому что о том, как она жалка и несчастна, Мишель не забывала ни на минуту. А сегодня такой хороший день — был до этого момента, — она все успевала, все было под контролем, а потом этот увалень ввалился в дом и разбудил ребенка.

Мишель взялась за тонор, но он застрял в бревне, что тот Экскалибур, [\[131\]](#) и ее охватила такая дикая ярость, что она не услышала Ширли, и когда, повернувшись, увидела ее, то аж подскочила от испуга:

— Черт, как ты меня напугала.

И на долю секунды она забыла о том, что злилась, но потом услышала, как в доме плачет ребенок, — а с ним и добрая половина Восточной Англии, черт, ну и вопли, — и вскипела снова. На этот раз извержения не избежать, будет катастрофа. Кракатау в действии. [\[132\]](#) Кое-что еще все-таки помнит.

— У тебя вид, будто ты собираешься кого-нибудь зарубить, — рассмеялась Ширли, и Мишель ответила:

— Собираюсь.

Она ворвалась в заднюю дверь, как бешеный викинг, и, увидев ее, Кит тоже расхохотался, все, суки, смеются над ней, точно она пустое место или шутки тут с ними шутит, и она неуклюже подняла топор, не особенно понимая, где у него центр тяжести, и замахнулась на Кита, но замах вышел девчачий, и топор выскочил у нее из рук и приземлился на пол, не причинив никому вреда.

Он был разъярен еще больше ее. Сперва она подумала, что это из-за топора, хотя топор, господи, упал в миле от него, но потом Мишель поняла, что он так разоряется из-за Тани.

— Ты могла ее задеть, могла ее покалечить!

— Что за чушь, я к ней и близко не подошла!

И он заорал:

— Ах ты, сука злобная, да не в этом дело!

Она испугалась. Кит явно сошел с катушек, сам на себя был не похож, и тут он потянулся за топором — но в следующую секунду топор оказался в руках у Ширли, и она не стала размахивать им по-девчачьи, а просто взяла и рубанула прямиком Киту по голове, а потом все стихло, даже букашка.

Ширли ходила на курсы при Ассоциации скорой помощи Святого Иоанна, но тут и без курсов было ясно, что помочь ничем нельзя. Мишель сидела на полу, обхватив себя руками, как в смирительной рубашке, и раскачивалась взад-вперед. Она слышала странный, зудящий звук, но не сразу поняла, что сама его издает.

— Прекрати это, — ледяным тоном сказала Ширли. Но у нее никак не получалось, и тогда Ширли рывком подняла ее на ноги и заорала: — Заткнись, Мишель, заткнись!

Но она не могла заткнуться, и Ширли ударила ее кулаком в лицо. Потрясение было так велико, что ей показалось, она на несколько секунд перестала дышать; все, чего ей хотелось, — это свернуться калачиком и забыться.

— Ты только что разрушила и свою жизнь, и мою, не говоря уже о жизни Тани, — сказала Ширли.

А Мишель подумала: «Не говоря уже о жизни Кита», но она знала, что Ширли права, поскольку, если разобраться, виновата была она.

Поэтому она встала с пола — руки-ноги с трудом сгибались, как у старухи, — и подняла топор, который, по крайней мере, не застрял у него в голове, и на том спасибо, вытерла рукоять о джинсы, потом взялась за нее снова и сказала Ширли:

— Уходи.

Таня поднялась на ножки, цепляясь за бортики манежа, и снова принялась кричать, словно в нее ткнули булавкой. Ширли взяла ее на руки и попыталась успокоить, но ребенок, похоже, успокаиваться не собирался.

— Просто уйди, — сказала Мишель. — Пожалуйста, Ширли, просто уйди.

Ширли опустила ребенка на пол и сказала:

— Обещаю, что позабочусь о ней.

И Мишель ответила:

— Я знаю, что позаботишься. Забери ее, пусть у нее будет новая

жизнь, стань ей матерью, раз я не могу.

Потому что если на свете и был человек, которому она могла доверять, то это была Ширли.

— Договорились, — сказала та. Можно было подумать, что она уже не раз проходила через такое. Поразительное самообладание. — Я позвоню в полицию и скажу, что нашла тебя так. Договорились? *Так*, Мишель?

— Так.

Ширли сняла трубку, набрала 999 и, когда ей ответил оператор, начала кричать в истерике (да, в ней пропала великая актриса), а потом перестала рыдать и повесила трубку, и они молча стали ждать полицейских. Букашка заснула на полу. Было очень холодно, и еще Мишель думала, не прибраться ли немного к приезду полиции, но у нее не было сил. Наконец послышался вой сирены, а потом еще одной и шум полицейских машин, подскакивающих на ухабах проселочной дороги, и Мишель сказала Ширли:

— Ты так и не попробовала шоколадный торт.

Она выкрасила волосы в ослепительный розовый цвет, и теперь, глядя на нее, Тео думал о фламинго. Розовый шел ей куда больше, чем яично-желтый. У нее стал более здоровый вид. Она и впрямь поздоровела, набрала фунтов семь за неделю, не меньше, да и неудивительно, потому что Тео пичкал ее с самозабвенностью птицы-матери, выкармливающей птенца: тосты с фасолью, «Хорликс»,^[133] макароны с сыром, булочки с беконом, сосиски с картофельным пюре, бананы, вишня и персики — яблоки она не любила, как и Тео. Лора любила яблоки. Лили-Роуз не была Лорой, Тео очень ясно это понимал. Сам он продолжал жевать свой ослиный комбикорм и не скучал по вкусностям: ему больше нравилось смотреть, как ест Лили-Роуз. Кто бы мог подумать, что у этой худышки окажется такой аппетит, она как будто решила отъестся за все голодные годы.

Она спала в комнате Лоры, и собака каждый вечер укладывалась у нее в ногах. Тео и близко не мог подойти к псу, и Лили-Роуз беспокоилась, как бы у него не повторился приступ астмы. Тео тоже беспокоился, но он рассказал ей про Маковку, и как постепенно привык к ней, и что, наверное, ко всему можно привыкнуть, просто нужно время, и она сказала: «Да, я тоже так думаю». Они смотрели фотографии Маковки и Лоры, и Лили-Роуз сказала: «Она хорошенькая», и Тео был рад, что она не использовала прошедшее время, потому что это всегда причиняло ему боль. Он не стал говорить Дженни про Лили-Роуз, поскольку мог представить, что она скажет.

Он получил открытку Джексона с розовым цветком того же оттенка, что и волосы Лили-Роуз. Открытка стояла на каминной полке рядом с фотографией Маковки, когда та была щенком. Лили-Роуз в каком-то смысле ассоциировалась у Тео с Маковкой: обе были маленькими, брошенными, пострадавшими от дурного обращения существами с новыми, цветочными именами. Лили-Роуз сказала, что придумала себе это имя, чтобы стать новым человеком, «начать новую жизнь».

У нее была страшно неблагополучная биография, и она почти наверняка нуждалась в профессиональной помощи. На ее счету были побеги из дому, наркотики, мелкие кражи, проституция, но все это осталось

в прошлом. Мать Лили-Роуз убила ее отца, и бедняжку вырастили отцовские родители, которые, по рассказам, были ничуть не лучше ее собственных (Тео подозревал насилие). У нее была нереальная жизнь, как суровый документальный фильм или плохая мыльная опера. Но, несмотря ни на что, она казалась удивительно счастливой, играя с собакой в саду, поедая мороженое или читая журнал. Ей нравилось, когда по утрам ее будят чашкой сладкого чая и тостом с маслом. По вечерам они начали (вот причуда) вместе собирать пазл.

«Блин, мы с тобой как пара пенсионеров», — сказала она однажды, но в ее тоне не было ничего обидного. Он не хотел ни спасти ее, ни оставлять у себя, ни менять, хотя именно это и делал, и собирался продолжать делать дальше, если она этого хочет. Чего он не делал, так это не волновался за нее. С ней случилось столько всего плохого, что теперь она была устойчива к любым бедам. Он был счастлив просто вернуть ей детство. А когда она будет готова, она пойдет дальше, и он разберется с этим в свое время.

25

Дело № 2, 1994 г

Самый обычный день

С мистером Джессопом жутко глупо получилось. (Он всегда говорил: «Зовите меня Стэн», но она не могла так, это неправильно, он же все-таки учитель.) Странно, она не замечала, чтобы он как-то ее выделял, ничего такого. Пару раз он приглашал к себе Кристину и Джоша тоже, а в прошлом году весь класс отправился к нему домой на барбекю, чтобы отпраздновать конец семестра. Собственно, тогда она впервые и побывала у него дома. Барбекю пришлось отменить из-за дождя, и он сгонял в супермаркет за едой, а она помогла Ким делать сэндвичи. Она всегда звала ее Ким, не миссис Джессоп. Ким была не в восторге, что в дом набилось столько народу, — понятное дело, она всего пару недель назад родила. Они с Дженни были ровесницы, однако невозможно было представить себе более несхожих людей.

Они делали сэндвичи с ветчиной, дешевой, блестящей ветчиной «Крафт» для вегетарианцев. Ким шлепала маргарин на ватный белый хлеб для тостов, и Лора подумала: «Какая гадость», а потом отругала себя за высокомерие. Папа был помешан на их с Дженни питании: домашние обеды, цельнозерновой хлеб, горы фруктов и овощей (хотя сам не упускал возможности наесться всякой гадости). Конечно, бедные люди не могут позволить себе качественные продукты, но Джессопы не бедствовали. Учителя вечно жалуются на зарплату, но нищими их никак не назовешь. Хотя если по правде, то Джош был прав, когда назвал Ким голытьбой. И как Стэна Джессопа угораздило жениться на Ким и оказаться в этой хибаре, где воняет скисшим молоком и грязными пеленками, — вот вопрос.

На Ким были красные туфли на высоком каблуке — не самая, конечно, типичная обувь для молодой матери (и жены учителя). Вытравленные до белизны волосы (привет Мадонне) придавали ее лицу нездоровый оттенок. Мистер Джессоп был полностью у нее под каблуком, слушался малейшего движения жениной брови и разительно отличался от школьного мистера Джессопа (хотя Стэном его называть по-прежнему не хотелось). В классе он был остроумен и циничен, дерзко рассуждал о недостатках школы. Он был совершенно не похож на других преподавателей естественных наук, скорее напоминал учителя литературы. Но дома оказался совсем не таким

интересным, хотя вроде бы должно быть как раз наоборот.

Ким принесла дочку Нину со второго этажа, и все девчонки принялись над ней сюсюкать. Даже ребята заинтересовались, словно им показывали новый проект по биологии («Она уже фиксирует взгляд?», «Она вас узнает?»), но Лору ребенок не интересовал совершенно. Она знала, что, когда у нее будет свой ребенок, все будет по-другому, но чужие дети не будили в ней никаких эмоций. Ким не кормила грудью, и, когда одна из девчонок — Энди — спросила ее об этом, она ответила: «Еще чего не хватало», очевидно считая грудное вскармливание чем-то непотребным, и Джош с Лорой переглянулись и чуть не прыснули со смеху.

«Конечно, я не такая ученая, как вы все», — сказала Ким позже, когда они вместе мыли посуду, заключив к тому времени негласный союз: мистер Джессоп купил ящик пива и несколько пакетов вина, и в гостиной все были уже в дым и гоготали как идиоты, а Ким с Лорой не пили, Лора — потому что принимала антибиотики от ушной инфекции, а Ким — из-за ребенка.

«Нужно соображать головой», — сказала она, и Джош шепнул Лоре: «Было б чем», и Лора притворилась, что не слушает его, потому что мистер Джессоп смотрел на них, как будто знал, что они сплетничают про его жену.

Ким была родом из Ньюкасла и говорила с сильным, даже каким-то иностранным, акцентом. Лора несколько опасалась джорди. По ее представлениям, на севере обитали суровые, негибаемые женщины, с которыми лучше не связываться.

«Я ушла из школы в шестнадцать и отучилась год в колледже, на секретаря, раз тебе интересно», — сказала Ким, и Лора откликнулась: «Ясно», хотя слушала ее вполуха. Она вытирала кухонный стол, на котором и так не было ни пятнышка, потому что, может, Ким и безмозглая дешевка, но дом она содержала в идеальной чистоте, папа бы это одобрил. Вот бы после того, как она уедет в университет (но определенно не раньше), папа встретил какую-нибудь женщину — зрелую, можно даже невзрачную, но обязательно домашнюю, чтобы ценила его по достоинству и хотела сделать его очень, очень счастливым. Он заслуживает счастья, а когда она уедет в университет, он будет убит горем, хоть сейчас и бодрится изо всех сил. Ну, может, не совсем убит горем, не так, как было с ней, когда умерла Маковка, но ему будет очень грустно, потому что они уже так долго всегда вдвоем и он живет ради нее. Вот почему она выбрала Абердин, потому что это далеко от дому: ей нужно уехать, чтобы быть собой, чтобы стать собой. Оставаясь дома с папой, она всегда будет ребенком.

Она не будет вести себя, как Дженни. У сестры ни стыда ни совести,

не звонит и не пишет, если они и общаются, то только по папиной инициативе. Неужели ей на него совсем наплевать? Лора намеревалась звонить отцу каждый день и уже купила целую пачку открыток со смешными картинками и с милыми зверюшками, которые собиралась регулярно ему посылать. Она любила его больше всех на свете, вот почему она согласилась поработать у него в конторе — в баре, конечно, куда круче, но это же всего на несколько недель, а потом она уедет, улетит стрелой в будущее. И она сгорала от нетерпения.

После того дня — дня, когда отменилось барбекю, она начала сидеть с их ребенком; видимо, это Ким предложила мистеру Джессопу ее кандидатуру, значит, она чем-то ей понравилась (а так и не скажешь). Как-то после урока мистер Джессоп закинул удочку, и она ответила: «Да можно, но я ничего не понимаю в детях», а он сказал: «Ой, Лора, будто мы понимаем». Она часто звала Эмму посидеть за компанию, Эмма ладила с детьми и любила их очень — грустная ирония судьбы: она ведь сделала аборт, у нее тогда чуть крыша не поехала, но она была из тех, кто всегда жизнерадостно улыбается и делает вид, что все хорошо, — этим она и нравилась Лоре. Обычно они просто сидели и делали вместе уроки, а иногда рассматривали гардероб Ким — весьма было познавательное занятие, и все же в хозяйской спальне девочкам становилось не по себе, потому что — к большинству других взрослых это не относилось — легко было представить, как Ким с мистером Джессопом занимаются здесь сексом.

Она сказала папе, что все еще девственница, поскольку знала, что это он и хочет услышать, и пусть это была ложь, но ложь совершенно безобидная, более того, ложь во благо. Да и не так уж она погрешила против истины: она переспала всего с четверьмя парнями, один из которых Джош, а Джош вообще не считается, они же вместе учились в начальной школе и знают друг друга с четырех лет. Они с Джошем решили сообща разобраться со всей этой «потерей девственности» — так и безопасно, и по-дружески, разве что чудно немного. А то вот у Эммы, например, первый раз был с женатым мужчиной (прямо у него в машине, кошмар), а беднягу Кристину вообще изнасиловали — какой-то парень подсыпал ей что-то в выпивку.

Они занялись этим в комнате Джоша, родители никогда к нему не заходили. Они были прогрессивные родители, богемные типы, с двенадцати лет позволяли ему делать все, что вздумается (удивительно, как он вырос таким умницей). Так вот, Лора с Джошем сидели внизу и

смотрели документальный фильм про китов.

Сначала было смешно и они ржали как ненормальные, потом посерьезнели, изучая тела друг друга, как наглядное пособие по анатомии, и приступили к прелюдии по всем правилам, но вскоре процесс полностью их захватил, и они оказались на полу, как собаки, и, слава богу, телевизор работал на полную громкость, потому что она слышала собственные крики со стороны, как будто это кто-то другой кричал, а потом они лежали на полу, ошеломленные тем, как увлекательно все оказалось, и единственным звуком в доме была песня кита, и они снова расхохотались, потому что его родители наверняка их слышали, но, если и так, все равно ничего не сказали. Джош сказал: «Мы открыли для себя много нового, не так ли, мисс Уайр?» А она сказала: «Умоляю, давай еще раз?» А он ответил: «Боже, женщина, дай мне отдышаться».

Забирая ее домой, отец спросил: «Ты хорошо себя чувствуешь? Ты какая-то красная». И она ответила: «Наверно, заболеваю». Он сделал ей горячий чай с лимоном и медом, и она уселась в постели в своей пижаме с Винни-Пухом, обняла его и сказала: «Спасибо, лучший папа на свете», надеясь, что от нее не пахнет Джошевой спермой. Тогда им было четырнадцать, с тех пор они еще пару раз этим занимались, и она знала, что Джош влюблен в нее, и была благодарна ему за то, что он ни разу об этом не заговорил.

Она довольно часто бывала у Джессопов, даже когда не нужно было сидеть с их дочкой. Подружилась с Ким.

Имея Ким в подругах, она чувствовала себя больше женщиной, чем неопытной девчонкой. Однажды после ужина — жесткий бифштекс с жареной картошкой — Ким выщипала ей брови и сделала маникюр; обычно Лора приходила в субботу днем, когда Стэна не бывало дома, и они просто сидели в саду, а Нина ползала вокруг по травке. По субботам Стэн играл в любительской футбольной команде. «Их надо иногда спускать с поводка», — сказала Ким, будто давала совет, как обращаться с капризной домашней зверюшкой. Именно тогда она впервые встретилась со Стюартом Лэппином, соседом Джессопов, — он косил газон. Закончив, он подошел к забору и предложил покосить газон Джессопов, и Ким, не отрываясь от подпиливания ногтей, громко ответила: «Спасибо, Стюарт, не нужно», избегая встречаться с ним глазами. Лоре это показалось грубым, и она ободряюще улыбнулась Стюарту, чтобы смягчить ситуацию.

«Терпеть его не могу, — прошипела Ким, когда тот исчез, — вечно пытается задружиться со мной, у меня от него мурашки по коже. Мужу

за тридцать, а все еще живет с матерью — жалкий тип». И Лора сказала: «На вид безобидный», а Ким возразила: «Таких и надо опасаться».

Последний раз был перед самым выпускным экзаменом. Мистер Джессоп предложил позаниматься дополнительно, и она ничего такого не подумала, потому что он и другим раньше предлагал. Она огорчилась, когда Ким не оказалось дома. Стэн сказал: «А, да она повезла Нину к матери» — таким тоном, мол, мне плевать, чем она там занимается. На столе в гостиной лежала стопка бумаги и учебники, но не успела она сесть, как он подошел к ней сзади, обнял за талию и стал целовать в затылок, и она почувствовала, как от него несет алкоголем. Отвратительно. Она была в ярости: да как он посмел, это же так неэтично. Она отпихнула его локтями и закричала, чтобы он ее отпустил, а он сказал: «Лора, брось, ты же с половиной класса этим занималась, пора тебе узнать настоящего мужчину, ты же сама этого хочешь». Ублюдок, мерзкий ублюдок! Она изо всех сил наступила ему на ногу, как их учили на курсах самообороны, но это было нелегко, он все еще крепко держал ее за талию, и, когда она поняла, что не может вырваться, ее охватила паника. Он принялся ее разворачивать, чтобы поцеловать в губы, а потом положил руку ей между ног, слава богу, она была в джинсах, так что он не слишком ее облапал, и тут ей удалось отстраниться и ткнуть ему пальцем в глаз. Потом она бросилась бежать.

Они с Джошем готовились к экзаменам на кладбище при церкви Литтл-Сент-Мэри. Было жарко, они начали целоваться и немного увлеклись; обычно там было безлюдно, но вдруг она услышала шорох листвы, словно животное пробиралось сквозь заросли, и тут из-за могильного камня выглянул мужчина, и она вскрикнула совсем как девчонка, а Джош проявил себя настоящим мужчиной, несмотря на спущенные джинсы, и крикнул этому типу, чтобы проваливал, а потом они оба зашлись от хохота. Она подумала, что где-то уже видела этого человека, но, только когда он заказал у нее в баре полпинты шенди^[134] пару недель спустя, она поняла, что это сосед Джессопов, тот тип с косилкой. Имени его она, конечно, не помнила. К счастью, он, судя по всему, ее не узнал.

К тому времени все разъехались: Кристина в Танзанию на год учить детей, Эйша на лето во Францию, Джоанна с Пэнси путешествовали по Европе, Эмма была в Перу (кто бы мог подумать!), а Джош уехал вожатым в лагерь в мичиганской глухомани. Она чувствовала себя всеми покинутой. Они с ребятами договорились встретиться перед «Павильоном Хоббса» на Паркерс-Пис через десять лет, но придет ли кто? Мистер Джессоп хотел

организовать для своего класса «прощальную тусовку», но всем было не до того — она бы, разумеется, все равно не пошла, она не видела его с тех пор, как он к ней полез. Отец, добрая душа, сказал: «А ты, Лора, не хочешь попутешествовать?» — хотя для него это был бы сущий ад: отправить дочь за границу, где он не сможет заехать за ней вечером и отвезти домой.

Потом она столкнулась с этим типом, выходя из книжного «Хефферс», и сказала: «Привет» — совершенно нейтрально, она вовсе не собиралась вступать с ним в разговор, и вообще, а на следующий день обнаружила на крыльце плюшевого медведя — она и не связала эти два события, во всяком случае сознательно, а медведь, кстати, был идиотский — розовый уродец с разными глазами, совсем не такой, как славные старомодные мишки, которыми была завалена ее постель. Медведя у порога явно купил человек, не обладающий вкусом, решивший угодить девушке, которой положено любить плюшевые игрушки.

В тот день она поехала в Лондон (вот же друзья у нее заразы, надо ж было ну всем свалить на лето из Кембриджа). Сходила в Британский музей, а потом прошлась по магазинам и купила себе кое-что из одежды, правда, в одиночку это было не так весело. Она не видела, как он сел в поезд на Кингз-Кросс, но через десять минут после отправления он зашел в ее вагон. Он явно искал ее, хотя и разыграл удивление, когда нашел. К счастью, рядом с ней не было свободных мест, но, когда она встала на подъезде к Кембриджу, он прошел за ней по вагону, встал рядом у двери и впервые с ней заговорил: «Вы сейчас выходите?» Идиотский вопрос, очевидно же, что выходит, но она спокойно ответила: «Да», а потом, на платформе, он сказал: «Подвезти вас до дому? У меня машина на парковке». И она ответила: «Нет, спасибо, меня встречает отец» — и поспешила прочь. Она вспомнила, как его зовут: Стюарт. Ким была права, жалкий тип. Она больше не ходила в гости к Ким, чтобы не встречаться с мистером Джессопом. Пару раз Лора звонила им домой, но отвечал всегда он, и она клала трубку. В последний раз он заорал в телефон: «Ким, это ты? Где ты, мать твою?» И она поняла, что между ними не все гладко.

В ее последнюю смену в баре он вошел, уселся в углу и час цедил полпинты шенди. Собравшись уходить, он сказал ей: «Не понимаю, почему ты меня избегаешь», а она ответила: «Я не понимаю, о чем вы». И он заявил: «Ты же знаешь, что между нами особая связь, ты не можешь этого отрицать». Она вдруг пришла в ярость (блин, да он болен на всю голову), потому что она пожалела его, а теперь этот придурок лез в ее жизнь без

приглашения — прямо как мистер Джессоп, — и сказала: «Послушайте, просто оставьте меня в покое, хорошо? Мой отец — адвокат, и он может здорово испортить вам жизнь, если будете продолжать меня преследовать». А он ответил: «Твой отец не сможет помешать нашей любви» — и прошмыгнул к выходу. «Все в порядке?» — спросил менеджер, и она ответила: «Да, просто парню пиво ударило в голову». Конечно, она никогда не рассказала бы об этом отцу, он изволновался бы до смерти. В конце концов, Стюарт Лэппин безобиден. Псих, это да, но безобиден.

Работать в баре было удобно, она выходила только в вечернюю смену, а днем могла гулять. Как же неохота торчать целыми днями в конторе до конца лета. Отец был так счастлив и расстраивался, что в ее первый рабочий день ему нужно ехать в Питерборо.

Она взяла с него слово, что он пойдет до станции пешком, поскольку предполагалось, что он теперь ведет здоровый образ жизни, после того как побывал у врача.

«Папа, не забудь ингалятор», — напомнила она, и он похлопал по карману пиджака в подтверждение того, что ингалятор на месте, и сказал: «Шерил тебе все объяснит. Я вернусь в контору к обеду, может, перекусим вместе?» И она ответила: «Договорились, пап». А потом проводила его до двери, поцеловала в щеку и сказала: «Я люблю тебя, папа». И он ответил: «Я тоже тебя люблю, милая». Она стояла и смотрела ему вслед, потому что у нее вдруг возникло ужасное предчувствие, что они никогда больше не увидятся, но, когда он дошел до угла и обернулся, она весело ему помахала: не нужно, чтобы он узнал, что она беспокоится за него, он и так беспокоится за двоих.

Он повернул за угол, и у нее защемило сердце. Встретит ли она когда-нибудь человека, которого полюбит так же сильно, как отца? А потом она убрала со стола, загрузила посудомоечную машину и удостоверилась, что дом будет ждать их обратно в чистоте и порядке.

Больше не будет кровельщиков — никаких гэри, крейгов и дэррилов. И Филипа с его твякующим пекинесом. И никакого Оксфорда. И никакой старой Амелии. Она все начала заново, она стала другой.

Она думала, что будет оргия, но оказалось, просто барбекю, как ей и обещали («Приходите обязательно»). Разговор вращался вокруг того, как трудно найти хорошего сантехника и уберечь дельфиниум от улиток («Медным скотчем», — подсказала Амелия, и они хором откликнулись: «Правда? Как интересно!»). Единственная разница — все были нагишом.

Едва она появилась на берегу (чувствуя себя чересчур одетой и трясясь от страха), к ней тут же подошел, покачивая яйцами, Купер («Купер Лок, был профессором истории в Святой Катарине, теперь бездельничаю»): «Амелия, как чудесно, что вы пришли». И Джин («Джин Стэнтон, юрист, альпинист-любитель, секретарь местной ячейки консерваторов») уже спешила ей навстречу, сверкая улыбкой, и ее маленькие груди подпрыгивали при каждом шаге. «Молодчина, что пришли. Прошу любить и жаловать, Амелия Ленд, она такая интересная».

А потом они вместе плавали нагишом, и это было точно как в ее детских воспоминаниях, только между телом и водой больше не было купального костюма, и водоросли ласкали ее охапками влажных лент. В наползающих сумерках они ели жаренные на гриле сосиски и бифштексы, запивая южноафриканским шардоне, а через несколько часов она лежала с Джин в сосновой кровати, напоминавшей по форме сани, в белой мансарде, наполненной ароматом свечей «Диптик», — на деньги, которых стоит одна такая свечка, семья из Бангладеш могла бы жить целый год. Но Амелии удалось проигнорировать этот факт, как и тот, что Джин — секретарь Консервативной партии (хотя было ясно, что политические симпатии Джин не останутся вечным табу в разговоре). Амелия закрыла глаза на это и на многое другое, потому что несмотря на свои пятьдесят с лишним, Джин обладала упругим, гибким, загорелым телом, которым скользила по бледному, мягкому телу Амелии (она чувствовала себя вытащенным из раковины моллюском). «Амелия, ты такая сочная, прямо спелая дыня», — сказала Джин, и прежняя Амелия фыркнула бы презрительно, а новая Амелия только вскрикнула, словно потревоженная птица, потому что Джин

вылизывала, как кошка, ее гениталии («Смелее, Амелия, называй ее пиздой»), доставляя первый в жизни оргазм.

До чего странно, еще недавно она всерьез хотела умереть, а теперь всерьез хотела жить. Вот так. Поистине, о чем ей еще мечтать? У нее был огромный сад, требовавший заботы, и целая ватага кошек, и она познала оргазм. Неужели она действительно лесбиянка? Она все еще желала Джексона. «Сейчас все би», — небрежно заметила Джин. Амелия подумывала познакомить Джин с Джулией. Ей бы очень хотелось хоть раз ее шокировать («Джин, это Джулия, моя сестра. Джулия, это Джин, моя любовница. Генри? Ой, да сейчас все би, ты разве не знала?» Ха!). Надо быть помягче с Джулией, все-таки они сестры.

Они не могли решить, что делать с Оливией. Ни одной, ни другой не хотелось ее кремировать, потерять то небольшое, что от нее сохранилось, доставшееся им такой ценой спустя все эти годы. С другой стороны, она столько времени провела одна, в темноте, что закапывать ее в землю казалось неправильным. Если бы это не противоречило общественным нормам (и наверняка законодательным тоже), Амелия оставила бы ее кости на виду, поместила бы мощи в раку. В конце концов они похоронили Оливию на семейном участке в маленьком белом гробу, рядом с Аннабель, младенцем-пополнением, и поверх Розмари. На похоронах обе сестры рыдали. Заявились местные газетчики с фотоаппаратами («Пропавший ребенок упокоился с миром»), и большой черный друг Джексона был с ними подобающе несдержан. Амелия сочла Хауэлла одновременно ужасным и сногшибательным (что, разумеется, отвечало ее бисексуальной натуре), ну и с политическими взглядами у него был полный порядок, в отличие от Джин. Джексон — в высшей степени странно — привел с собой желтоволосую бродяжку, которая теперь была розововолосой и больше не бродяжничала. «Это еще зачем?» — спросила Амелия у Джексона, и Джексон ответил: «А что такого?» — «Потому что...» — сказала Амелия, но тут подошла Джулия и утатила ее.

Стало ли ей легче теперь, когда они отыскали Оливию? Каково было знать, что та ушла и потерялась, будучи под ее, Амелии, присмотром? Пока Амелия спала как бревно, ее сестричка заплутала и умерла. Разве в этом не было ее вины? Но на похоронах Джексон отвел ее в сторону и сказал: «Я собираюсь нарушить тайну исповеди», как священник. Из него получился бы идеальный священник. Джексон — священник, до чего пленительный образ, в извращенном смысле. «Я расскажу вам, что тогда случилось, —

продолжал он, — а вы сами решите, как дальше поступить». Он рассказал не Джулии, он рассказал ей. Наконец-то ей доверили секрет.

У Оливии будет усыпальница, у нее будет сад. Скоро сад Бинки Рейн зацветет розами, Амелия посадит там «герцогиню ангулемскую» и «фелисите пармантье», «эглантин» и «гертруду джекилл», нежно-белый «бульдонеж» и душистую персиковую «пердиту» — для их пропавшей девочки.

Было жарко, слишком жарко. Спать было невозможно. Уличный фонарь светил сквозь тонкие летние шторы, как блеклое запасное солнце. Голова у нее так и не прошла, череп будто туго обвязали веревкой. Может, таков он, терновый венец? Бог неспроста заставляет ее страдать. Это наказание? Она сделала что-то плохое? Еще хуже обычного? Сегодня она дала Джулии пощечину, так она через день ей давала пощечины, а вчера она подложила Амелии в постель крапиву, но Амелия задирала нос, так что это было заслуженно. И она ужасно вела себя с мамой, но и мама вела себя с ней не лучше.

Сильвия вытряхнула из флакона в шкафчике в ванной три таблетки детского аспирина. В этом шкафчике всегда было полно лекарств, некоторые пузырьки хранились с незапамятных времен. Их мать любила лекарства. Она любила лекарства больше, чем своих детей.

Подсвеченный циферблат большого будильника у материнской кровати показывал два часа ночи. Сильвия посветила карманным фонариком по кровати. Отец храпел как боров. Он и есть боров, жирный математический боров. На нем была пижама в полоску, а на матери — хлопчатобумажная ночная рубашка с мятыми оборками по вороту. Родители откинули одеяла и лежали, разбросав руки и ноги, словно упав на постель со скалы. Будь она убийцей, убила бы их прямо в постели, они бы даже не поняли, что случилось. Можно пырнуть их ножом, или застрелить, или изрубить топором — они не сумеют защититься.

Сильвии нравилось бродить по дому ночью, это была ее тайная жизнь, о которой никто не знал. Это давало ей власть, она словно проникала в их секреты. Она зашла в комнату Джулии. Эту никогда в жизни не разбудишь: можно стащить ее на пол и попрыгать сверху, она все равно не проснется. Можно положить ей на лицо подушку и задушить, и она бы даже не узнала. Джулия была вся мокрая, потная и такая горячая, что руку не поднести, и в легких у нее свистело: вдох-выдох.

Сильвия вдруг заметила, что постель Амелии пуста. Куда она делась? У нее что, тоже тайная жизнь, она тоже гуляет по ночам? Только не Амелия — у нее не хватит инициативности (новое слово Сильвии) для тайной

жизни. Может, она спит с Оливией? Сильвия поспешила в комнату Оливии и обнаружила, что та тоже куда-то исчезла. Половины из них нет на месте — не инопланетяне же их украли? Если инопланетяне существуют — а Сильвия подозревала, что да, — их наверняка сотворил Бог, ведь Бог сотворил вообще все, разве нет? Или Он на самом деле сотворил не все, а только материю в нашей конкретной галактике? И если есть другие миры, их должны были создать другие боги, инопланетные. Думать так — богохульство?

Все эти сложные теологические вопросы ей не с кем было обсудить. В церковь ее не пускали, папочка не верил в Бога (и в инопланетян тоже), а школьная учительница по истории религии велела Сильвии перестать ее «донимать». Представить только, чтобы Иисус Христос сказал: «Уходи, не донимай меня». Скорее всего, Бог отправит эту тетку прямиком в ад. Непросто это, когда тебя воспитывают атеист, он же математический боров, и мать, которой на тебя наплевать, — а потом ты вдруг слышишь глас Божий. Она так мало знает — но взять ту же Жанну д'Арк, та была невежественной французской крестьянкой и прекрасно справилась, а Сильвия, во-первых, не невежественная, во-вторых, не крестьянка. После того как Бог заговорил с ней, Сильвия начала читать Библию — по ночам под одеялом, при свете своего верного фонарика. В Библии не было ничего, что Сильвия могла бы связать с собственной жизнью. И уже тем книга ей нравилась.

Сильвия попыталась вспомнить вчерашний вечер, но ничего не получалось. Ее мутило от жары и духоты, и она легла раньше всех. Неужели, стоило ей уйти, мама позволила Амелии с Оливией спать в палатке? Не может быть. Мама все лето твердо стояла (не приводя вразумительных доводов) на том, что им нельзя спать на улице.

Сильвия крадучись спустилась на первый этаж, перешагнув через две скрипучие ступеньки. Задняя дверь была не заперта, кто угодно мог войти в дом и совершить вышеупомянутые убийства в постелях. Понятно, почему не заперто, потому что Амелия с Оливией снят в палатке. Приближался рассвет, одинокая птица приветствовала утро. Трава на газоне была мокрая. Откуда берется роса, если днем так жарко и сухо? Нужно будет прочитать. Она осторожно ступала по газону, стараясь не наступить на какую-нибудь мягкую и склизкую ночную тварь, которая тоже ведет тайную жизнь.

Она подняла полог палатки. Да, обе тут! Какая наглость. За что Амелии такие привилегии — спать всю ночь в палатке, и не просто спать в палатке, а еще и с Оливией и Плутом? Несправедливо, Сильвия — старшая, это она должна была спать в палатке. Плут выполз наружу из-под бочка

Оливии, помахал хвостом и лизнул Сильвию в нос.

Обе спали на спине мертвым сном — как два трупа. Сильвия потрясла Амелию за ногу, но та не просыпалась. Она втиснулась в палатку между ними. В палатке было невыносимо жарко, наверное, они даже могли бы умереть от жары. Самое жаркое место на земле — пустыня Атакама? Или Долина Смерти в Америке? Или где-нибудь в Монголии? Они ведь не умерли? Она ущипнула Амелию за нос, та что-то пробормотала и повернулась на бок. Надо разбудить Оливию и вытащить ее из этого парника. Люди, погибшие в «Черной дыре» Калькутты,^[135] умерли от жары, а не от удушья, как все по недоразумению полагают. «Недоразумение» — прекрасное слово. Их *пополнение* было самым что ни на есть недоразумением. Ха! Матери пора бы прекратить плодиться, это так примитивно. Может, она втайне католичка? Вот было бы здорово, тогда они смогут вести долгие секретные беседы о таинствах, и обрядах, и Деве Марии. Ни Дева Мария, ни Иисус с Сильвией не разговаривали. Иисус вряд ли вообще разговаривает с людьми. Вот Жанна д'Арк — другое дело, Жанна д'Арк любит поболтать.

Сильвия потеряла Оливии мочку уха: Розмари однажды сказала, что так они будили пациентов, когда она была медсестрой. Оливия заворочалась и провалилась обратно в сон. Сильвия шепотом позвала ее, и она с трудом открыла глаза. Она ничего не понимала спросонья, но, когда Сильвия прошептала: «Вставай, пойдём», выползла за ней из палатки, прихватив свои розовые кроличьи тапочки. Сильвия сказала: «Да брось ты тапки, по мокрой траве так хорошо ходить босиком», но Оливия замотала головой и надела тапочки. «Ты должна учиться быть *непокорной*. Не нужно делать все, что говорят мама и папа. Особенно папа, — сказала Сильвия. И добавила: — Но меня ты должна слушаться». Она хотела сказать: «Потому что я слышала глас Божий», но Оливия все равно бы не поняла. Никто не понимал — кроме Бога, конечно, и Жанны д'Арк.

Бог впервые заговорил с ней во время хоккейного матча, когда она сидела на скамейке запасных. Сильвия, отличный правый нападающий, была удалена за то, что ударила противника клюшкой по лодыжкам (главное, победить, разве нет?). Она пребывала в отчаянно-мрачном настроении. И вдруг голос совсем рядом произнес: «Сильвия», но, обернувшись, она никого не увидела, только девчонку по имени Сандра Лиз, которая говорила с резким кембриджским акцентом, поэтому, если только Сандре Лиз не вздумалось заняться чревовещанием или превратиться в мужчину, это никак не могла быть она. Сильвия решила, что ей почудилось, но голос снова произнес ее имя, низкий, сладкозвучный

голос, обдавший ее теплом, и на этот раз Сильвия прошептала в ответ, очень тихо, опасаясь Сандры Лиз: «Да?» И голос сказал: «Сильвия, ты — избранная», и Сильвия спросила: «Ты — Бог?» И голос ответил: «Да». Выразился яснее некуда. Иногда Святой Дух переполнял ее настолько, что она теряла сознание. Ей очень нравилось, когда такое случалось, нравилось ощущение потери контроля над телом и разумом. Однажды (а может, и не однажды) она упала в обморок в папочкинском кабинете — отключилась и рухнула на пол, как святая мученица. Отец выплеснул ей в лицо стакан воды и велел взять себя в руки.

«Давай пойдем поиграем», — прошептала она Оливии, которая шагала как сомнамбула. «Нет, — захныкала Оливия, хотя обычно была сама покладистость. — Сейчас ночь», — запротестовала она. А Сильвия сказала: «Ну и что?» — и взяла ее за руку, и они уже почти дошли до конца газона, но тут Оливия воскликнула: «Голубой Мышонок!» И Сильвия сказала: «Беги скорей, возьми его». И Оливия заползла обратно в палатку и вынырнула, сжимая в руке Голубого Мышонка, в компании суетливого Плута, не отстававшего от нее ни на шаг.

Жанна д'Арк разговаривала с ней высоко на ветках бука в саду миссис Рейн. Она шептала ей на ухо, как закадычная подружка примостившись рядом на ветке. Чудно, но после этих бесед Сильвия не помнила ничего из того, что, собственно, Жанна д'Арк говорила, и у нее создалось впечатление, что она вовсе не говорила с ней, а пела, как присевшая на дерево огромная птица.

Бог избрал ее, отметил ее, но зачем? Чтобы она повела в бой огромную армию, а потом сгорела в очищающем пламени, как сама Жанна д'Арк? Чтобы она принесла себя в жертву? Английское sacrifice^[136] происходит от латинского *sacer* — святой и *facere* — делать. То есть сделалась святой. Да, она святая. Она особенная. Конечно, она знала, что никто ей не поверит. Она рассказала Амелии, и Амелия сказала: «Не глупи». У Амелии не было воображения, она была такой занудой. Она попыталась рассказать маме, но та месила тесто для пирога, зачарованно наблюдая, как крутятся лопасти кенвудовского миксера, и, когда Сильвия сказала: «По-моему, со мной говорил Бог», она ответила: «Очень хорошо», и Сильвия сказала: «Джулию только что съел тигр», на что мама так же рассеянно ответила: «Правда?» И Сильвия тихо вышла из кухни.

Бог продолжал с ней разговаривать. Он говорил с ней из облаков и садовых зарослей, Он говорил с ней перед сном и будил ее утром. Он говорил с ней, когда она ехала в автобусе и когда лежала в ванне (перед

Богом она не стыдилась своей наготы), Он говорил с ней, когда она сидела за партой и за обеденным столом. И Он всегда говорил с ней в кабинете Виктора.

Тогда-то Он и сказал ей: «Пустите детей приходите ко Мне», [\[137\]](#) потому что она ведь в конечном счете была ребенком.

«Нет», — громко сказала Оливия и принялась вырываться из руки Сильвии. «Ш-ш-ш, все в порядке». Сильвия толкнула деревянную калитку в сад миссис Рейн. «Нет», — повторила Оливия, упираясь, но по сравнению с сестрой силенок у нее было что у котенка. «Ведьма», — прошептала Оливия. «Не глупи, — сказала Сильвия, — миссис Рейн никакая не ведьма, это просто такая игра». На самом деле Сильвия вовсе не была в этом уверена. Неужели Бог создал мир, в котором есть ведьмы? А как насчет привидений? В Библии есть привидения? Теперь ей приходилось тащить Оливию волоком. Она хотела взять ее с собой на буковое дерево, показать ее Жанне д'Арк, показать той, как чиста Оливия, какое она непорочное дитя, прямо как Младенец Иисус. Только она не знала, как поднять Оливию на дерево, вряд ли та сама заберется. Оливия заревела. Она начала действовать Сильвии на нервы. Еще не хватало, чтобы старая ведьма услышала. «Оливия, тише», — строго сказала она и дернула ее за руку. Она не хотела делать ей больно, ни за что на свете, но Оливия начала плакать и шуметь (совсем непохоже на нее, совсем), и Сильвия прошипела: «Перестать!» — но Оливия *не переставала*, и Сильвии пришлось зажать ей рот рукой. Она не отнимала руку долго-долго, пока Оливия наконец не затихла.

«Пустите детей приходите ко Мне». Жертвоприношение. Сильвия думала, что сама станет жертвой, потому что ее, мученицу, выбрал Бог. Но оказалось, что Богу предназначалась Оливия. Как Исаак, только он же вроде не умер? Теперь Оливия стала святой. Чистой и непорочной. Она была чистой и непорочной, и ничто ей больше не угрожало. Она была неприкосновенна. Ей никогда не придется ходить в папин кабинет, никогда не придется давиться папиной вонючей штуковиной, не придется терпеть, как его огромные руки шарят по твоему телу, делая тебя нечистой и порочной. Сильвия смотрела на маленькое тельце, лежащее в высокой траве, и не знала, что делать. Надо позвать кого-нибудь на помощь. И она подумала о папе. Да, она сходит за папой. Папа будет знать, что делать.

А Джулия сказала...

Au revoir tristesse.^[138] Джексон ехал с откинутым верхом, в колонках громко играли «Дикси чикс».^[139] Он встретил их в аэропорту Монпелье. Они предусмотрительно оделись для кабриолета: шифоновые шарфы и солнечные очки, — и Джулия походила на кинозвезду пятидесятых, а Амелия нет. Джулия сказала по телефону, что Амелия прибодрилась, но, если и так, она это старательно скрывала, сидя на заднем сиденье его новенького «БМВ-М3», фыркая и хрюкая после каждой реплики Джулии. Джексон внезапно пожалел, что не купил двухместный «БМВ-Z8», тогда они положили бы Амелию в багажник.

«Сигарету?» — предложила Джулия, и Джексон ответил: «Нет, я бросил», и Джулия сказала: «Так держать, мистер Би».

Они приехали в Монпелье, где было очень жарко, и съели по маленькой серебряной креманке мороженого — glaces artisanales^[140] — в кафе на городской площади. Заказывала Джулия, ее превосходный французский произвел на Джексона впечатление.

«Она как-то была пуделем», — сказала Амелия (о чем бы это?), а Джулия сказала: «Милли, не будь такой ворчуньей, мы же en vacances»,^[141] а Амелия сказала: «Ты всегда в отпуске», а Джулия сказала: «И это не самая плохая жизнь», а Джексон думал, уж не влюбился ли он в Джулию, а потом небо вдруг потемнело, став цвета спелых аженских слив, вдалеке прогремел гром, и первые крупные капли дождя зашлепали по холщовому навесу кафе, и Джулия пожалала плечами (очень даже по-французски), глядя на Джексона, и сказала: «C'est la vie,^[142] мистер Броуди, c'est la vie».

Примечания

1

*Бэкс — парковая зона в Кембридже между колледжами и рекой Кем. —
Здесь и далее прим. переводчика.*

«Грязные танцы» (1987) — фильм американского режиссера Эмиля Ардолино с Патриком Суэйзи в главной роли. *Мистер Пузырь* — персонаж развлекательного телешоу на канале Би-би-си «Вечеринка у Ноэля» (1991–1999), розовое существо с жуткой ухмылкой.

Паркерс-Пис — большой (около 100 тыс. кв. м) газон в центре Кембриджа, место для пикников, велосипедных прогулок и спортивных игр.

«Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» — роман Энн Бронте (1820–1849), младшей сестры Эмили и Шарлотты.

В Первую мировую войну наступательная операция англо-французских армий на французской территории (в бассейне реки Соммы) с 24 июня по середину ноября 1916 г., в которой союзники одержали победу над немцами и обе стороны понесли колоссальные потери.

Томас Гарди (1840–1928) — английский писатель и поэт, воспевший «Зеленую Англию».

Дженнифер Сьюзен Мюррей (р. 1950) — британская журналистка и радиоведущая, активная феминистка.

Томас Фредерик «Томми» Купер (1921–1984) — британский комик и иллюзионист, не расстававшийся с сигарой.

Элисон Мурер (р. 1972) — американская кантри-певица, «Alabama Song» (1998) — ее дебютный альбом.

Здравствуй, грусть (*фр.*). Так назвала свой первый роман (1954) писательница Франсуаза Саган (1935–2004).

Шары (*фр.*) — собирательное название игр с металлическими шарами, включая петанк (французский боулинг).

Брюс Спрингстин (р. 1949) — американский рок- и фолк-музыкант.

«Новый обозреватель» (*фр.*) (с 1964) — французский еженедельник, одно из крупнейших новостных изданий.

«Хелло!», «Хит» — популярные еженедельные журналы с новостями о знаменитостях.

У Спенсеров (фр.).

В саду (*фр.*).

Понстан — нестероидное противовоспалительное средство в таблетках.

«*Кармина Бурана*» — кантата, написанная немецким композитором Карлом Орфом в 1935–1936 гг. на тексты средневековой поэзии.

Питерхаус — старейший колледж Кембриджского университета, основан в 1284 г.

Дон — так по традиции называют преподавателей в английских университетах.

Роберт Скотт (1868–1912) — офицер британского флота и полярный исследователь, в 1901–1904 гг. возглавлял экспедицию в Антарктику на борту судна «Дискавери».

Эрнест Шеклтон (1874–1922) — британский полярный исследователь, участвовал в экспедиции Скотта на «Дискавери», позже возглавил собственную экспедицию к Южному полюсу.

Роберт Пири (1856–1920) — американский исследователь Арктики.

В естественном виде (фр.).

«Торонтские голубые сойки» — канадский профессиональный бейсбольный клуб.

Аллюзия на сатирический триллер Айры Левина «Степфордские жены» (1972). Дважды экранизирован — Брайаном Форбсом в 1975 г. и Фрэнком Озом в 2004-м.

«Тайгер» — марка сингапурского пива.

Патриша Линн Йервуд (р. 1964) — американская кантри-певица.

«Фараоны» («The Bill», с 1984) — британский полицейский телесериал.

«*Несчастный случай*» («Casualty», с 1986) — сериал на канале Би-би-си о врачах и пациентах отделения скорой помощи.

«*Антикварные гастроли*» (с 1979) — телевизионная передача Би-би-си: антиквары разъезжают по Британии и оценивают предметы старины.

Гертон — колледж Кембриджского университета, основан в 1869 г. как первый женский колледж, с 1977 г. принимает на обучение юношей.

Кокейн — сказочная страна изобилия и праздности из средневековых баллад.

Намаста — индийское приветствие.

Регентство — период в истории Великобритании с 1811 по 1820 гг., когда государством правил принц-регент, в будущем король Георг IV.

Мизерикорд — зд.: подпорка, нередко декорированная скульптурной резьбой, с внутренней стороны откидного сиденья, на которую можно было опираться во время службы.

«Зеленый человек» — лицо, состоящее из листьев или окруженное ими, частый сюжет готического архитектурного орнамента.

«*Север и Юг*» — роман (1855) английской писательницы Элизабет Гаскелл (1810–1865) о контрасте между аристократическим югом и промышленным севером страны. «*В субботу вечером, в воскресенье утром*» роман (1958) британского писателя Алана Силлитоу (р. 1928) о бурной жизни молодого рабочего из Ноттингема; в 1961 г. экранизирован Карелом Рейшем.

Эмплфорт-колледж — престижная частная католическая школа-пансион в Северном Йоркшире.

Последний понедельник августа — так называемые банковские каникулы. В этот день в Англии не работают большинство предприятий, официальные организации, банки и т. п.

«*Биение сердца*» («Heartbeat», с 1992) — полицейский сериал на британском телевидении, действие которого происходит в Йоркшире в 1960-е гг.

Джилли Купер (р. 1937) — английская писательница, уроженка Йоркшира, работающая в жанре «женской прозы».

Под таким названием публикуется воспроизведенный факсимильным способом «дневник натуралиста» — описание и рисунки британской флоры и фауны, сделанные художницей Эдит Холден (1871–1920).

Высокая церковь — направление в английском протестантизме, сохраняющее элементы католического богослужения (церковные облачения, музыка и т. п.).

Эммилу Харрис (р. 1947) — американская кантри-певица.

Преступление на почве страсти (*фр.*).

Ничего (*исп., фр.*).

Тринити-колледж — один из наиболее привилегированных колледжей Кембриджского университета, основан в 1546 г.

Люсинда Уильямс (р. 1953) — американская певица, исполняющая рок, фолк и кантри.

То есть что в доме праздник (*фр.*).

Джон-Бенет Рэмзи — шестилетняя королева красоты из Болдера, Колорадо, была объявлена пропавшей 26 декабря 1996 г., а восемь часов спустя найдена мертвой в подвале дома родителей. Это нашумевшее убийство до сих пор не раскрыто.

Роман Фрэнсис Бернетт «Тайный сад» («The Secret Garden», 1911) был неоднократно экранизирован, в том числе Фредом Уилкоксом в 1949 г. и Агнешкой Холланд в 1993 г.

Грамматические вариации на тему «черной кошки».

Добрый вечер, Джексон... Как всегда, опаздываете... Прошу прощения (*фр.*).

Кенотаф — символическое надгробие, памятник усопшему на месте, не содержащем останков.

«Важная тема» («The Big Issue», с 1991) — благотворительный еженедельный журнал, выходит в восьми странах мира, распространяется бездомными.

«*Сан*» — ежедневный британский таблоид, издается с 1963 г.

«Гардиан» — ежедневная британская газета либерального толка, основана в 1821 г.

Обри Винсент Бердсли (1872–1898) — английский художник-иллюстратор, один из основоположников модерна.

Генри Джеймс (1843–1916) — американский писатель, большую часть жизни прожил в Европе. В своих романах противопоставлял наивность Нового Света коварству Старого. *Эдит Уортон* (1862–1937) — американская писательница, автор романов с этической проблематикой.

«*Королева фей*» (1590; 1596) — неоконченное произведение британского поэта Эдмунда Спенсера (ок. 1552–1599), самая длинная поэма на английском языке в истории литературы. «*Дунсиада*» (1728) — сатирическая поэма Александра Поупа (1688–1744).

«Миддлмарч» (1872) — роман Джордж Элиот (Мэри Энн Эванс, 1819–1880).

«*История Расселаса, принца Абиссинского*» — философский труд (1759) английского писателя Сэмюэля Джонсона (1709–1784).

Джон Рёскин (1819–1900) — английский писатель, теоретик искусства, литературный критик.

«*Вперед же, странница*» («Now. voyager», 1942) — фильм американского режиссера Ирвинга Рэппера с Бетт Дэвис в главной роли. Более распространено русское название «Вперед, путешественник».

«Дети дороги» («The Railway Children», 1970) — фильм британского режиссера Лайонела Джеффриса по одноименной книге (1906) Эдит Несбит.

БХС — бакалавр хирургической стоматологии. *ЛХС* — лицензированный хирург-стоматолог.

«*Марафонец*» («Marathon Man», 1976) — голливудский триллер режиссера Джона Шлезингера с Дастином Хоффманом и Лоренсом Оливье, экранизация одноименного романа Уильяма Голдмана (1974). Одна из самых ярких сцен фильма — пытка главного героя в стоматологическом кресле бывшим эсэсовцем.

Синдром Клерамбо. См., например, роман Иэна Макьюэна «Невыносимая любовь».

Теодор Роберт «Тед» Банди (1946–1989) — американский серийный убийца, сознался в более чем тридцати убийствах, совершенных с 1974 по 1978 г... однако точное число его жертв не установлено. Был казнен на электрическом стуле.

Годовой академический отпуск, как правило, после окончания школы и перед поступлением в колледж. У европейцев его принято проводить за границей, совмещая отдых с работой, изучением языков и т. п.

Моя вина (*лат.*).

«*На краю тьмы*» («Edge of Darkness», 1985) — шестисерийная криминальная драма режиссера Мартина Кэмпбелла.

Война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова в 1982 г.

Хиджра (араб.) — бегство, эмиграция; в исламе — переселение Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину.

Владziu Валентино Либераче (1919–1987) — американский шоумен и пианист польско-итальянского происхождения.

Тема из мюзикла Роджерса и Хаммерстайна «Тихоокеанская история» («South Pacific», 1949).

Эндрю Ллойд Уэббер (р. 1948) — композитор, автор всемирно известных мюзиклов «Иисус Христос — суперзвезда», «Эвнта», «Кошки» и др.

«Павильон Хоббса» — ресторан в Кембридже, первоначально — павильон для крикета (построен в 1930 г.), назван в честь Джона Хоббса, знаменитого крикетиста.

Джорди — прозвище уроженцев Ньюкасла, города на севере Англии, и его окрестностей. Джорди узнают по характерному акценту.

«Скорая помощь» («ER», 1994–2009) — американский телесериал, придуманный писателем, сценаристом и режиссером Майклом Крайтоном.

«*Так держать!*» («Carry On», 1958–1978) — британский комедийный телесериал с элементами пародии и фарса.

Нечто неуловимое (фр.).

Фраза Гамлета, адресованная Офелии. Уильям Шекспир. «Гамлет», акт III, сцена 1. Пер. М. Лозинского.

Душа Христова, освяти меня (*лат.*) — первая строка классической молитвы, которая так и называется — «Anima Christi».

Файр — область в Шотландии.

Мейо — графство на западе Ирландии.

Крупнейшая британская торговая сеть (осн. 1884) «Маркс-и-Спенсер» с 1928 г. и до недавнего времени продавала товары под маркой «St. Michael» (в честь Майкла Маркса, одного из основателей).

Тело Христово, спаси меня (*лат.*). (Из вышеупомянутой молитвы «Anima Christi».)

Кровь Христова, утоли жажду мою (*лат.*). (Оттуда же.)

Ко-кодамол — обезболивающее, комбинация парацетамола и кодеина.

Намек на фантастический роман английского писателя Джона Уиндэма (1903–1969) «Кукушки Мидвича» (1957) и его экранизацию «Деревня проклятых» (1960), а также римейк Джона Карпентера (1995).

Добрый день (*исп.*).

Токстет и Чапелтаун — не самые благополучные кварталы в Ливерпуле и Лидсе соответственно.

Ла-Корбьер — юго-восточная оконечность острова Джерси, где расположен знаменитый маяк.

Майское дерево — высокий, нарядно украшенный столб; устанавливается в мае на площадях во многих европейских странах, древний символ плодородия.

Имеется в виду *Елизавета Боуз-Лайон* (1900–2002) — мать ныне царствующей королевы Елизаветы II, любила порыбачить и своему хобби нередко предавалась в Шотландии.

Бригадун — шотландская деревня, появляющаяся на один день раз в сто лет, в одноименном мюзикле (1947) Алана Джея Лернера и фильме (1954) Винсенте Миннелли с Джином Келли в главной роли.

«Дик Уиттингтон и его кошка» — британская народная сказка, прототипом героя которой является сэр Ричард Уиттингтон (1354–1423), средневековый купец и политик, мэр Лондона и член парламента.

Намек на экономическую политику правительства Маргарет Тэтчер (1979–1990).

Отсылка к роману Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» (1847).

«Бержерак» («Bergerac», 1981–1991) — британский детективный сериал. «Полдарк» («Poldark», 1975) — британский сериал, основанный на исторических романах Уинстона Грэма. «Дуракам везет» («Only Fools and Horses», 1981–2003) — ситком на Би-би-си.

Глориана — королева фей в поэме Спенсера, символизировала королеву Елизавету I (1558–1603).

«Танпервер» — марка кухонной посуды и принадлежностей, распространяется методом сетевого маркетинга.

Съемки трилогии (2001–2003) режиссера Питера Джексона по «Властелину колец» Дж. Р. Р. Толкина проходили в Новой Зеландии.

Лиззи Эндрю Борден (1860–1927) — американка, в 1892 г. обвиненная в убийстве отца и мачехи. Ее вина, несмотря на множество улик, так и не была доказана.

Имеются в виду Клифтон-колледж — частная школа в Бристоле — и Королевская военная академия в Сэндхерсте.

Трехтомник «Начала математики» (1910–1913) Альфреда Норта Уайтхеда и Бертрана Рассела называют величайшим трактатом по математической логике и философии со времен «*Органона*» Аристотеля.

Строка из поэмы Руперта Брука (1887–1915) «Грантчестер» (1912).
Пер. А. Рытова.

Имеется в виду мюзикл Э. Л. Уэббера «Кошки» (1981).

В начале XX в. в чайной «Фруктовый сад» собирались молодые литераторы, философы и ученые, так называемый грантчестерский кружок, возглавляемый Рупертом Бруком, куда входили Вирджиния Вульф, Эдвард Форстер, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн и др. Вульф прозвала Брука и его друзей «неоязычниками».

Гиллиан Уэлч (р. 1967) — американская певица и автор песен в стилях блюграсс, кантри, американа и фолк.

«*Орел*» — паб в Кембридже, был открыт в 1667 г.

Сент-Триниан — школа-пансион для «трудных» девочек, придуманная кембриджским карикатуристом Рональдом Сирлом (р. 1920). Сирл выпустил несколько книг с рисунками на тему Сент-Триниана; также о знаменитой школе снят ряд комедийных фильмов.

Ли Энн Уомак (р. 1966) — американская исполнительница и автор музыки в стиле традиционного кантри.

Речь о Люсинде Уильямс, Эммилу Харрис, Трише Йервуд.

Хэнк Уильямс (1923–1953) — американский певец и композитор, один из самых выдающихся исполнителей кантри.

Ситуационизм — революционное движение в Европе в середине XX в., основанное на учении Карла Маркса и искусстве авангарда. Ситуационисты подчеркивали важность удовлетворения примитивных человеческих желаний, для чего предлагали создавать ситуации, способствующие их возникновению.

«*Все на борт!*» («Blue Peter», с 1958) — детская передача на Би-би-си.
«*Маленький домик в прериях*» («Little House on the Prairie», 1974–1982) — культовый сериал о дружной семье американских пионеров.

То есть Кристины Агилеры и Джастина Тимберлейка.

«Птицы» («The Birds», 1963) — фильм Альфреда Хичкока по мотивам новеллы Дафны Дюморье.

Пасифик-хайвей — шоссе, идущее вдоль Тихоокеанского побережья США в Калифорнии.

123

То есть Элвису Пресли.

«Улица Коронации» («Coronation Street», с 1960) — старейшая мыльная опера на британском телевидении, вошедшая в Книгу рекордов Гиннесса. Повествует о повседневной жизни рабочего класса.

Страсти Христовы, укрепите меня (*лат.*).

«Город дремлющих шпелей» — поэтическое название, данное Оксфорду английским поэтом Мэтью Арнольдом (1822–1888).

«*Стена смерти*» — езда по отвесной стене, внутренней поверхности огромного цилиндра. Трюк выполняется, как правило, на мотоцикле.

Ангел Севера — стальной ангел 20-метровой высоты, воздвигнутый в 1990-е в городе Гейтсхеде по проекту скульптора Энтони Гормли.

Открытый университет — британский университет открытого образования, основан в 1969 г. Цель его создания — предоставить возможность получить образование людям, желающим учиться в удобном для них месте и в удобное время. Крупнейший по количеству студентов вуз Великобритании.

Вода ребра Христова, омой меня (*лат.*). Из молитвы «Anima Christi», уже цитировавшейся на с. 185 и 187.

Эккалибур — легендарный меч, вытщенный из камня легендарным королем Артуром, с чего и началось его царствование.

Кракатау — действующий вулкан в Индонезии между островами Ява и Суматра; его взрыв в 1883 г. явился одной из крупнейших вулканических катастроф в истории.

«Хорликс» — растворимое солодовое молоко, питательный напиток.

Шенди — смесь пива с лимонадом.

Во время осады Форг-Уильяма, в Калькутте, войском наместника Бенгалии в 1756 г. британский гарнизон был разгромлен, и 146 оставшихся в живых защитников форта были согнаны в одну камеру, «Черную дыру». За проведенную в каземате ночь 123 узника погибли от жары и недостатка воздуха. Остальные были отпущены на свободу.

Жертва, жертвоприношение (*англ.*).

Еванг. от Луки 18:16.

Прощай, грусть (*фр.*).

Dixie Chicks (с 1989) — американская женская кантри-группа.

Домашнее мороженое (фр.).

В отпуске (*фр.*).

Такова жизнь (*фр.*).